

ДРУЖБА НАРОДОВ 11/2013

- *Бахыт Кенжеев*
Имена
Стихи
- *Марина Москвина*
Скрипка Зюси
Рассказ
- *Сандер Коллаард*
И оставил позади пораженного
Дасаева
Рассказ
- Где сердца стук
Стихи голландских поэтов
- *Адольф Шапиро*
Простая жизнь гения
Главы из будущей книги

11'2013

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJORNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.
Отпечатано в типографии ОАО
«Можайский полиграфический
комбинат», 143200, Московская
область,
г. Можайск, ул. Мира, 93;
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;
факс: (49638)21-682;
www.oaompk.ru, e-mail:
oaompk@oaompk.ru

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 21.10.2013.
Подписано в печать 22.11.2013.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 4595. Цена свободная.

Дружба народов



12'2013

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора

Фарит
НАГИМОВ

Ответственный секретарь

Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Левон
ХЕЧОЯН

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ. Пощады не прошу. Из стихов 2013 года	3
Елена ДОЛГОПЯТ. Две повести	5
Мухаммат МИРЗА. «Покайся, человек, перед творцом...». Стихи. С татарского. Перевод Николая Переяслова	47
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Рассказы	50
Роман СЕНЧИН. В чужую землю. Из книги «Зона затопления»	66

ПРОБА ПЕРА

Начало — имеет место. Елена ЗАХАРОВА; Наталья МАМЛИНА; Дмитрий ЛАРИОНОВ; Антон ВАСЕЦКИЙ; Ольга АНИКИНА; Матвей РАЗДЕЛЬНЫЙ; Вениамин КРАВЦОВ; Андрей РЕЗЦОВ. Стихи из «самотёка»	88
---	-----------

Григорий АРОСЕВ. Мёртвое время. Повесть	95
Евгений ШКЛОВСКИЙ. Дорога к дому. Рассказы	121

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Ренат БЕККИН. Равиль Бухараев, каким я его знал	138
Равиль БУХАРАЕВ. Красный лотос, или Прекращение желаний. Рассказ	143

Свидетельство времени

Сергей ФИЛАТОВ. Один век — пять Конституций России	156
--	------------

Публицистика

Александр МЕЛИХОВ. Что нас не разочарует?	168
---	------------

Нация и мир

Эльвира ГОРЮХИНА. Учёные пришли в школу	173
---	------------

Пограничные литературы

Сергей МОРЕЙНО. Текст как место	191
---------------------------------------	------------

Подробное чтение

Лев АННИНСКИЙ. Запах камня	204
Ирина РОДНЯНСКАЯ. Трудно не быть собой	211

Культурная хроника

Галина ЗАЙНУЛЛИНА. КМФМК — «Родина» — электричество	224
Юрий ПОДПОРЕНКО. Талантливо видеть невидимое	235
К нашей вклейке: Молодые художники Прибалтики. Живопись Ирина КОВАЛЁВА. «Литературная Вена»	237

Эхо

Выдох и вдох московской поэзии. Рубрику ведёт Лев АННИНСКИЙ	240
---	------------

Содержание журнала «Дружба народов» за 2013 год	248
---	------------



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)

Наталья Горбаневская (1936—2013)

Пощады не прошу

Из стихов 2013 года

* * *

И миновало. Что миновало? Всё миновало.
Клевера запах сухой в уголку сеновала,

шёпот, и трепет, и опыта ранние строки,
вспоминанье о том, как строги уроки

лесенки приставной и как пылью сухой
дышишь, пока сама не станешь трухою.

* * *

Игорю Булатовскому

Этот галдеж...
Голодай, молодежь-голодежь,
на острове Декабристов.
Глотай белые камушки
от нянюшки-мамушки,
на горле монистом.

Не моностих — многостих
тих,
как тиха тишина после взрыва.
Ребята ушастые
наследили, нашастали,
наша полынь да наша крапива,

да наши обрывки строк,
барщина и оброк,
и рок во всех смыслах слова.
Жаждай и голодай,
только не отдай
своего, живого.

Горбаневская Наталья Евгеньевна — поэт, переводчик. Родилась в Москве. Окончила филфак МГУ. С 1961 г. печатается как поэт. С 1967 г. — участница правозащитного движения в СССР; была арестована, насильно помещена в психбольницу в Казани. Эмигрировала в 1975 г. в Париж. Работала зам. гл. редактора журнала «Континент», в газете «Русская мысль». Автор 15 сборников стихов. Скончалась в Париже 29.11.2013.

Два стихотворения о чём-то там

1.

Закладываю шурф,
заглатываю землю,
ходам подземным внемлю,
пощады не прошу.

Как бомж по-над помойкой,
в глубинах груд и руд
копаю изумруд
электроземлеройкой.

И этот скорбный труд,
что чем-то там зовется,
вздохнет и отзовется
в валах земных запруд.

2.

Борение — глины бурение.
Но вязкость как обороть?
Мои ли останки бранные
врезают земную плоть

лопатой, киркою, ломом ли,
оглоблею ли в руке
невидимой, но не сломленной,
как луч, отраженный в реке...

* * *

Булочка поджариста,
подпалена слегка.
Не заспи, пожалуйста,
чахлого стишка.

На пепле пожарища
и смерть не трудна.

А жарища жалится
аж до дна.

Жало жалкое,
горе горькое,
лето жаркое,
жито золотое.

* * *

Присядка в полуплуга,
в приход полдневной почты,
беззвучная подруга,
почто меня зовешь ты?

Поверьте, в том конверте
слова плетутся в сети,

и сладкий привкус — сами-знаете-чего
сильнее на рассвете

безоблачного сна.
И облачная стая
стоит, как тишина
густая и пустая.

Елена Долгопят

Две повести

До смерти

В одной стране, которая очень походила на нашу и располагалась на очень похожей планете, была несколько странная статья в уголовном кодексе, об этой статье и пойдет речь.

История началась ранним утром в небольшой квартире в спальном микрорайоне города Москвы. И Москва в этой стране тоже очень походила на нашу: почти та же Красная площадь, и Маросейка, и Чистые пруды, и площадь у трех вокзалов, и Таганский тупик, и те же лица в метро, и тот же «Макдональдс», и та же «Ирония судьбы» в новогоднюю ночь, и даже кто-то вроде меня там жил и поживает и сидит за компьютером и нажимает на черные клавиши с зелеными буквами и видит появляющиеся на экране слова.

У истории есть и предыстория, она прояснится чуть позже.

Итак, как говорят в их кино: экшен!

1. Экшен

Раннее утро. Мужчина лет пятидесяти или даже чуть больше. Он один в небольшой двухкомнатной квартире. Он спокоен и сосредоточен. На кухне говорит радио «Эхо Москвы». Прогноз погоды. Мужчина подходит к приемнику и увеличивает звук. Внимательно и серьезно слушает. Готовит себе завтрак. Варит геркулесовую кашу, жарит яйцо с колбасой. К чаю намазывает белый хлеб маслом. Ест не спеша, жует тщательно. Слушает политические новости. Поев, моет посуду, вытирает со стола. Заглядывает в холодильник. Кроме консервной банки со шпротами, там ничего нет. Мужчина закрывает холодильник и отключает его от сети. Он бреется в ванной. Чистит зубы. Принимает душ. Идет в комнату, накинув махровый халат. Скидывает халат, надевает чистые трусы и белую новенькую рубашку, темно-синие джинсы, носки, удобные замшевые туфли, серый пиджак. Смотрит на себя внимательно в зеркало. На подоконнике стоит старый разросшийся алоэ. Мужчина трогает пальцем землю. Берет кувшин с водой, кувшин стоит тут же, на подоконнике, и поливает алоэ. Закрывает фор-

Елена Долгопят — родилась в г. Муром Владимирской обл. в семье военнослужащего и учительницы. Окончила Московский ин-т инженеров транспорта (1986), сценарный ф-т ВГИКа (1993). Работала программистом на военном объекте в Московской обл. (1986—89). Научный сотрудник Музея кино. Прозаик, кинодраматург. Постоянный автор «Дружбы народов». Последняя публикация в нашем журнале — повесть «Иллюзион», № 6, 2012.

точку. Берет с пола большую дорожную сумку. И направляется в прихожую. Гасит в прихожей свет и открывает дверь на площадку.

Он звонит в соседнюю дверь и передает открывшей дверь женщине в затрапезном халате ключ от своей квартиры.

— Раз в неделю достаточно, — говорит он.

Заходит в лифт и здоровается с пассажирами.

На площадке первого этажа — почтовые ящики. Он замечает, что в его ящике что-то белеется. Подходит, заглядывает в щель. Но ящик не открывает. Направляется к выходу. Отворяет дверь и пропускает в подъезд мамашу с ребенком на руках.

— Здравствуйте, Николай Анатольевич, — улыбается мамаша. — В отпуск собрались?

Он ловит такси, они едут в центр и застревают в пробке. Николай Анатольевич не беспокоится, не смотрит на часы, он удобно устроился на заднем сиденье, смотрит в окно. Стоят они уже долго. Спит солнце. Из открытого окна машины в соседнем ряду женщина высовывает наружу маленькую лупоглазую собачонку. Держит ее на вытянутых руках. Собачонка смотрит испуганно. Возможно, это только так кажется. Скорей всего, эффект Кулешова. Когда ситуация заставляет интерпретировать взгляд собачонки как испуганный. Тот же самый взгляд в другой обстановке показался бы уверенным, а в другой — наглым. Кто знает? Интерпретации навязаны обстоятельствами. Николай Анатольевич думал о чем-то подобном. Хотя ничего не знал об эффекте Кулешова.

Машины медленно трогаются, водитель говорит, что сейчас свернет в проулок, и они объедут пробку.

— Да, — соглашается Николай Анатольевич, — конечно. Как считаете нужным.

Переулки, которыми они пробираются, Николаю Анатольевичу незнакомы, ему кажется, что он едет чужим, неведомым городом, что он и вправду — в путешествии, в далеких краях. Похоже на Испанию, в которой он не бывал. Ему кажется, что за поворотом откроется море.

И ему жаль, когда путешествие заканчивается. Он расплачивается и благодарит водителя.

Николай Анатольевич останавливается у дверей адвокатской конторы. Звонит и сообщает, что записан на прием к юристу Сергееву. Дверь отворяется. Охранник просит задержаться, ему необходимо осмотреть сумку.

Николай Анатольевич водружает сумку на стол и открывает молнию. В сумке действительно все, что нужно для путешествия: перемена белья, предметы личной гигиены, толстая книжка, два теплых свитера, вязаные носки, шарф.

— В холодные края? — спрашивает охранник.

— На всякий случай.

— Прямо от нас уезжаете?

— Билет в кармане.

Охранник Николаю Анатольевичу нравится, он кажется ему добродушным, от него даже пахнет по-детски — молоком. И Николай Анатольевич думает, что, наверно, у пожилого охранника есть внуки, много, пятеро, и наверняка в бумажнике спрятана фотография, где они все вместе: он, старый, и они — малышня. Бог его знает, о чем бы подумал Николай Анатольевич, если бы охранник не

выпил перед его приходом молока, а выкурил бы дешевую терпкую сигарету без фильтра. Интерпретации навязаны.

В коридоре перед дверью с табличкой «Сергеев К.С.» сидит женщина. Николай Анатольевич занимает за ней очередь. Ждать приходится долго, но Николая Анатольевича ожидание не тяготит. Он сидит со спокойным лицом. Это лицо казалось бы спокойным в любых обстоятельствах, даже при землетрясении или бомбежке. Правда, при землетрясении или бомбежке его спокойствие казалось бы странным; наблюдатель решил бы, что человек с таким лицом в таких обстоятельствах не совсем нормален.

Женщина, за которой занял очередь Николай Анатольевич, выглядит утомленно. Она смотрит на его большую сумку и решается спросить:

— Вы тоже с дороги?

— Скорее, в дорогу.

Женщина смотрит на его гладко выбритые щеки, на белый воротник свежайшей рубашки и отворачивается. Вот она, видимо, с дороги и помыться ей было нормально негде. Засаленные волосы, невыспавшиеся, утомленные глаза. Руки загорелые, с коротко обстриженными ногтями, рабочие руки.

— Вы издалека? — спрашивает Николай Анатольевич.

— Из Владимирской области.

На их планете Владимирская область тоже есть, и тот же город стоит над Окой, и так же плывут по Оке баржи, и так же выговаривают люди слова. И такой же синий растет цикорий прямо из асфальта.

— Сына у меня арестовали, он в Москве работает, на стройке, подрался, вот хочу адвоката нанять, говорят, хороший адвокат, деньги все сняла, и родные дали, может, хватит, а не хватит, будет от государства адвокат, значит, никакой.

Николай Анатольевич сочувственно кивает. Во всяком случае, в данных обстоятельствах его лицо кажется сочувствующим.

— Третью ночь на вокзале ночую, не сплю, боюсь ограбят, на гостиницу никаких денег не хватит, что за город такой Москва?

Николай Анатольевич лезет во внутренний карман серого пиджака, вынимает записную книжку и ручку, раскрывает книжку, хмурится и что-то пишет мелкими буквами.

Женщина отворачивается, задумывается, усталые глаза смотрят в стену, как будто эта стена олицетворяет тупик, в котором женщина оказалась. Соответствующее обстоятельствам сравнение. Сравнение во власти обстоятельств.

Она вздрагивает оттого, что Николай Анатольевич касается ее руки.

Он протягивает ей сложенный и надписанный листок.

— Здесь адрес, — говорит Николай Анатольевич. — А внутри — письмо. Оно для моей соседки, я у нее ключ от квартиры оставил, я уезжаю, так что можете переночевать, сколько понадобится.

Женщина смотрит на него изумленно и листок не берет.

— Выспитесь. Еды там у меня нет, кроме шпрот, они в холодильнике, он отключен, но это не важно. Чай есть, сахар. Душ примете. Берите.

— Да как, вы же меня, вы же не знаете, кто я.

— Зачем знать?

— Да нет, спасибо, я уже, все нормально, не нужно, спасибо.

Она прячет руки за спину и отрицательно мотает головой.

— Я вас очень прошу, мне ничего не стоит, а вам облегчение.

И он опускает ей письмо на колени, на черное сукно простой, прямой юбки. Женщина осторожно берет письмо коричневыми пальцами. Читает надписанный сверху адрес и раскрывает письмо. Оно обращено Марии Ивановне:

«Передайте ключи этой женщине, она поживет у меня несколько дней».

— Сделайте одолжение, — говорит он ей.

Дверь в кабинет открывается, из нее выходит потный, красный мужчина. И, не взглянув на ожидающих в коридоре, направляется к выходу. Женщина поднимается. Растерянно смотрит на Николая Анатольевича. Он ей кивает. С белым листком в руке она подходит к двери, стучит. Так она и скрывается за этой дверью с белым листком в руке. Через час она покидает кабинет.

Листка в ее руке уже нет. Но Николай Анатольевич и не думает об этом листке. И она, очевидно, поглощена только своим делом. Направляется к выходу, даже не взглянув на ожидающего.

Жалюзи на окне были закрыты, под потолком горел люминесцентный свет, горел не совсем ровно, то вдруг затухал, то разгорался ярче, шипел и потрескивал. Другой бы на месте Сергеева давно обратился к завхозу и потребовал сменить лампу, но Сергееву нравилась ее своенравность. В маленьком кабинете было прохладно, и это тоже Сергееву нравилось, хотя, чтоб не мерзнуть, ему приходилось надевать шерстяной свитер, он держал его в кабинете.

Николай Анатольевич сидел перед его столом, такой спокойный, уравновешенный, располагающий, с аккуратной сумкой в ногах. Он только что объяснил причину своего прихода. Он сказал, что намерен отсидеть за убийство, которое, впрочем, не совершал, и Сергеев внимательно разглядывал Николая Анатольевича, его мирное, добропорядочное лицо. Лампа потрескивала и шипела. Сергеев убрал палец с кнопки диктофона, записи хранились в этом же кабинете, под замком в железном шкафу.

Николай Анатольевич ссылался на статью УК под номером 1111. Статья эта гласила, что любой гражданин, если только он в своем уме, может сначала отбыть наказание за преступление, а затем уже это преступление совершить. К примеру, сначала отсидеть за грабеж пять лет, а потом, уже неподсудным, ограбить. Но картина преступления, ход преступления, детали — все должно быть тем же. Без перемен и отступлений. В буквальном смысле осуществление задуманного.

Сергеев убрал палец с кнопки диктофона и сказал, как всегда негромко:

— Но вы понимаете, что закон этот — ловушка для идиотов, что даже грабеж после срока никому не удастся совершить, не было еще такого случая, ни одного. Тем более, в точности повторить задуманное. Так не бывает. О процессе напишут во всех газетах. Будет известно всем и каждому, кого хочет человек ограбить и каким образом, и что именно взять. К тому времени, когда будущий грабитель выйдет на свободу, его «жертва» успеет позаботиться о своей безопасности. А может быть, вообще умрет от гриппа. Или все его/ее имущество сгорит синим пламенем. Или горе-грабитель еле будет ноги волочить и ни о чем более не думать, кроме как о чистой постели в тихой комнате окнами в зеленый двор. А вы говорите не о грабеже, а об убийстве. С отягчающими. Пятнадцать лет как минимум.

— Я понимаю, — отвечал Николай Анатольевич.

Сергеев смотрел внимательно на его тихое, сосредоточенное лицо.

— Ну, в таком случае, я жду подробностей: кого собираетесь убивать, почему, каким образом. Мы все это запишем на диктофон. Затем вы пройдете психиатрическую экспертизу.

Сергеев замолк и выжидательно смотрел на Николая Анатольевича. Лампа под потолком с шипением начала разгораться. Николай Анатольевич потер заледеневшие пальцы.

— Чаю? — предложил Сергеев.

2. Запись на диктофон

(Пауза.)

Мой старый школьный друг. Мы давно потеряли друг друга. Нашли в «Одноклассниках». Он лежал в больнице, ему было одиноко, потому и написал в «Одноклассниках», это он меня нашел. Я его навестил. Он только что после операции, очень слаб. К нему мало кто приходил, жена его недавно бросила, он был какой-то очень несчастный. Мне казалось неловко, что у меня все хорошо. Я его навещал. Что-то приносил. И мы встречались уже потом, после больницы. Возле его дома есть парк. Там хорошо. Я его помню со школы. Но после школы в том районе не был. Вообще там не ходил. Там все изменилось. Но только парк остался, разросся правда, немного запущенный стал, но мне нравился. И его квартира осталась прежней. Старый-старый дом. Я хорошо помню его мать. Я ее стеснялся. Я был в нее немного влюблен. Возможно, что дружба школьная — поэтому. Его матери уже нет.

Он часто повторял, что его часы давно остановились. Но мои шли. Сначала мне неловко было ему рассказывать. Но от так слушал, жадно. Он питался моими рассказами. Я понял. Я рассказывал, чтобы доставить ему удовольствие.

Меня тогда любила одна женщина.

(Пауза.)

Мне пятьдесят лет. Я был женат. Развелись. Я сейчас не вспомню, как мы жили, отчего разошлись. Двое детей. Девочки. Мы иногда видимся, последний раз — не так давно, в начале весны. Ходил с обеими в кафе. Мы — чужие. Я не понимаю, о чем они говорят, кто эти люди, о ком они говорят с такой страстью. Я попытался, нашел фильм, о котором они взахлеб, мне скучно через три минуты. Я не могу настроиться на их волну, вот и все. В кафе мы как будто не рядом сидели, а через скайп разговаривали, даже хуже, хотя не представляю, что может быть хуже, чем этот скайп: кривые лица, голоса запаздывают.

В общем, последние десять лет я жил один. И жил прекрасно, мне ни с кем даже знакомиться не хотелось. С соседкой мы иногда встречались, но это совсем другое, я ей что-то чинил даже, она меня пирожками угощала, постель, конечно, но чтоб там думать друг о друге особо, нет. Самые приятные отношения, на самом деле. Я вообще никогда никого не интересовал. И вдруг эта женщина, новенькая, у нас в конторе. Мы отмечали Новый год, корпоратив, так сейчас говорят. Она мной заинтересовалась. Подсела ко мне, выпила со мной шампанское. Она сказала, что уже видела меня, в одном музее, на портрете. Абсолютно я, только триста лет назад. Насмешила. Она сказала, что готова показать мне этот портрет прямо сейчас. Время и вправду было еще не по-

зднее, я сказал: а давайте. И мы рванули. Зима, скользко, полутемные улицы, сосулька прямо перед нами рухнула, прямо как бомба. Я схватил ее под руку, а она ко мне притиснулась. И я нечаянно коснулся губами ее щеки, холодной и вроде как мятной. Она повернула ко мне лицо. И вдруг закрыла глаза, а губы ее приоткрылись. Она ждала. А я не мог решиться, но решился и поцеловал ее. Она схватила меня за руку и потащила в музей. Мы успели. Посетителей уже практически не было. Она показала мне темный портрет в простенке. Я не знаю. Я бы в нем себя не увидел. Но если отрастить волосы и надеть берет, вишневый, бархатный, черный камзол, плоеный белый воротник. Бог его знает. Тогда любой человек станет как тот портрет. Я потом изучал себя в зеркале. Я повез ее к себе в тот же вечер, и больше мы не расставались. Наверно, она потом привезла свои вещи от сестры. Конечно, привезла. Они же как-то появились, и домашние тапочки, и халат, и масса каких-то склянок, и одежда. У меня в шкафу достаточно места. Плюс кастрюльки она какие-то организовала, сковородки.

Вообще говоря, я человек недоверчивый. И тут я тоже начал думать, зачем я ей понадобился. Начал и бросил. Впервые в жизни я даже знать не хотел, почему она со мной, мне было все равно почему, лишь бы была, лишь бы это длилось. Наверно, я впервые в жизни полюбил.

Она мне не подходила. Не моего темперамента, не моих интересов. Красивая. Пела и читала стихи. При этом очень как-то расчетливо вела мое хозяйство. Она была человек-праздник. Круглое рыжее лицо, рыжее из-за мелких частых веснушек. Золотое лицо. Сияющее. Улыбчивый рот, белые зубы. Пышный бюст, широкие бедра, узкая талия. Узкие ступни. Быстрая, легкая походка. Она любила длинные широкие юбки. Высокие каблуки. Пестрые шарфики. Волосы мелко завивались и стояли нимбом. Она была бухгалтер у нас в конторе. Она очень жестко умела разговаривать. Но не со мной. Мы были очень странной парой, я думаю. Она обожала кино и мы ходили поздними вечерами. Она умела со мной обращаться. Она держала меня, как ребенка, на руках. Я смотрел на вещи ее глазами. Сейчас я вижу, что эти фильмы были ерундой, и эти стихи, но тогда они были прекрасны, и я скучаю по тому времени, когда они были прекрасны.

(Пауза.)

Как-то раз мы с другом гуляли в парке, и я сказал, что у нее скоро день рождения, а я не знаю, что ей подарить, у меня есть деньги, но нет фантазии. Она любит подарки, ей понравится любой подарок, она всегда всем довольна. Но мне хотелось, чтобы ей действительно понравилось. Не из любви ко мне. Не только из любви.

Мой друг сказал, что видел когда-то камень. Граненый, в серебряном кольце. На цепочке. Прозрачный, светло-коричневый камень. Он сказал, что видел его когда-то в гостях, на хозяйке дома. Не очень длинная цепочка, он сказал, почти под шею. Он сказал, что такой крупный, теплый камень мог бы, наверно, понравиться моей любимой. И я тут же понял, что он прав. Я как будто бы сам увидел этот камень. На ней. На ее золотой коже. Я ехал домой на дребезжащем трамвае и представлял этот камень. У нас возле дома есть ювелирная мастерская, я решил зайти, поговорить с мастером, я был счастлив. И вдруг, я не знаю, как это произошло, почему, но я отчетливо понял, что мой друг видел мою любимую воочию. Касался ее теплой, разогретой солнцем, кожи. Был с ней

близок, одним словом. Эта фантазия о камне, она только так могла возникнуть, из близости. Я это понял, не имея ни малейшего доказательства. Ни намека.

Я вышел из трамвая, дождался встречного и поехал назад. Я хотел поговорить со своим другом. Только с ним, не с ней. Он был уже дома. Конечно, удивился, когда увидел меня за дверью. Я сказал, что все знаю. Он мгновенно понял, о чем я. Растерялся. Потускнел. Я спросил, как давно. Два месяца, — он ответил. — Почти.

Что было делать дальше, я не знал. Может быть, другой, нормальный человек на моем месте ударил бы его. Или просто крикнул. Но я не мог ни ударить, ни крикнуть. Никогда этого не умел. Мать называла меня тишайшим. Так что я просто ушел. Может быть, даже извинился на прощание, я не помню. Вполне возможно. Чего я еще мог ожидать? Чего я хотел от нее? Она и так мне дала слишком много.

Поначалу я вообще думал не возвращаться домой. Думал, уйду куда-нибудь. Как мать говорила, в белый свет — как в копеечку. Не все ли равно.

Сначала я шел пешком по трамвайным путям. Потом свернул в незнакомую улицу, она вывела меня к реке, я думал утопиться, но вода была такая грязная, вонючая, отвратительная, я сел на старый каменный парапет и заплакал. Что я за человек такой, ни на что не способен, кроме как плакать. Даже утопиться не могу. Слезы кончились, я смотрел на огни в черной реке. И потом вдруг подумал, что напрасно поверил другу, он обманул меня. Она дома, волнуется, ждет меня, смотрит сейчас в окно. Я вскочил и побежал от реки к дороге, ловить такси.

Ее не было. Шкаф опустел. Ванная. Дом опустел. И на душе у меня стало пусто. Пыльно как-то. Я нашел в холодильнике кастрюлю с картошкой. Ее кастрюля. С ее картошкой. Разогрел и съел. Долго сидел в кухне. Смотрел как зачарованный на часы. Надоел стук и я вынул из них батарейку. Отправился спать. Но спать я не мог. Лежал и думал о всей своей жизни. О никчемной жизни. О том, что никто не заметил, что я жил. Я понял, что всегда был один на самом деле. Немножко она побыла со мной, подумала обо мне, даже в чужом портрете меня увидела, побыла со мной и бросила. Да и что во мне интересного? Ничего. Нет и не было никогда. Может быть, только это сходство ее и заинтересовало — на полсекунды. Или мой друг нуждался в ней больше, чем я. Мне было очень тоскливо. Мне казалось, что мир перекошен, я просто чувствовал этот перекош. Мировой перекош. Знаете, как будто все поезда должны сойти с рельсов. И трамваи. Утром я позвонил другу. Он взял трубку. Я молчал как идиот. Ксюша? — спросил тревожно друг. И я понял, что ее там нет. И поначалу мне стало легче.

Этим же утром я первым делом зашел в бухгалтерию. Она была на работе. Сидела за компьютером. Я приблизился. Она не повернула головы. Я стоял. И, наверно, отражался в ее экране. Может, она и в самом деле меня не видела. Меня кто-то позвал и я отошел. Я понял, что все кончено. Просто ей стало скучно. Со мной. С ним. Мне самому с самим собой стало скучно. Я подумал, что через несколько дней она забудет мое имя. И я, я понял, что больше всего на свете хочу, чтобы она его не забыла. Чтобы она меня не забыла. Пусть все забудут, а она — никогда.

— Но вы представляете, как она вас будет помнить?

— Конечно.

— Ведь она будет жить в страхе все эти годы, что вы будете сидеть.

— Надеюсь.

— Значит, это месть?

— Да.

— Довольно экстравагантная месть, прямо скажем.

— Я же не смогу ее убить. Реально. Даже руку на нее поднять не смогу. И ни на кого. Я голос повесить не способен.

— Да, я понял. Вы не можете. Но вы можете.

— Да.

— А если она все-таки не испугается? Настолько хорошо вас знает, что уверена — опасности нет.

— Ни один человек не знает другого настолько хорошо. Она не может быть стопроцентно уверена. Никто не может.

— Пожалуй, соглашусь. Она будет жить в вымышленном вами мире. По крайней мере, некоторое время. Может быть, найдет способ выбраться. Но уж точно вас не забудет.

— Да!

— Но вам придется продумать детали. Где? Когда? Каким образом? Все должно быть четко. И вы должны будете это проговорить. На суде. Сможете?

— Да. Я уже продумывал.

— Замечательно. Говорите. Хочу услышать, как вы себе это представляете.

— Она живет у себя. Она должна быть одна дома. Воскресенье. Уже вечер. Она готовит ужин. У нее на столе разделочная доска, нож, она им режет картошку и крошит зелень. И кастрюля на огне, вода в ней закипает. И работает радио. Что-нибудь непременно юмористическое передают. Я звоню в дверь. Она видит меня в глазок. И открывает дверь. Почему бы ей не открыть? Она меня не боится, чего ей меня бояться? Она чувствует передо мной вину. Может быть, ей хочется объясниться, даже наверняка. К тому же, я могу придумать предлог.

— Какой?

— Не знаю. В конце концов, я самый мирный и незлобивый человек, нет ни малейшей причины не открыть мне дверь. Я знаю, что она откроет, знаю. Я бы вошел и сказал, что чувствую себя не очень хорошо, не сделает ли она мне чай, она одна умеет так хорошо чай заваривать. И вот я иду за ней на кухню. Встаю у стены. Она доликает чайник холодной водой и ставит его на огонь. Я смотрю — со спины — на ее белую, в золотых крапинах шею. На золотой нимб. На загорающее пламя. Я хватаю ее за плечи и головой, золотыми волосами тыкаю в пламя. Она вспыхивает, страшно кричит. Я ее не выпускаю.

— Нет.

— Нет?

— Не должна она вам открыть. Я понимаю, что она вас не боится. Пока. Но открывать ей все равно нет резона. Натяжка, согласитесь.

— Хорошо. Пусть декабрь. Она возвращается с работы, в декабре, знаете, самые короткие дни, так что уже темно. Одну остановку на трамвае она не доезжает. Заходит в гастроном, что-то берет к ужину. Может, пирожные, она любит сладкое. С пирожными в пакете она входит в арку, я затаился у кирпичной стены, я бью ее кулаком в лицо, сильно, сокрушительно, в кровь, она падает, я не даю ей опомниться, набрасываюсь, разрываю одежду, бью, пинаю, насилую, разрываю, удавливаю ее же шарфом. Она хрипит и не вырывается. Годится?

— Слабенько.

— Что-то еще?

— Попробуйте. Может, пистолет? Купите пистолет. Или винтовку с оптическим прицелом. Нажмете пальцем на курок и все, никаких воплей, удушений, кирпичных стен опять же не надо.

— А как достать винтовку?

— Это как раз не проблема.

— Стрелять надо откуда-то. Где-то как-то расположиться, прицелиться. Я не представляю.

— Вы можете сидеть в машине у подъезда. И караулить, когда она выйдет. Можете вообще нанять профессионала.

— Нет. Мне не нравится. Как-то подло. Надо самому.

— Хорошо. Давайте еще вариант. Давайте, давайте. Такой, поинтереснее.

(Пауза.)

— Чаю?

— Нет. Спасибо.

(Пауза.)

— Она по утрам бегаёт. Вокруг дома, там спортплощадка. Зарядку делает. Дыхательные упражнения. Я бы мог как-то одеться тоже по-спортивно, шапочку натянуть. И вроде бы тоже делаю зарядку и вдруг падаю и лежу, не шевелюсь. Она близорукая, не очень поймет, кто там, а даже если поймет, увидит, что я лежу и не двигаюсь, подбежит непременно, она умеет скорую медицинскую помощь, сердце запустить; она подбежит, она такая, я знаю. Ну вот она подбежит, ко мне наклонится, я ее схвачу за горло. И...

— А что-нибудь еще?

— Еще? Что? Я не понимаю. Какая разница? Вы же знаете, что я не собираюсь потом это повторять.

— Это я знаю. А присяжные этого знать не должны. И ваша бывшая любовница не должна. Идея ведь именно в этом состоит? Так? Она должна верить, что вы через пятнадцать лет выйдете и будете ее убивать? В этом же фокус, да? Страх перед вами и невозможность забыть. Так?

— Ну.

— Тогда придумайте что-то еще. Что-то более. Не знаю. Более художественное.

— В смысле?

— Давайте варианты, там посмотрим.

(Пауза.)

— Оденусь как старик. Волосы седые, палка, горб, походка — шарк-шарк, еле-еле. Она выезжает с парковки, от работы, например. Я поднимаю руку, чтобы остановилась. Она остановится, это такой характер, понимаете, она жалостливая, она остановится и я сяду, на заднее сиденье.

— Нет.

— Почему?

— Не остановится.

— Почему?

— Потому что когда вы выйдете через пятнадцать лет, если выйдете, она, если она будет жива и в своем уме, никогда не остановит машину перед стариком. Она же будет знать ваш сценарий, как вы не понимаете. Все будут знать. И все, положим, забудут за пятнадцать-то лет. Но не она. Так что давайте, собери-

тесь и выдайте наконец что-то такое, чтобы оно было как рок, фатум, судьба. Чтобы никакой лазейки. И самое лучшее — обратиться все-таки к профессионалу. По-моему, это единственный выход.

— Нет.

— Это лучший выход, потому что неважно, каким способом воспользуется профессионал, его, если поймают, будут судить по факту. А вас будут судить за найм. Те же пятнадцать лет. Тот же эффект.

— Нет. (Пауза.) Я зайду за ней в лифт.

— В какой?

— Не знаю. В доме. В подъезде.

— Она переедет на первый этаж, она перестанет пользоваться лифтами.

(Пауза.)

— Она любит воду. В бассейн нет, не ходит, но ездит на море. Даже когда прохладно, купается.

— И что?

— Я должен подумать.

— Думайте.

— Можно, я буду думать вслух?

— Именно это вы и делаете.

— Но вы мне мешаете.

— Мне выйти? Отключить диктофон?

— Нет. Просто молчите. Я отлично понял, в чем сложность. (Пауза.) Вопрос, как эту сложность обойти. Может быть, просто подойти к ней на улице и воткнуть нож? Или через пятнадцать лет она вообще перестанет выходить на улицу? Лишь бы я не смог это осуществить. Понятно. Я бы этим удовлетворился, но присяжные что-то заподозрят. Понятно, понятно, я все понял. Машина, квартира, лифт, улица, море, кинотеатр, все можно исключить, решительно все. Даже магазин и аптеку. К тому же она может сменить имя и внешность и уехать куда-нибудь в Америку, в Калифорнию, к примеру, почему нет. Если мы все еще будем живы к тому времени, через пятнадцать лет. Да. А я бы хотел вот что. Я прямо вижу, как она входит в дом и думает, что в доме никого нет. Идет в душ. Хотя нет, это как-то по-киношному. Все по-киношному. Наверно, она наймет телохранителя через пятнадцать лет. Ей будет пятьдесят к тому времени. А мне шестьдесят пять.

— А мне пятьдесят семь. Простите, что вмешался.

3. Статья в газете

Рано утром на пульт дежурного полицейского поступил звонок. Заказчик убийства хотел сдать властям. Имя исполнителя он не назвал. Способ и точное время преступления — не знал. Не знал даже точное местонахождение трупа. Знал лишь, что преступление уже совершено.

К сожалению, или к счастью, решать вам, но и я не могу описать, как было совершено преступление, как выглядел труп, и место преступления мне тоже неизвестно. Да и само преступление еще не произошло. Оно только будет. Через пятнадцать лет. Как только Николай Анатольевич Суранов выйдет из

колонии строгого режима. Как только он отбудет срок за еще не совершенное убийство.

Да, пресловутая статья 1111. Казус, не имеющий мировых аналогов. И вызывающий возмущение любого разумного человека.

Казалось бы.

Статья обрывалась вместе с предложением и газетным листом. Обрывок торчал из подшивки. Так что у Николая Анатольевича не было возможности дочитать статью до конца.

Доступа к интернету ему не дали, но листать подшивку в читальне позволили. Библиотекарша объяснила, что клочок вырвал, скорее всего, Ефремов, ради фотографии блондинки. Фотографии в газете были цветными и несколько размытыми, как будто ты смотрел на них сквозь слезы. Хотя Николай Анатольевич сравнил это со старческой катарактой. Он и вправду чувствовал себя стариком. И даже не стариком, умершим. Он чувствовал себя немного на том свете. Не в аду, но в чистилище. Назад дороги не существовало, да и не думал он возвращаться, даже мысленно, жил только настоящим днем. Работа, синее, как будто проснувшееся небо, сладкий чай, крик во сне соседа по камере. Крик, от которого сжимается сердце. Только настоящее время, нет ни прошлого, ни будущего. И никаких мест на свете нет, кроме точки, в которой находишься ты. Кроме того, что ты можешь увидеть. И ничего не можешь вообразить. И не хочешь.

И вдруг под Новый год пришла открытка.

На открытке изображена была пирамида. Желтая пирамида в желтой пустыне под фиолетовым небом.

Николай Анатольевич коснулся пальцем глянцевого неба, провел по желтому песку, по черным крохотным верблюдам на горизонте.

Открытка была от нее. Она не была спрятана в конверт, и Николай Анатольевич подумал, что, наверно, многие люди успели до него прочесть, пробежать глазами эти три строчки. Николай Анатольевич впервые разглядывал так внимательно ее почерк.

Привет, я не в пустыне,

в кафе на Тверской, пью кофе, идет снег, не в кафе.

Чем вас кормят? К.

К. Он не хотел, чтобы она его забыла? Пожалуйста, она написала ему. Боялась ли она его? Он не знал. Растерялся, встревожился и ничего не мог понять из этих трех строк. Зачем она прислала ему эту желто-фиолетовую открытку, даже не скрытую в конверт от чужих глаз? Три строчки. Красивая марка. Почтовый штампель.

Он часто представлял, как она читает ту газету, от которой ему достался лишь обрывок. Читает и перечитывает. Как пытается смириться с тем, что умрет через пятнадцать лет. Как воображает его, убийцу. Как пытается скрыться, изменить имя, лицо. И все равно думает о смерти.

И вдруг — эта открытка. Что она означает? Бесстрашие? Глупость? Хитрость? Что-то еще? Уверенность в безопасности? В своих силах?

Он не знал. Он гладил желтый песок и как будто чувствовал жар.

Он написал ответ. Не сразу, до конца января открытка лежала у него в чайной коробке. Он не доставал ее, но помнил, что она там лежит. Как только просыпался утром, а просыпался он раньше всех, прежде сигнала «подъем»,

просыпался, открывал глаза, смотрел на серую грустную стену и видел мысленно эти желтые поблескивающие пирамиды. Эта открытка и была его воображаемый здесь мир. Тот мир, который он стал здесь воображать.

Бог его знает, почему он вдруг решил ответить на эту открытку. Может быть, оттого, что увидел это проснувшееся небо в конце января. Может быть, оттого, что она помнила. А ведь только этого он хотел.

Он ответил на вопрос, на тот единственный вопрос, который был задан:

«Сегодня на ужин давали перловую кашу. Сосиску. Чай. Вполне съедобно. Вообще, кормят сносно. Ходим в столовую. В камере нас четверо. Один страдает, говорит, что хочет другую еду, что-то он такое едал, чего здесь нет и быть не может, любит вспоминать про ресторан и белые скатерти, а мы ничего, любим послушать. Может быть, он это все придумал; так здесь бывает, что люди помнят то, чего не было; видел в фильме или читал в книжке, а думает, что было с ним. Хочет думать. Другой человек тоскует по спиртному, здесь его совсем не дают. А мне все нормально. Я получаю деньги за работу, мы все получаем. В лавочке можно взять конфеты, сигареты, сладкую шипучую воду, жвачку, сыр, колбасу, белые булки в сахарной крошке. Нет проблем. Кормят три раза. Завтрак, обед и ужин. И можно попросить чай в камеру раз в день. К чаю дают сахар. Здесь тоже идет снег. Небо серое, темное, а снег источается легкий, белый. Сосны и ели — под снегом. Красиво. Сегодня с утра, когда шли на работу, небо вдруг стало синее.

А что ты делала в кафе?»

Ответ пришел в середине марта. Не ответ на вопрос, она никогда не отвечала на его вопросы. Он отвечал скрупулезно, а она — никогда. И всегда, все эти годы писала открытки, в буквальном смысле открытые письма. Иногда писала коротко, иногда длинно. Иногда даже с продолжением, которое он получал через несколько дней, хотя обе открытки были одновременно брошены ею в почтовый ящик. Бывало, что сначала он получал продолжение, а уж потом начало. Так что ни он, ни она не вольны были распоряжаться порядком чтения. Иногда письмо занимало три открытки, а как-то раз — четыре. Николай Анатольевич хранил их все в своей чайной коробке. Но не доставал. Бывало, что открывал коробку и смотрел, как они там лежат, но не вынимал. Он их и так помнил. Ему нравилось их воображать. Цветные, черно-белые. Он и сами по себе картинки понимал как послания, как знаки, которые надо уметь прочесть. Пустыня на картинке, а за окном в ее кафе — снег. Что это? Желание тепла и света? Тоска по чему-то другому? Бог знает.

4. Открытые письма

Привет. Я курю на лестнице.

Ты работаешь?

К.

На открытке — старинная географическая карта. С кораблями и летящей большой птицей, с индейцами на полях. Старинная карта несуществующей земли. И никогда не существовавшей. По штемпелю — отправлена из Марселя. Из Франции. Он подумал, что была, наверно, ночь. Из окна на лестнице виден порт. Он не представлял марсельский порт. Но темное синее море представлял. И ее,

плывущую. То ли в море, то ли уже в небе. Они сливались, переходили одно в другое.

«Мы работаем. По восемь часов. Окна есть, но крохотные, свет проникает мало, днем и ночью — электричество. Очень шумно. Гудят станки. Я на конвейере, упаковщик. Однообразно и тяжело. Первое время боялся закрыть глаза после работы, тут же видел плывущий конвейер с кусками мыла и слышал гул. Сейчас привык. Вечерами учусь шить на станке, хочу перейти в цех мягких игрушек. Они все идут в детские дома.

Ты бухгалтер по-прежнему?»

Открытка вся черная, с жемчужно-серой фигуркой балерины по центру. Если долго всматриваться, кажется, что балерина вращается.

Эту открытку пишу при свече — отключили электричество.

Как ты выглядишь?

К.

Он подошел к зеркалу в туалете и заглянул в свое лицо.

«Я оброс. Давно не стригся. Как-то забыл. Думаю, что сегодня вечером схожу в парикмахерскую, она в старом бревенчатом доме, еще с тридцатых годов, парикмахер мужчина, носит белый халат, и потому, наверно, кажется, что он врач, что я сажусь в кресло к зубному. Я сяду и закрою глаза, а когда он скажет «готово» и снимет белую простыню, открою глаза и увижу себя обновленным. Бреюсь я каждое утро, так что кожа гладкая и бледная, мало бываю на солнце, да и солнце мало бывает в наших краях. Зимой. Как дальше, не знаю. Одежда: серый ватник, штаны, ботинки, шапка-ушанка. Мы все в сером. Выползаем на белый снег по утрам, глотаем воздух.»

Но это письмо он не отправил. Отправил небольшой, прямо по открытке вырезанный, плотный белый лист, на котором нарисовал его простым карандашом один из заключенных.

«Художник меня приукрасил, — написал Николай Анатольевич на обороте. — За три пачки сигарет.»

Открытка с кадром из старого американского мультфильма: скелеты танцуют на кладбище при полной луне.

Купила новые туфли. Красные. Хожу как гусыня, и сама себе нравлюсь.

Как там к тебе относятся?

К.

«Если коротко: хорошо. Правда. Считают тихо помешанным. Незаслуженно наказанным. Ты знаешь, я со всеми говорю негромко. Им это тоже кажется признаком болезни. Может, они и правы. И хожу я не очень быстро. Меня ждут, если что, не раздражаются. Иногда советуются. Да, как ни странно. По любовным вопросам. Что написано в письме, спрашивают. Не потому что грамоты не знают и не умеют читать, а потому что ищут какой-то особый смысл в простых строчках. Удивительно, как люди задумываются над таким, к примеру, пассажем:

«Вчера была в гостях Верка, Настюха решала задачку про бассейн, Верка взялась помогать, и ничего обе не решили, позвали меня, я тоже билась, потом бросили, взяли семечек и пошли гулять до парка, дорогу заасфальтировали, идти хорошо, только машин стало много, ты даже не представляешь, насколько, даже Петя Трофимов купил машину, старые "Жигули".»

Я читаю и расспрашиваю, кто такая Верка, что там за парк, что за человек

Петя Трофимов. Пожалуй что ради этих расспросов ко мне и ходят иногда с письмами. И жизнь их становится выпуклой для меня.

«Бываешь ли ты еще в кино? Здесь есть клуб, я ходил несколько раз, но было скучно. В последний раз уснул.»

Открытка — голландский натюрморт: недочищенный лимон, шкурка вьется желтой спиралью; кувшин с узким горлом, синие цветы, раскрытый гранат с темными блестящими зернами.

На Москве-реке нет уже льда. Я стояла на набережной, дул ветер, вода казалась синей. Ты с кем-нибудь дружишь? Настоящие убийцы?

К.

«Мой сосед по камере умер во сне. Обычно он во сне кричал, под утро, часа в четыре. Я не знаю почему, что ему снилось, я не спрашивал. Вел он себя всегда тихо, спокойно, работал споро, разговаривал мало. Я так и не узнал, кто он был в той жизни, что совершил. И все-таки я его знаю. То есть я ничего не могу о нем рассказать, никаких фактов, могу описать внешность и привычки, манеру держаться и задумываться. Не более. Но мне кажется, я его узнал так близко, как только возможно узнать человека. Я помню его прозрачный взгляд. Мне трудно все это объяснить.»

На днях я был свидетелем драки, в которой убили человека. Мы шли в столовую, под ногами вертелась собачонка и один из нас, уже пожилой человек, с седой головой, отбросил собачонку ногой. Парень с очень худым лицом толкнул его в спину, так что пожилой упал. Он пнул его лежащего и так неудачно, что попал в висок и убил. Он не ожидал, что станет опять убийцей, он и в первый раз не ожидал, насколько я понимаю. Преднамеренных убийств вообще не так много, как вот таких случайных или почти случайных, в драках, в злобе, в ярости, по пьяному делу. Да, здесь есть настоящие убийцы, и грань между мной и ними не прочна, а в общем-то — эфемерна.

Нет, я ни с кем не дружу. Нет охоты.»

Открытка с видом кафе: несколько столиков, за ними сидят дамы и господа; белые чашки, пирожные, — прошлый уютный век.

Изобрели бы открытки с запахом. Эта пахла бы шоколадом и кофе, сигарями. Духами.

Что ты делаешь в свободное время?

К.

«Иногда сижу на лавке возле клуба и смотрю на что-нибудь. Вчера смотрел, как блестит на солнце стеклянная крошка, у нас тоже весна. Иногда хожу в библиотеку. Листаю подшивки газет и журналов. Интернет и телевидение мне не разрешают. Беру в библиотеке книжки. В основном, фантастические. О других планетах, умных и несчастных машинах, полетах в прошлое и будущее. Старая смешная фантастика. Еще полюбил читать Тургенева, описания природы. В кино ходить совсем бросил. Мне неуютно в темном зале. Чувствую спиной темноту.»

Ты по-прежнему любишь мороженое?»

Открытка с солдатом Первой мировой. Он сидит на привале и читает письмо. Письмо из дома — так написано под картинкой.

Устала, хочу в отпуск, жду сантехника, чтобы починил кран.

Тебе здесь что-то снится?

К.

«Очень долго ничего не снилось вообще. От усталости. Незадолго до твоей первой открытки был сон. Будто горит дом, я стою далеко, на другом берегу реки, и горящий дом отражается в воде. Вечером того дня я вспомнил, что это из фильма, когда-то я его видел. Так что мой сон оказался чужим. Иногда мне снится моя старшая дочь, ей лет пять, я качаю ее на качелях. Стою рядом и раскачиваю. Бывают еще сны, но их трудно пересказать. Некоторые хочется мгновенно забыть, некоторые удержать. Был сон, из которого не хотелось просыпаться. И я порой жалею, что не сумел в нем остаться. Иногда мне кажется, что сон — вся моя прежняя жизнь, а иногда — нынешняя. Или та и другая. Не думаю, что я чем-то отличаюсь в этом смысле от других людей. Да и ни в каком смысле не отличаюсь. По большому счету.»

Открытка с ежиком. Ягоды и грибы на иголках, и сухой дубовый лист зацепился. У ежика блестящие черные глаза.

Я опоздала в театр. И решила уже не идти. Сажу на лавке, горит фонарь. И я тоже смотрю, как поблескивают стеклянные осколки.

Есть ли у тебя часы?

К.

«Да. Но я их не завожу. Забываю.»

5. Фильм

Длинные открытки, не уместяющиеся в одну, открытки с продолжением стали в основном появляться уже после того, как Николай Анатольевич отбыл свой срок.

Он не вернулся в Москву через пятнадцать лет, снимал комнату в поселке недалеко от зоны, работать ходил на тот же завод, видел сосновый лес из окна, мог бы ходить в тот же клуб смотреть кино, но не ходил. Он завел плитку и чайник. По утрам жарил себе яичницу и пил настоящий кофе, о котором забыл в заключении; по вечерам ел картошку или гречку, иногда макароны. Пил чай, смотрел в синее окно. Включал лампу. Раскладывал открытки, которые все хранил. Как будто надеялся, что они, выложенные таким образом или другим, что-то еще смогут ему рассказать. Как будто надеялся, что пасьянс этот можно сложить.

Открытки с продолжением он перевязывал ленточкой, чтобы не растерялись. В этих открытках она описывала фильмы, которые и в их клуб иногда привозили, но смотреть ему было неинтересно, а читать ее подробные рассказы он любил. Читать и перечитывать. Он читал и слышал ее голос.

Вот одно из ее описаний. Считаю необходимым его привести.

Начало шестидесятых. Электричка. Сиденья из светлых деревянных плашек. Деревянные рамы в окнах. Сейчас таких вагонов нет.

Поезд отправляется от Москвы. На платформе продают мороженое, белый пломбир. Дым над сухим льдом. По вагону идет женщина, она едва успела заскочить, еще не отдышалась. Электричка постепенно набирает ход, а у женщины выравнивается дыхание. Она идет медленно, выбирает, куда сесть. Окно открыто, она проходит мимо. Солнце спит. Мужчина шелестит газетой. Мимо них. Подростки. Бренчит гитара. Мимо, дальше. Женщина садится к старушке с

тихим, каким-то безветренным, лицом. На лавке возле старушки — небольшая корзина, из корзины торчит залатанный валенок. Один. Почему один валенок? — задумывается женщина. Детский валенок, маленький, с латкой. Зачем она его везет? Да еще август такой солнечный, ясный. И так странно смотреть на валенок, так нелепо он торчит из корзины.

Женщина думает, а все ее мысли слышит мужчина, мимо которого она прошла. Шелестящий газетой, большой, широкий, потный, хмурый. Он не столько читает, сколько слушает. Все мысли пассажиров ему открыты. Он промокает пот большим клетчатым платком, смотрит в окно и слышит их мысли. Как Мессинг. Он ведь в те годы был еще жив, Мессинг. Но мужчина — не Мессинг, он не выступает перед публикой, он хранит свой дар в тайне. Нам покажут, как он обрел этот дар. Еще ребенком.

Мать его вдруг замолчала тогда. Даже не пыталась отвечать на вопросы, даже письменно. И никто не знал, в чем причина. Несчастливая любовь? Болезнь? Никто не знал. Факт в том, что мальчик вдруг стал жить с немой матерью. Оказался в тишине, без отклика. Она его кормила, одевала. Слышала, но не откликалась. Или не слышала. Бывало, что он смотрел на нее и пытался заглянуть ей мысленно в душу, понять, что она думает. Думает — надо рассматривать широко. Не просто мысли, которые переводятся в слова. Но и чувства. Состояние. То есть он хотел понять ее. Услышать. И как-то раз ему это удалось. Он оказался там же, где она. Ее глазами увидел комнату, в которой они сидели. Вдруг ему повезло. Он как будто сумел настроиться на нужную волну. Увидел ее глазами, и это едва не убило его. Настолько увиденное оказалось мрачно. Тяжелый, мрачный мир. В котором и правда нельзя было отворить уста. Потому что ты в этом мире был уже мертвым. Мальчик так и не узнал причины, но понял состояние. И больше никогда не пытался стать на место матери. Зато на место других людей ему случалось заступить. Он научился проникать в мысли и чувства любого. Настраиваться на любую волну. Некоторые волны он помнил и мог, даже не видя человека, даже вдалеке от него, настроиться и услышать. Как будто он был приемник со светящейся шкалой, на которой вместо городов были написаны имена. При желании он отключался и становился обычным, слышащим только явное, а не тайное.

Поначалу он не собирался никого слушать в этом вагоне. Развернул газету, читал спортивные новости.

Она прошла по вагону, он даже лица ее не увидел. Только остриженный затылок. Чуть сутулую спину. Правое плечо выше левого. Он видел, как она идет, как садится. Отвлекся опять на газету, опять посмотрел на эту женщину. И рванул в ее мысли. Вот так, как бывает воды захочется, ему захотелось узнать ее. И он слушал, глотал эти ее мысли про валенок. И почувствовал боль — от натертой ноги. И усталость. Про валенок же она думала еще вот что:

наверно, старуха везет в нем что-то. Что-то хрупкое.

Он как будто смотрел на мир глазами женщины. Видел ее глазами. Платформу за окном. Девушку в развевающемся платье.

Поезд уже промчался, уже давно оставил платформу с девушкой позади, а женщина в электричке все видела эту платформу, точнее, девушку на платформе, точнее, развевающееся платье. Ткань, ткань в горошек. Видела и представляла, что шьет себе блузку из такой точно ткани. С отложным воротником. Себя представляла в этой блузке. И вдруг услышала мужской голос:

Лучше синяя. Просто синяя ткань, без рисунка.

Услышала и оглянулась. Привстала, чтобы всех видеть в вагоне. Всмотривалась в каждого встревоженными глазами. И вслушивалась.

Она тоже умела слышать мысли других. Такое вот совпадение. В одном вагоне оказались два читателя чужих мыслей. Встретились глазами друг с другом. Карие глаза и серые.

Вы слышите, что я говорю?

Глаза вглядываются. Губы сомкнуты.

Да, слышу.

Идите к черту.

Хорошо.

Она отвернулась, села на место, а он все-таки не пошел к черту, продолжал слушать ее, подслушивать, только сам молчал, боялся уже спугнуть.

Скоро она вышла. На далекой, заброшенной платформе. По заросшей тропинке отправилась к поселку. И он, сидя в вагоне и глядя в синее окно, видел эту узенькую тропинку и чувствовал, как тяжело идти в натирающих туфлях.

Он вышел на конечной, там была у него большая дача с темной елью у самых окон. Жена его ждала с ужином, и дети ждали, чтобы рассказать, что было сегодня днем, так что он и позабыл о женщине в электричке. Вечером, перед сном, вышел на крыльцо покурить. Смотрел, как шевелятся в темноте листья, и вдруг услышал:

Значит, синий?

Помедлил и ответил мысленно:

Только с оттенком осторожной. Синий, но не очень густой.

А вы курите, — услышал.

Ну, да, — ответил.

Сидите на крыльце и курите.

А вы перед телевизором сидите.

Ну, да.

Скрипнула за спиной дверь, его сын вышел на крыльцо, сел рядышком.

— Не спишь? — спросил он мальчика.

— Не сплю.

— Мама ругаться будет.

— Мама спит.

И так они сидели вдвоем и смотрели в темноту. Женщина из электрички от него ушла, чтобы не мешать.

В общем и целом ничего в их жизнях не поменялось. Они и не встретились больше ни разу. Только иногда, совсем редко, разговаривали друг с другом. И разговаривали о пустяках. До самой глубокой старости. До смерти.

Похоже на нас, верно?

P.S.

Я встретила твою соседку. В твоей квартире живет женщина, говорит, по твоей записке.

Он написал в ответном письме:

«Бог с ней, пусть живет».

Язык животных

Часть 1. Осень. Начало

Сиганула через дорогу собачонка. Прямо под колеса, в свет летящих фар. Водитель затормозил, рванул в сторону, смял ограждение.

Дорога пустынная, ночная.

Треск свечей, колеблющееся пламя. Он видит рукав своей одежды. Черный, бархатный. Что это? Камзол? Стол огромный, широкий. Не полированный, но очень гладкий. В нем отражается и пламя, и его отблески на бокалах. И белые руки, выглядывающие из черных рукавов. Он знает, что это его руки. Но они другие. Его руки совершенно изменились. Побледнели, истончились, пальцы вытянулись. А как выглядит его лицо?

Ему бы очень хотелось увидеть свое лицо, или хотя бы дотронуться до него. Но он не может решиться. Он не один за столом. Прямо напротив — седой, маленький старик. Черные глаза в красных веках. Безмолвный слуга наливает старику вино. Обходит стол беззвучными шагами. И наливает вино ему. Черное вино.

Он заглядывает в бокал и не видит дна. Кажется, что глядишь в бездну. Он обнимает ладонью холодный бокал, но согреть не может. Ни слова не говоря, старик приподнимает свой бокал.

Он пьет вино и не может выпить, как будто и правда — нет дна.

Он стоит на каменном, мокром от дождя плацу. Дождь мелкий и липкий, как паутина. Он знает, что за спиной — каменная громада замка. Он покинул его несколько минут назад. Хозяин провожал его до дверей зала. Дальше, глухим, каменным коридором, он шел один.

Чего-то он ждет на каменном плацу. Машина подъезжает. Она, как большая рыба с желтыми светящимися глазами. Машина стоит. Он должен в нее сесть. Но он медлит. Он слышит шаги. Не оборачивается, отчего-то боится обернуться. Шаги легкие. Поравнялись с ним, замерли.

Он видит подошедшую. Молодая женщина с карими, растерянными глазами на бледном худом лице. Волосы гладко зачесаны назад. Серое платье темнеет на плечах, промокает под дождем. Хотя дождь не виден. Водяной пылью оседает на ее волосы. Она ничего не говорит. Протягивает ему ладонь. И он осторожно ее пожимает. Ее прикосновение словно бы оставляет след. Уже в машине он трогает свою ладонь в месте невидимого следа. Он уже далеко от замка, от карих растерянных глаз.

Он потирает ладонь. Водитель молчит. Машина мчится на громадной скорости по совершенно пустому шоссе.

Он знает, где был, с кем пил вино, кто пожимал его руку.

Он был в замке короля всех зверей.

Он пил вино с королем.

Королевская дочь пожимала его руку.

Это она жалкой собачонкой едва не угодила ему под колеса. Он успел затормозить, вывернуть.

Ему предлагали остаться в замке на веки вечные, но он не захотел.

Так и не узнал, как выглядело там его лицо.

— Никогда. Никогда. Никогда-никогда-никогда.

Что за голоса? Откуда? Высокие, звенящие.

Отворил веки и ослеп от солнца. Зажмурился.

Вновь очнулся в тишине. Осторожно приоткрыл глаза.

Щадящий полумрак. Окно. Движущиеся тени деревьев.

Белое круглое лицо.

— Вы меня видите?

Прошептал «да», но собственного голоса не услышал.

— Вы помните, что с вами произошло?

«Нет». То ли сказал, то ли подумал. Закрыв глаза.

Открыл ночью. Увидел руку на простыне. Прежняя рука. Хотя и кажется теперь чужой. Пошевелил пальцами. Повиновались. Белел в углу умывальник. Белело полотенце на гвоздике.

Я в больнице, — догадался. И вспомнил собачонку.

Потрогал голову, нащупал бинт. Приподнялся на локте. Попытался встать.

Добрался до зеркала над умывальником.

Лицо прежнее. Хотя и кажется теперь чужим. Под белым бинтом, за черной щетиной.

Он выбрался в больничный коридор. В окна проникал голубой отсвет фонарей. Горела лампа на столе дежурной медсестры, как маяк на дальнем берегу.

Медсестра склонилась над книгой. Подняла глаза, когда он уже подходил. Услышала, видимо, шаги босых ног по линолеуму, старому, вытертому, холодно пахнущему дезинфекцией. Подняла глаза и охнула. Увидев его в белой простыне, в голубом потустороннем свете. И голова в белой марле.

— Вы извините, — сказал он. — Но у меня там одежды никакой нет.

Она говорила, что ни в коем случае вставать ему пока нельзя. Но все же принесла из подсобки казенный изношенный халат. Тапочки. Он спросил, не курит ли она. И она дала ему одну сигарету. И отомкнула дверь на площадку.

Но на площадке он курить не стал. Спустился вниз, отодвинул засов у двери и вышел на крыльцо.

Больничка была старая, заштатная, где-то, наверно, недалеко от того шоссе. И от железной дороги недалеко — слышался ход поезда, так долго. Небо было темнее, чем над Москвой, выше, глубже. Горел фонарь на деревянном столбе. Посверкивали стеклянные осколки на сером асфальте.

Он запахнул короткий халат, присел на выщербленную ступеньку. Щелкнул медсестринской зажигалкой. Помедлил закуривать, посмотрел на пламя. Чувствовал он себя, в общем, нормально. Ничего не болело. Как-то даже тихо было в голове. Обычно всегда что-то беспокоило, что-то тревожило, но сегодня было спокойно. Он прекрасно помнил себя: имя, возраст, род занятий, адрес, семейное положение. Знал свое место в этом мире. Он только не мог сказать определенно, сколько уже пролежал в этой больнице на железной койке. Лето все еще на дворе или уже пришла осень.

Темные деревья обступали больничный корпус. В темной траве стоял гипсовый мальчик. И в ночном свете он казался одушевленным. Печальным и одиноким.

— Ай! — раздался вскрик. — Болььно, ай-ай!

И вскрик перешел на стон, на причитание.

Он встал, прислушиваясь. И с сигаретой в пальцах побрел по траве на голос. Мимо неподвижного мальчика, печально склонившего голову.

Он шел осторожно, боясь упустить тапочки.

— Аййй, — стонал голос. Где-то совсем рядом. Едва ли не под ногами.

Он наклонился и увидел желтые глаза. Кошка запуталась в проволоке, в проржавевшем мотке.

Он опустил на корточки.

— Айййй.

— Тихо, — сказал он. — Я тебе помогу. Только спокойно. Не ори и не шарахайся.

Она смотрела молча. Он осторожно крепкими пальцами нащупал конец проволоки. И стал разматывать. Кошка лежала смирно. Сердце у нее колотилось. Он снял с нее проволоку и спросил:

— Ну что? Цела? А то в больницу снесу.

Кошка молчала.

— Ну беги, — сказал он.

Шуррр — ускользнула в траву, во тьму.

Он поднялся с колен и побрел к крыльцу. Вспомнил о сигарете, но ее уже не было в пальцах. Потерял, укатилась. У крыльца он остановился. Осознал, что стоит так же, как гипсовый мальчик: задумавшись, опустив голову. Очнулся и пошел в больницу — спать.

Проснулся — сияло солнце. Блестела паутина. Паук успел оплести приотворенное окно. Галдели воробьи. И в их галдеже он различал, слышал, то ли «никогда», то ли «откуда», то ли восклицание, то ли вопрос.

Встал, подошел к окну, толкнул раму, порвал серебряную паутину.

Воробьи толклись внизу, под окном, клевали сиротские столовские крошки.

— Никогда! — Откуда! — Где ты? — Где ты?

Он понимал язык зверей и птиц. Дар короля?

Потрогал бинты на лбу.

Через два дня его выписали.

Серая телеграмма:

мама умерла похороны 27

Затерялась в рекламных листках.

Листки забили почтовый ящик, он их все выгреб и принес домой, вывалил на кухонный стол. Устал, был еще слаб после больницы.

Дом, в котором его всего-то две недели не было, казался чужим. Как будто бы вернулся не через две недели, а через два века. Научно-фантастический полет, в котором твое личное время останавливается, а когда ты возвращаешься, то оказывается, что повсюду опоздал, город давно разрушен, вино испарилось, хлеб окаменел, мать похоронили.

Он сидел за кухонным столом, перебирал листочки, наткнулся на серую телеграмму, прочитал и перечитал. Развернул газету, увидел кроссворд, длинное слово, что бы это могло быть? Он даже вопрос не читал. Просто вспоминал слова в десять букв. Взял карандаш, вписал в квадратики: к а с а б л а н к а. Почему именно Касабланка? Да не важно. Он принялся заполнять кроссворд на свой

вкус, не читая вопросы, они его не интересовали. Пересечения слов, которые приходили на ум.

В дверь позвонили, и он пошел открывать, по дороге придумывая слово.

Увидел в глазок незнакомую женщину. Лицо серое, уставшее, дорожная сумка через плечо. Ждала терпеливо, смотрела прямо. Наверно, чувствовала, что и он на нее смотрит. Глаза светло-серые, зрачки расширенные. Оттого, что на площадке полумрак.

— Митя, — позвала его.

И по голосу он ее узнал.

— Ты дома? Ты меня видишь?

Он распахнул дверь, и женщина переступила порог, глядя встревоженными глазами на его обритую голову со шрамом.

— Митя?

Сумку тяжело опустила на пол. Обняла его, прижалась к груди головой. Седые волосы у корней. Он погладил ее волосы. Мягкие. Рука, оказывается, помнила, что мягкие.

— Сколько же мы не виделись, Митя?

— Три года назад я приезжал к вам.

— Да ты и не заходил к нам.

— Прости.

Она отстранилась от него, посмотрела в глаза.

— Вот и остались мы с тобой одни, сироты.

И потекли из ее глаз слезы.

— Вот, братец мой, вот так.

Он помог ей снять куртку, нашел тапки, повел в кухню.

Она рассказывала.

Что дома поминки не устраивали, а заказали в столовой.

Бывшая заводская, помнишь? Но там сейчас все иначе. Они вообще как столовая не работают, только мероприятия обслуживают. Включая свадьбы. Я вот думаю, Миша жениться хочет, мы там устроим. Да, представь себе, хочет официально оформить. Сначала в церкви, потом загс. Нет, представь себе, не беременна. А я и не знала что думать, на мобильный тебе звоню — вне зоны действия, звоню на домашний — молчание. Я даже бывшей твоей позвонила, она говорит, может в отпуске, в конце концов я и послала телеграмму. До последнего момента ждала, уже гроб опустили, я все глядела, не ты ли идешь. Народу много было. Колька явился со всем семейством. Трезвый. Вообще не пил. Квасом поминал. И выглядел хорошо, гладкий, розовый. И волосы у него густые, мне бы такие. Седые, белые. Так что вот так, все хорошо прошло, по-людски.

Я тебе привезла гостинцы. Знаешь, привет с родины. Помнишь яблоню у Коробовых? Золотую китайку. Из нее варенье. Не знали куда девать, столько уродилось. Смотри, косточки видны. Как мед. Будешь с чаем пить и нас вспоминать. А грибы мы с Мишкой собирали, здесь только белые, понюхай, разотрешь в порошок и всыплешь в суп, или в мясо, во что захочешь. А ты помнишь, как мы за грибами ходили, а Сережка таскался за матерью и грибы у нее из корзины воровал? Потому что сам ничего не находил, не видел, точно слепой, а мать говорила, что грибы сами к ней в руки идут. Она знала, что Сережка ворует, но только посмеивалась. А вот я еще что привезла.

И она развернула состарившимися руками газетный сверток, в нем лежали фотографии, все почти черно-белые, на них они были детьми, и Сережка был запечатлен, грибной вор, и приبلудный пес Тобик, и старая яблоня, и окно, из которого они смотрели, кто идет по дорожке к их дому. И мать, совсем крошечная, со своими родителями, ручки враспырку, у матери своей на коленях, а отец стоит за спинкой стула, в военной форме, усатый, сапоги блестят.

Узнаешь? Ты. В армии. Шея цыплячья. Я боялась, что тебя там обижать будут. А вернулся ты совсем другой, здоровенный, одеколоном пах, мне с тобой нравилось по городу ходить, и чтоб чужие думали, что ты мой парень.

Уже стемнело, а они сидели не зажигая света за маленьким столом в тесной кухоньке, смотрели глаза в глаза, и уже совершенно друг друга узнали, вспомнили и как будто не было долгих лет отчуждения, стена рухнула, и они оказались рядом, единственные родные люди, на всем белом свете, сироты.

Так что вот. Миша жениться хочет, а Катерина в институт поступать. Я рада, только денег надо, а где взять, Леня уже не может так работать, спина болит, я тебе честно скажу, я на мать надеялась, прости меня, Господи, дом все-таки, участок, но она все тебе одному отписала, и дом, и участок, и сберкнижку. Я не знаю, как мне тебя просить, но вот прошу, не бери все, у тебя сестра есть. Мать тебя одного только любила, но в болезни я с ней была, не ты, нет у тебя права забирать все.

И она еще долго говорила. И что печку в доме перекладывали, потому что дымила, и крышу перекрывали, и полы перестилали, сгнили доски за сто с лишним лет. А мать взяла и написала завещание. Он только в гости к ней наезжал, водку пил с Колькой Солдатовым, а то что они картошку ей копали, это все — как должное.

Она говорила одно и то же, разными словами, воздвигала рухнувшую было стену. Он молчал, и она не понимала, слышит ли он, а если слышит, то разумеет ли.

Говорила, говорила и замолчала.

На столе в развернутой газете поблескивали фотографии, как чешуя с огромной, давно сгинувшей, рыбы.

— Миша в доме жить хочет? — спросил он.

— Нет. Он без удобств не хочет.

— Продадите?

Она смотрела на него с хмурым, тупым каким-то недоумением.

Он заглянул ей в черные провалы на месте глаз. Там поблескивало в глубине, как уходящая вода в заброшенном колодце.

— Я подпишу. Отказ. От завещания. Дом продашь, вернешь мне часть денег. Какую сочтешь.

И он встал, чтобы зажечь свет.

На другой день они оформили бумаги у нотариуса. Дело было долгим, сидели в очереди, наблюдали за рыбками в аквариуме, молчали. Он выходил курить, брал кофе в автомате. Она сидела напряженно. Только сцепленными пальцами пошевеливала. Точно так же мать сцепленными пальцами пошевеливала, когда задумывалась.

Вышли из дверей конторы уже к вечеру, остановились, посмотрели друг на друга. Она произнесла:

— Спасибо, Митя.

— Не за что.

— Я тебе ровно половину вышлю, без обмана.

— Я знаю.

Помолчали.

— Я пойду. На автобус успею. К полуночи дома буду, Мишка встретит.

— Конечно.

— Я к метро.

— Да.

Он смотрел, как она идет к метро со своей уже нетяжелой сумкой.

Вернулся домой в седьмом часу, на закате.

Он не любил вечернее, красное солнце, оно его тревожило. Он зажигал раньше времени свет, задергивал шторы.

Но в этот вечер он сидел угрюмо и неподвижно в красном рассеянном свете, не отворачиваясь, глядя на него прямо, невидящими, впрочем, глазами. Ему хотелось позабыть, вырезать из жизни острыми ножницами приезд сестры и вклеить на это место что-то другое, хотя бы сидение в красном свете.

Он сидел и думал, что стали они с сестрой чужими уже безвозвратно. Раньше можно было посмотреть на старую фотографию и вспомнить прошлое, где были они близкие родные люди. Но теперь прошлое стало картой, засаленной, с обломанными углами. Она разыграла эту карту. Даже прошлого у него не осталось. И обожаемый с детства запах белых грибов, именно сушеных, теперь ненесен.

И он поднялся из старого кресла. Надел куртку и покинул пропахшую грибным духом квартиру. Пока шел через двор и по долгому подземному переходу, солнце спряталось, зажглись фонари.

Взял сигареты в круглосуточном магазинчике.

Брел по улице отрешенно, ни о чем не думая, но и не осознавая реальность. И вдруг пришел в себя. Огляделся и не узнал места. Панельные дома, широкая пустая улица. Ветер гонит сухие листья. Начинается дождь. Наверно, очнулся от его ледяных уколов. Достал сигарету и закурил, отвернувшись от ветра. И увидел парня. Он доставал из кармана мобильный.

Курил и смотрел, как парень стоит и сосредоточенно тыкает в мобильник. Эсэмэску что ли набирает. Он помнил, что видел этого парня в магазинчике, когда покупал сигареты. Парень болтался у закрытой стойки с алкоголем, что-то там высматривал. Магазинчик был маленький, тесный, так что он даже кислый запах этого парня слышал, и видел свежую царапину у него на щеке, и ворот клетчатой рубашки, и неровно обрезанные ногти на маленьких худых пальцах.

Он отвернулся и направился дальше по незнакомой улице. Шел, не спеша, курил и прислушивался, не идет ли парень следом. Не слышал. Дождь покалывал ледяными иглами, но не разгонялся. Улица привела к долгой бетонной стене, сплошь топорщащейся цветными бумажными хвостиками объявлений. Хвостики трепетали на ветру. Он остановился у стены. Вчитывался в объявления и не понимал смысла. Ухватил один хвостик, вырвал, спрятал в карман. Оглянулся и увидел парня. Тоже стоял у стены, шагах в двадцати. Смотрел в объявления, покачивался с пятки на носок, с носка на пятку.

Подумал, что, наверно, парень заметил в магазинчике его бумажник, деньги оттуда выглядывали, купюры. Плюс ключи в куртке, права. Есть чем поживиться.

Он отошел от стены и двинулся дальше. Не побежал, не прибавил шагу. Шел спокойно, уже не оглядываясь.

Он не испугался преследования, ему это было совершенно все равно. Настолько пусто было на душе, что собственная судьба не занимала. Как будет, так и ладно. И он нарочно свернул в глухой переулочек, и здесь уже слышал шаги. Преследователь — как эхо.

Что он сделает, когда нагонит? Ударит? Пырнет ножом?

Он шел, не ускоряя шаг и не замедляя, равнодушный к себе. Из переулочка свернул в арку. Черный тоннель. Гулкий, пустой. Остановился. И эхо застыло за спиной.

Достал белую сигарету. Закуривать не спешил. Ждал. Был готов, спокоен. Вдруг вскрик, рык.

Обернулся и увидел парня, вжато в стену. Огромный пес подступал к нему, рычал, скалился. И парень втискивался в стену. Каменные своды отражали рык, умножали, весь тоннель рычал. Парень тихо, едва заметно, продвигался, переползал к выходу, к улице. Пес не нападал и не отступал, продвигался следом. Он был серый, всклокоченный, грязный, страшный. Безумный. Парень сошелся, кинулся из арки вон. Пес камнем ринулся следом.

Они вылетели из арки, и наступила тишина.

Он один. С незажженной сигаретой в пальцах. Живой. Провел ладонью по колючей голове. Мокрая. Промочил все-таки дождь.

Он вышел из арки, вернулся переулочком на улицу. Увидел прохожего, спросил, как пройти к метро.

Возле метро уютно светилось окно в киоске, из него сытно пахло. Он взял печеную в серебряной фольге картошку, пиво, встал за столик под открытым небом. Дождь оседал на пластиковую столешницу. От картошки валил горячий пар. Он ел, прихлебывал пиво. Вдыхал картофельный дух. Воробьи садились прямо на столик, подбирали крошки. Бормотали что-то. Если он вслушивался, то понимал. Стой-Стой-Я-Я-Уйди. Слова распадались, теряли смысл, собирались снова, они походили на круглое мелкое пшено, эти воробьиные слова, падали и рассыпались. Весь мир говорил. И голуби. И кошка. И серая, проскользнувшая за киоск, крыса. И всклокоченный пес. Он подбирал объедки у помойного бака. Тот самый пес из арки. Только здесь он был совсем не страшный, жалкий, облезлый.

Мир говорил, и он его слышал. Не только зверей и птиц. Ему слышался — или чудился? — смысл и в шорохе дождя, и в звоне упавшей монеты, и в урчании двигателя остановившейся на светофоре машине. Словно он был глухим и вдруг обрел слух. И мир обрушился на него. Хотелось заткнуть уши.

Затрезвонил в кармане телефон.

— Дмитрий Андреевич? — спросил высокий женский голос. — Очень приятно. Мне вас рекомендовали. У меня квартира в Хамовниках. Старый дом.

— Простите, — прервал он. — Простите, но я сейчас не могу вам помочь. Я был в больнице и еще не совсем оправился.

— Я подожду.

— Могу вам порекомендовать очень хороших ребят.

— Не стоит беспокоиться, я подожду.

— Но я не знаю, когда я в норму приду, я бы хотел в отпуск съездить.

— Я готова ждать.

— Ну, как знаете. Кто вам меня так уж рекомендовал, если не секрет?

— Мои добрые знакомые. Вы их уговорили оставить старые оконные рамы

с задвижками. Для меня это — лучшая рекомендация. Позвоните, когда будете готовы. Я буду ждать, Дмитрий Андреевич.

Голос у нее был высокий и чистый.

И оттого, что голос высокий, а может и по другой какой причине, но казалось будто она говорит не тебе, не только тебе, но кому-то еще. Как если бы они играли на сцене, и она бы подавала ему реплику, но не только ему, но и невидимке в зрительном зале. Звучало не фальшиво, но театрально. Да, проще говоря, театрально. Но, впрочем, искренне. Высокий и чистый голос. Но слепой. Не видящий, так сказать, собеседника.

Он выбросил фольгу в мусорный бак и побрел в метро. Он решил, что перезвонит ей уже наутро. И за работой вернее придет в норму. Все лучше, чем прислушиваться бесконечно к птичьей пустой болтовне.

Часть 2. Зима прошлого года

Шел мокрый, тяжелый снег. Костя включил дворники, включил радио. Он напрягался за рулем, как будто вместе с машиной прикладывал усилия, чтобы ехать, будто мог ей передать свои молодые силы. Машина была старенькая.

Еще не стемнело, и Костя разглядел на остановке черную, высокую фигуру с бледным лицом. Девушка. Укрыться от снега ей было некуда. Костя знал, что автобус стоял сломанный на конечной, ждал сменного, и там уже скопилась черная толпа с трех, наверно, электричек. Когда Костя проезжал, люди из этой толпы махали руками, пытались остановить, но он прокатил мимо. Не хотел, чтобы забирались к нему, в только что отмытый салон, хлопали дверцами. С дверцами надо было полегче, старушка не выдержала бы натиска, напора, она вообще не любила чужаков, он это заметил.

Девушка в черном стояла неподвижно, руки не поднимала, но он остановился и опустил стекло. Девушка была высокая, тонкая, она смотрела на него внимательными глазами, и ему показалось, что где-то он ее уже видел, но не в реальной жизни, а в телевизоре, наверно.

— Вы автобус ждете? — спросил он. Мало ли.

— Да, — ответила она высоким, чистым голосом.

И высокий ее и чистый голос как-то соответствовал ее высокому росту, тонкой фигуре, чистому, бледному лицу. Только кончик носа покраснел. От холода, — подумал Костя с каким-то даже умилением.

— Автобуса долго не будет, он сломался, придет — толпа набьется, он даже не остановится, пройдет мимо вас, хотите, я подвезу, садитесь, я как автобус, та же дорога.

И он открыл дверцу.

Она забралась к нему, холодная, мокрая, высокие колени в тонких колготках, светящиеся колени, он их видел, даже когда смотрел на дорогу. Узкое запястье, узкая кисть, тонкие пальцы, серебряное, наверно, кольцо. Или из какой-нибудь платины, Костя не знал, но у нее могло быть из платины. Очень простое вроде бы кольцо, широкое, но на ее пальце смотрелось.

— Вам далеко? — спросил он.

Она ответила не сразу. Смотрела печально, как ему показалось, на заснеженный дом, вышедший прямо из леса.

— Не знаю, — сказала она. — Не знаю.

Может быть, и вопрос не услышала, на свои какие-то мысли отвечала: не знаю.

И Костя подумал: ладно, едем, скажет, где остановиться, вернемся, если что.

— Какой лес, — сказала она. — Я бы заблудилась в нем.

— Нет, — отвечал он, — это видимость, что лес, так, полоса небольшая, не заблудитесь.

Сказал и пожалел, что сказал, пусть бы думала, что лес большой, как в сказке. И еще подумал, что она здесь точно в первый раз.

Вывернули на шоссе, проехали деревню и повернули в поселок.

Он затормозил на площади и посмотрел на ее так и не отогревшееся лицо, на черные влажные ресницы. Колени светились.

— Мы приехали, — сказал он. — Вам где выходить?

— Не знаю. Можно здесь.

И она взялась за металлическую ручку.

— Погодите. Что значит, не знаете? Вы куда сейчас пойдете?

Она повернула к нему лицо и впервые посмотрела внимательно.

— В магазин какой-нибудь, погреюсь. Есть здесь магазин?

Рука дрожала, когда он вталкивал в замочную скважину ключ. Он боялся, что девушка заметит. Но она отрешенно смотрела на облупленную стену. На верхней площадке курили, слышался матерный разговор, и ему не хотелось, чтобы она слышала эти грязные слова, чтобы они касались ее слуха, ему было стыдно и за облупленную стену, и свою по-воровски дрожащую руку, и за то, что лампа не горит в прихожей, и за то, что воздух затхлый в квартире. Он бросился отворять форточку, а гостья стояла тихо на пороге комнаты, и от ее сапог текла грязная лужа. Он подошел, соображая на ходу, что в кухне посуда немытая, а в ванной висит белье и кафель разбит, что живут они скудно, бедно, некрасиво.

— Раздевайтесь, пожалуйста.

Она посмотрела рассеянно.

— У нас тепло.

Узкими, очень белыми пальцами расстегнула пальто. Он помог снять и удивился его тяжести. То ли отсырело, то ли само по себе было из тяжелого, очень плотного драпа. Повесил на вешалку, погладил черное плечо.

— Вы проходите, можно не разуваться, диван в комнате, я сейчас, я чай сделаю.

— Я лучше разуюсь, у меня ноги промокли.

И это обыкновенное «ноги промокли» ужасно его растрогало, он вдруг понял, что она живая, настоящая, из плоти и крови, замерзла, промокла, хочет, наверно, есть, а у него в холодильнике ерунда какая-то, если только мать суп не сварила. Суп мать сварила, и колбасы купила, и яйца были. Так что он разогрел суп, соорудил яичницу с колбасой. Гостья сидела на диване, поджав ноги, колени светились, она надела его шерстяные носки, мать вязала. И, когда надела, сказала:

— Как хорошо, как уютно. Мне нравится у вас.

Да, именно так она и сказала: «нравится», «у вас». Хотя диван, на котором она сидела в узкой юбке, был старый, продавленный, с аляповатыми, дикими какими-то цветами. Но она сказала: «нравится». И в кухне сказала:

— Какая милая у вас кухня. Герань. Я люблю герань. Многие не любят, а я люблю.

Он спохватился, что нет хлеба, и рванул к соседям.

Боялся, что вернется, а ее нет. Но пальто висело и пахло сыростью, сапоги стояли в грязной луже, она сидела на кухне в его носках, колени светились, белые пальцы лежали на столешнице, которую он, к счастью, успел протереть чисто-начисто.

— Как вкусно, — сказала она, подбирая желток хлебом. — А я готовить не умею.

— Я тоже. Я только разогрел, и яичницу.

— Яичницу я тоже не умею. Очень вкусно.

— Спасибо.

Это было прекрасно. И то, что она не умела готовить, и то, что сказала: очень вкусно, и то, что прямо хлебом подобрала желток, и то, что пальцы обликала, и то, что глаза ее стали сонными после еды.

— Хотите? Я вам постелю.

Голос его звенел от счастья.

— Спасибо. Очень хочу. Я бы еще душ приняла.

В мгновение он сорвал с веревок белье. Сыпанул в ванну порошок, выдраил, мыло достал новое, из обертки. Что еще? Шампунь. Отвинтил крышку, понюхал. Вроде ничего. Яблоком вроде бы пахнет. Если захочет. Да, если захочет, ее волосы тоже будут пахнуть яблоком. Достал ей свой купальный халат, у него был, полосатый, толстый, кто-то подарил, бабка что ли, он им не пользовался, хорошо, что вспомнил. Вспомнил, где у матери чистая простынь, в комод. И наволочка. И пододеяльник. И форточку тоже отворить в комнатушке, накурено, жуть.

Он выкинул окурки, поставил замызганную пепельницу в мойку. За тонкой стенкой грохотал душ. Он хотел представить ее обнаженное тело и не мог, что-то ослепительное видел, мокрое, белое-белое. Зажмурился, стоя над мойкой. И грохот вдруг прервался, тихо стало. Она еще долго не выходила. Но вот замок щелкнул и дверь отворилась. Ноги прошлепали. Босые ноги. Он не двигался над мойкой. Шаги босые смолкли. Он открыл тихой стружкой воду, вымыл пепельницу. И с мокрой, скользкой пепельницей пошел к себе в комнатушку. Он переступил порог, увидел черную голову на белой подушке. Глаза закрыты. Ресницы длинные. И маленькое ухо, круглое, удивительное, похожее на морскую раковину.

Бесшумно поставил пепельницу на письменный, школьный еще, стол. Приблизился робко. Глаза ее вдруг открылись. Карие. Но не темно-карие, а прозрачные, с черными точками зрачков.

— Мать скоро придет, — соврал зачем-то. Мать работала сутками, вернуться должна была только утром.

— Ой, тебе же спать негде, — пробормотала она.

Голос сонный, мягкий. Придвинулась к стене.

— Ложись, я тихо сплю.

— Да, — прошептал Костя.

Она уже глаза закрыла.

Погасил свет, увидел, что темно за окном, совсем ночь. Разделся в темноте. Прошел босиком к кровати. Забрался осторожно, лег на самый край.

— Иди под одеяло, — услышал, — замерзнешь.

Приподнял край, заполз, прямо с головой, в темную, горячую расщелину.

— У меня соски твердые стали, — услышал, — потрогай.

Взяла его руку и положила себе на грудь.

И ногу на него закинула, обхватила ногами.

— Губами потрогай, возьми в рот, не бойся, я это люблю, не бойся. Ой, ну давай, сюда, здесь, ааах.

Он это ее «ааах» на всю жизнь запомнил.

Мать пришла утром, уже развиднелось. Своим ключом отворила дверь. Увидела чужое пальто, такое длинное, как шинель, сапоги на каблуках, грязь, сыновние ботинки, в самый угол затолкнутые. Увидела в кухне пустую сковородку. Остатки супа нашла в кастрюле, поставила греть. Поела, вымыла посуду. Зашла к сыну в комнату. Две головы на подушке, его, остриженная, светлая, с рыжизной, и черная, черная голова, как ночь. Юбка узкая на спинке стула. Прозрачные колготки. Свитерок.

Мать ушла, прикрыла дверь.

Постелила себе на диване. Легла и не могла уснуть. Все прислушивалась к соседней комнате, но там было тихо. Зашуршало что-то, двинулась. Дверь отворилась и вошел сын. Мать поспешно закрыла глаза. Слышала, как он идет в туалет, как моется.

Мать встала, пока он мылся, поставила чайник, вымыла эту сковородку. Сын вышел из ванной и заглянул на кухню.

— Чай закипает, — сказала мать.

Он сел за стол. Мать придвинула ему кружку.

— А кто, — спросила, — там с тобой? Кто это?

— Женщина.

— И кто она? Откуда? Как зовут?

— Не знаю, — ответил сын.

— То есть как? — поразилась мать.

— Я ее подвез вчера. Ей идти некуда. У нее что-то случилось.

Мать смотрела на него изумленно. Сын молчал. Сидел и рассеянно улыбался.

— Что случилось? — переспросила она.

— Что-то. Я не знаю, не спрашивал.

— Костя, ты меня пугаешь.

— Да перестань.

— Я всегда знала, что ты у меня дурачок, но не до такой же степени.

— Перестань, мам. Она хорошая.

— Я иногда думаю, вот умру, и ты пропадешь совсем.

— Перестань.

— Облапошат тебя, пустят по ветру.

— Да кому я нужен.

— Вот именно! В этом-то все и дело! Кому? Что это за женщина? Ты ее сапоги видел? Знаешь, сколько стоят? За год не заработаешь. И вдруг с тобой в постели. Что ей надо? Убила что ли кого? Что ты уставился? Ты же не в курсе. А если б она тебя придушила?

— Зачем?

— Откуда я знаю, может, ей это удовольствие доставляет.

Едва она произнесла эту фразу, в кухню вошла девушка, буквально на хвосте этой фразы вошла. В полосатом Костином халате. На белой щеке — розовый

след, — отлежала. Глаза то ли карие, то ли зеленые, все вместе. Высоченная. Волосы черные гладкие. Стрижка — каре. Так это называется.

Костя вскочил тут же.

— Ой, сиди, пожалуйста, сядь. Вы его мама? Так приятно смотреть, как вы сидите тут вместе, чайник закипает, так уютно. Доброе утро, — сказала девушка высоким, юным голосом.

Голос юный, но сама она не так чтобы очень уж молодая. Не меньше тридцати. А то и больше. Обвела мальчишку дурачка вокруг пальца.

— Доброе утро, — ответила мать девушке миролюбиво. — Как спалось?

— Очень хорошо, спасибо, у вас очень хорошо спится, тихо, воздух свежий, сладкий, в Москве такого воздуха нет.

— Так вы из Москвы?

— Да.

— А как вас зовут? Если не секрет.

— Ирина. А вас?

— Нина Ивановна.

— Очень приятно. Такое красивое имя.

Ирина протянула ей белую узкую руку. Ногти не покрашены, но очень гладкие, блестящие, отточенные. Мать пожала белую руку своей маленькой, составившейся, изработавшейся.

— Можно, я с вами чаю выпью?

— Конечно. А тебе, сын, пора, опоздаешь.

— Не опоздаю.

— Тебя там уже предупреждали, кажется.

— Не опоздаю.

Он боялся оставить ее наедине с матерью.

— Смотри, уволят. Чем тогда будешь за бензин платить?

Костя молчал. Смотрел угрюмо.

— Вы кружку возьмите себе, — сказала мать застывшей с безмятежным лицом Ирине. — Там, в шкафчике.

Ирина прошла к шкафчику, отворила дверцу.

— Какие у вас кружки красивые.

— Обыкновенные. Мейд ин Чайна.

— Рисунок тонкий.

Взяла кружку и повернулась с ней к окну, к свету. И мать подумала, что, пожалуй, и правда, тонкий рисунок. Взглянула на угрюмого сына и прошептала ему в ухо самым тихим шепотом:

— Ты теперь всегда ее будешь караулить? На работу совсем не будешь ходить?

Он посмотрел на нее тяжелым взглядом.

— Ирисы, — сказала девушка; в ее пальцах кружка казалась прозрачной на просвет. — Чудесные. Я люблю ирисы. Как для меня нарочно. С моим именем созвучно. Ирина — ирисы.

Она вернулась с кружкой к столу. Уселась на шаткий табурет.

— Ну, — сказал Костя. И поднялся. — Поеду. А то и в самом деле опоздаю.

— На работу? — спросила гостя.

— Да. В шесть, максимум в семь буду. Иди, мать, дверь запри за мной.

В прихожей, уже одевшись, уже у самой двери повернулся к матери.

— Если я вернусь, а ее тут не будет, или она плакать будет от тебя...

— Что?

— С собой покончу.

— Рехнулся?

Вышел и хлопнул дверью.

Мать тихими шагами вернулась в кухню. Гостья налила уже себе чаю. Но не пила, — позабытая стояла на столе кружка, — а разглядывала фотографию на стене в деревянной рамке.

— Какие красивые лица! — воскликнула.

И мать посмотрела на фотографию удивленно и внимательно. Как давно не смотрела. Она помнила, что фотография темная, что лица людей на ней строгие, неприветливые, ничем не привлекательные.

— Удивительные лица, — продолжала гостья, — одухотворенные.

— Это мои родители, — сказала мать. Она уже и не знала, верить пришлице или нет. — Они из деревни, не отсюда, с Заволжья.

— Они прекрасные. Настоящие. Они присутствуют здесь.

— Не знаю. Мать говорила, что отец был не очень хорошим человеком.

— Нет, — уверенно сказала девушка. — Он замечательный.

Мать хотела рассердиться и объяснить, что нельзя по фотографии судить о людях. Но промолчала. Так устала, что не могла говорить, и даже думать, и даже потеряла на миг нить собственного существования, забылась на мгновение и очнулась уже сидящей за столом. Не помнила, как садилась, — впервые в жизни с ней такое произошло. Гостья тоже была уже за столом. Мать смотрела недоуменно на кружку в ее руке и не могла вспомнить, как называются эти синие цветы на кружке. Реальность ускользнула и вернулась, но вернулась не полностью, а как будто с прорехой, из которой дуло зябким ветром. Мать посмотрела на фотографию на стене. И подумала, что ничего не осталось от этих людей, кроме фотографии. Да и та не имеет уже к ним отношения, и никто не знает, какими они были.

— Вы устали, — сказала Ирина.

И мать посмотрела в ее жалеющие глаза.

— Я сутки работала, не спала.

— Вам надо отдохнуть.

— Я так и сделаю.

Помолчала. Посмотрела внимательно на гостью, такую безмятежную и доброжелательную.

— Ты тут возьми яйца, поджарь себе, кашу можешь сварить, там посмотри на полочке, хочешь манку, хочешь геркулес.

— Не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь. Сил нету беспокоиться.

Ушла в комнату, задернула шторы, чтобы свет не мешал и легла на диван, укрывшись пледом. Засыпая, подумала: «Ну и бог с ней, пусть хоть все украдет, мальчишке наука будет — на всю жизнь».

Проснулась она в вечерний томительный час закатного солнца. Она не любила просыпаться в это время. От такого пробуждения болела голова и тяжесть ложилась на сердце.

В квартире было тихо. Разве что в открытую форточку слышалась улица,

мокрые, холодные звуки. Но сама квартира молчала. И даже часы. Она посмотрела пристально на круглый циферблат. Часы стояли.

— Эй! — воскликнула она.

Ни звука, ни отклика.

Неужто?

Обошла квартиру. Ни узкой юбки, ни черного пальто, ни сапог, только следы от них в подсохшей грязи. Оделась и ушла. Кружку за собой вымыть не удосужилась.

Мать отворила шифоньер, проверила шкатулку. Деньги, документы, все на месте. В комнате сына выдвинула ящик стола, под бумагами, под дисками прятал он конверт с деньгами, тоже был цел. Сын не думал, что мать знает о конверте. Не думал, что она лазает в его стол. Впрочем, он о матери вообще мало думал.

Мать задумчиво вернулась в кухню, вымыла оставленную гостьей кружку. Вспомнила название цветов: ирисы.

Сын подъехал к дому в начале седьмого; мать его высматривала у окна. Подъехал, выскочил из машины и сразу посмотрел на окна. В них было темно, во всех трех.

Мать сказала ему ровно, спокойно, без упрека:

— Спасибо, что не убила. Спасибо, что только деньги взяла.

Он спросил хмуро:

— И сколько?

— Тридцать тысяч. Я газовую плиту сменить хотела и стиралку.

Он не признался, что и его сбережения украдены, что был заветный конверт и сплыл. Мать решила, что он крепче поверит, если сам пострадает, лично.

Сказала, что в милицию не стала звонить. Во-первых, не найдут. Во-вторых, и не будут искать. А главное, не хочется показывать людям собственный идиотизм. Сын молчал. Не поднимал глаза от тарелки. Поел и ушел в свою комнату.

Конечно, был страх, что гостя вернется. Наследит. Но она не вернулась. Ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. Никогда. Сын потихоньку отошел, оттаял. Стал встречаться с соседской девчонкой.

Гостью они между собой не поминали.

Часть 3. Осень. Продолжение

Наутро Дмитрий Андреевич ей перезвонил.

Старый московский район, тихая улица, сквер, шуршание листьев. Памятник неизвестному. Старый кирпичный дом.

Медленный железный лифт. Белая кнопка звонка. Быстрые шаги за дверью.

Высокая, черноволосая. В электрическом свете не угадаешь цвет глаз. Кажется, что коричневые, но не темные, нет. Прозрачные, с черными точками зрачков. Лицо бледное.

Протянула ему узкую руку. Он осторожно пожал.

Чувствовал себя рядом с ней неуклюжим, неловким. Некрасивым.

— Вот здесь, — провела ладонью по темному пятну на выцветших обоях. —

На этом самом месте висело зеркало. Старое-старое зеркало в черной раме. В таких зеркалах есть глубина. Правда, они искажают лица. Прекрасное зеркало. Оно мне очень понравилось. Я бы хотела видеть в нем свое лицо.

Она провела его в комнату. Лишенную мебели, голую.

— Сейчас здесь пусто и холодно.

— Не топят еще.

— Да. Но это другой холод. Здесь было так много мелочей, прекрасных мелочей. Старый телевизор в деревянном корпусе. Вышитая салфетка занавешивала экран. Так мило. Маленькая вазочка с талией. Индийская. Обжитой дом. Тесный. Репродукция «Мадонны» Рафаэля. Выжженный на доске парусник. Но все это не казалось безвкусным, это было замечательно. Казалось настоящим, подлинным, и Рафаэль из журнала, и парусник с кривой мачтой. Прекрасный старый дом. Мне так понравился его дух и я решила сюда переехать. Думаю, я найду Рафаэля в каком-нибудь журнале и повешу на то же самое место, в такой же рамке. Старик и старуха здесь жили, мне надо было записаться к ним в дочки. Они уезжали к детям и продали квартиру мне. Я уговаривала их приезжать ко мне в гости. Им там сейчас, наверно, грустно, на новом месте. Без этого вида из окна. Посмотрите. Здесь чудесно. Я счастлива здесь.

— Да, — сказал он. — Но мне нужно знать, что именно вы хотите. Цвета, материалы. Надо обсудить, прикинуть расходы.

— Я бы ничего не хотела менять. Только подновить. Паркет скрипит, я знаю, но пусть будет старый.

— Не проблема.

— Я знала, что вы поймете. Тот же паркет, те же стены. И я достану все эти мелочи. Можно сейчас купить старый телевизор? Вы знаете место?

— Узнаю.

— У меня сейчас новый период, время перемен. Я рада. Я люблю, когда у меня новый период. Обновление. Я сейчас живу в прекрасной квартире. Над рекой. Новый дом, все белое и серое, немного черного. Графичность, легкость. Зябкая пустота. Раньше мне требовалось именно это. Но сейчас нужна теснота, нужны милые глупые вещицы, скрипучие полы. Надо менять жизнь, это прекрасно.

— Хорошо, — сказал он.

— Да, прекрасно.

— Нужно составить смету.

— В этом я не смыслю. Полагаюсь на вас.

— Уверены?

Посмотрела на него прозрачными, из тени ресниц глядящими глазами.

— Вы настолько вписываетесь в это пространство — абсолютно. Я оставлю вам ключ.

— Хорошо. Думаю, что к завтрашнему дню смета будет готова.

— Да, завтра я подъеду. Прощай, милый дом, — помахала она стенам.

— У меня есть отличный мастер-плиточник.

— Да-да.

— Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами съездили на рынок, посмотрели материалы.

— Может быть. Но давайте встретимся здесь. Завтра.

— Конечно. Во сколько вам удобно?

— Я люблю утро.

Он видел из окна, как она выходит из подъезда, как приближается на высоких каблучках к темно-синей большой машине. Отворяет дверцу, садится. Уезжает. В раме окна — далекие купола, большие деревья, старые дома. Ничего особенного, но вид из окна умиротворяет.

Она оставила ему денег на ремонт, немаленькую сумму.

К обеду он составил список необходимых материалов. Созвонился с электриком и плиточником. В кухне напился воды из расхлябанного крана. Вытер ладонью рот и увидел крысенка. Он выбрался из-под газовой плиты и замер. Серый, с голыми, почти человеческими пальцами, с длинным голым хвостом. С блестящими черными глазами

— Здравствуй, приятель. Как жизнь?

Крысеныш молчал. Усы подрагивали.

— А здесь скоро бурная жизнь начнется, придут люди, будут сверлить, пилить, крушить, штукатурить. Я бы на твоём месте убирался отсюда. Скажи там своим.

Крысеныш не двигался.

Дмитрий Андреевич постоял, качнулся с пятки на носок и направился к выходу из кухни. В дверях оглянулся. Крысеныша уже не было.

Вечером, дома, он почистил картошку и поставил варить. Пока чистил, пока отваривал, пока ел, пока мыл за собой посуду, все вспоминал эту высокую женщину. Это ее: «прекрасно», «я счастлива». Она была молодая, лет, наверно, тридцати, может быть, чуть больше. Красивая, умная. Но ему было ее почему-то очень жаль. Несмотря на «прекрасно» и «счастлива». Или именно из-за них.

На другой день он приехал в пустую квартиру рано. Привез чайник, кружки, заварку, сахар, печенье, конфеты. Привез аптечку, привез инструменты. Он был человек предусмотрительный, продумывал все мелочи. Потому люди и любили с ним работать — можно было ни о чем не беспокоиться. Кроме того, он был человек честный, не терпел халтуры, сам был мастером и ценил мастерство других. Он даже привез из дома пару табуреток. Туалетную бумагу, мыло и моток бумажных полотенец. Отмыл подоконник, расставил кружки, чайник и припасы. Сел на табурет, вынул сигареты. И увидел вновь крысеныша. Зверек сидел у плиты на прежнем своем месте.

— Привет, — выбил из пачки сигарету. — Ты не против? Можешь сказать, я вроде как понимаю.

Поднес огонек к сигарете.

Крысеныш юркнул под плиту. Может быть, зверьку и в самом деле не понравился сигаретный дым.

— Смотри, друг, скоро здесь не погуляешь, второе предупреждение.

Ирина не пришла.

Ни в десять, ни в половине одиннадцатого, ни в двенадцать. Он звонил ей на мобильный. «Абонент находится вне зоны действия сети». Домашнего ее телефона, ее настоящего адреса он не знал. Прождал до вечера, до тревожного закатного света.

Он не хранил номера телефонов. Как только сдавал работу, удалял из памяти. Так что телефона тех, кто его рекомендовал Ирине, у него не было. Но дом он помнил. Помнил эти прекрасные старинные рамы с металлическими задвижками. Рамы он не погубил, содрал слои старой краски, обнажил дерево, обрабо-

тал, подогнал, подправил. Так что никаких щелей и зазоров. Прекрасные тяжелые рамы. Блестящие кругляши задвижек. Все продумано. Чтобы соответствовало этому дому, его торжественному духу, высоким потолкам с лепниной, чугунным батареям, которые он тоже уговорил хозяев не менять.

Он подъехал к подъезду, остановил машину, но выходить не спешил.

Дома кто-то был, он видел по светящимся окнам. Но что сказать людям в этом доме? Он только имя знал этой женщины, даже фамилию спросить не удосужился. Может быть, она день перепутала и завтра уже объявится. Или сегодня. Вот сейчас позвонит.

Но телефон молчал.

Он набрал ее номер.

«Абонент находится вне зоны действия сети».

Не выходил из машины, но и не уезжал, сидел, дожидался чего-то. И свет уже погас в окне.

Ладно, в конце концов, как мать говорила, за спрос денег не берут.

Он подошел к домофону и набрал номер квартиры.

— Да?

— Здравствуйте. Вас мастер беспокоит. Я у вас два года назад ремонт делал. Рамы сохранил.

— Дмитрий Андреевич, я вас узнал, здравствуйте.

— Анатолий Васильевич?

— Так точно. Что случилось? Заходите.

— Нет-нет, я отсюда. По вашей рекомендации ко мне женщина обратилась недавно, Ирина.

— Гордина?

— Фамилии я не знаю. Высокая, черноволосая.

— Гордина.

— Да. Она сегодня не приехала. Должна была утром. Я ждал. Ее мобильный не отвечает. Я беспокоюсь.

— Понятно. Я сейчас попробую с ней связаться. Вы, может быть, подниметесь?

— Нет, спасибо. Я вам свой мобильный продиктую сейчас.

— Он у меня сохранился. Я же и дал его Ирине.

— Точно, я не сообразил, извините, я отчего-то волнуюсь.

— Я понял. Я перезвоню.

Он вернулся в машину и стал ждать. Бог его знает, почему ему так не хотелось подниматься. Люди были неплохие, не хамы, интеллигентные. Он сам не мог ответить себе, отчего. Сидел в машине, в темноте, курил, ждал, смотрел на цветные окна в большом доме. Люди шли через двор. Смеялись. Он тоже решил подумать о чем-то смешном. О чем-то таком, чтобы и самому рассмеяться. Вспомнилось давнее лето, детское. Он ел малину с куста. И сладкую и кислую, нагретую на солнце. Запомнились просвеченные солнцем листья, солнечная зелень. Колючки. Голос сестренки: «Тобииик!» Это было хорошее воспоминание. Пусть от него хотелось плакать, а не смеяться. Телефон зазвонил, вытолкнул из солнечного лета, из малинника, из детства, в темную, пропахшую куревым машину.

— Ее домашний телефон тоже не отвечает. И сестры не в курсе. Так что да, исчезла. Но я вам хочу сказать, вы не беспокойтесь. Дело в том, что это не в

первый раз. И не в последний, наверняка. Она у нас такая, может сорваться вдруг, бог знает куда. Все бросить, всех подвести. Вернется, вы не сомневайтесь.

— Она же мне деньги оставила. На ремонт.

— Вот и прекрасно. Начинайте работу, она вернется и будет счастлива.

— Я не могу вот так людей срывать, в неизвестность.

— Понимаю.

— В любом случае — спасибо.

— Я вам перезвоню, если что-то прояснится.

— Да.

Дорога была свободна. Он ехал и думал, что скоро будет дома, выпьет чаю и ляжет наконец спать. Он понял, отчего так не хотел подниматься в ту квартиру. Боялся увидеть уже потускневшую краску, нелепую картинку на стене, дурную, все испортившую люстру. Что-нибудь в этом роде. Не хотел раздражаться на симпатичных людей.

На другой день он решил начать что-то делать, ободрать обои в ее прихожей. Отходили они легко, даже не пришлось размачивать. Приклеены были давно, на газеты. Так многие тогда клеили. Все газеты за семьдесят пятый год. «Советский спорт», «Правда», «Труд», «Советская культура». С любопытством прочитал телепрограмму. Скучная была телепрограмма и сами газеты были скучные. Затолкал обрывки в большой мусорный мешок, подмел полы. Один кусок обоев, сохранивший свой цвет под так ее поразившим зеркалом, оставил как образец. Хотел найти что-то подобное и по фактуре и по рисунку. Обои были темно-зеленые с серебряным морозным узором, мягкие на ощупь. Ободрал, подмел, намочил стены, прошелся по ним щеткой, губкой, протер и оставил отдыхать. Здесь стены можно было и не выравнивать, достаточно укрепить штукатурку. Умылся в ванной, поставил чайник, достал дома заготовленный сверток с бутербродами: хлеб с маслом, сыром и ветчиной. Чайник тем временем вскипел. Дмитрий Андреевич кинул в кружку пакетик.

Уселся на табурет у подоконника, где разложил аккуратно свой обед, и увидел крысеныша. Успел уже выбрать из-под плиты. Сидел на кафельном полу, смотрел черными глазами.

— Привет. Я тут перекусить собрался, будешь со мной? Я вчера в энциклопедию влез, почитал про ваше племя, сказано, что все едите.

Он взял хлеб с сыром, разломил и положил обе половинки перед крысенышем. Зверек не шелохнулся, когда он приблизился, не дрогнул.

Дмитрий Андреевич вернулся к подоконнику, сел, взял бутерброд с ветчиной и принялся за еду.

— Там еще пишут, в энциклопедии, что племя ваше принесло нам больше смертей, чем все войны вместе взятые. — Отпил чаю. — Так буквально и сказано. Потому что вы — переносчики заразы, дружок.

Он посмотрел на крысеныша, доедавшего уже его подачку.

— Знаешь, все-таки нелепая ситуация. Не то, что я с тобой разговариваю, не то, что мы с тобой тут вместе типа обедаем. А то, что я вообще здесь нахожусь. Откуда мне знать, может быть, ее давно убили, хозяйку этой квартиры. И что я здесь делаю? А я тебе скажу: я все жду, что она придет. Я за нее боюсь. Она, по-моему, несчастный человек. Даже я, от которого жена уехала в другую страну с каким-то не знаю с кем, даже я, который остался круглым сиротой, даже

я не такой несчастный. Я бы хотел ей помочь. По-моему, она нуждается в моей помощи. Но как помочь? Где она? Странно, что я так много о ней думаю.

Он встал, чтобы налить себе еще чаю, и задержался у окна. Ему показалось, что за эту ночь стало больше желтых листьев на деревьях.

— Вообще-то, я слышал истории про то, как люди общались с животными, и даже с крысами, и даже не совсем сказки.

Он стоял у окна и смотрел на осеннюю землю.

— Бабка моя родная говорила, что в их деревне был такой случай. Мужик остался один. Вот так же от него ушла жена, как от меня. В город уехала. Чем не заграница для деревни? Остался он один и как-то запил. Спустил все в кабаке, ничего не осталось, ни крошки еды, ни копейки денег. Хотел уже помирать. Веревку перекинул. На табурет встал. Голову в петлю сунул. И вдруг видит — на голом столе золотая монета поблескивает. И он голову вынул из петли. Купил на золотой водки, напился, и опять на том же месте очутился: или петля, или с голоду подышать. Хотел и правда уже повеситься, но только не мог во всем доме веревки отыскать, была и вся вышла. И он даже заплакал от бессилия. На полу сидя, возле печки и заплакал. И вдруг чувствует, как будто пирогом пахнет, сдобно, сытно. Привстал. Видит, на столе пирог лежит. Свежий, целый, с одного краю как будто немного смят. Он не стал думать, откуда пирог, схватил и съел. Потом уже немного пришел в себя, огляделся. Крошки со стола подобрал. С грибами был пирог. Подошел к иконе, перекрестился, сказал: прости, Господи, не буду пить, буду работать. И пошел из дома. К плотнику. Попросился в подмастерья. У плотника как раз заказов было невпроворот, он и решился взять его. Мужик работал, старался. В этот же день к ним пришла тетка, попросила сделать лавку и пирогов принесла поесть. Сказала: вот, с грибами пироги, с утра напекла, один, правда, крыса утащила, такая наглая, прямо у меня на глазах. Мужик пирог теткин откусил и понял, что точно такой же утром ел у себя в избе, что это для него сперла крыса пирог у тетки. Что за крыса, почему, он не мог придумать. Уже дома, вечером, придумал. Когда-то совсем еще мальчиком он полюбил девушку. Первая его была любовь. Они гуляли вместе и мечтали пожениться. Но девушка эта утонула в реке весной. И он тогда думал, что она превратилась в русалку. Но теперь решил, что она обернулась крысой, чтобы спасти его. Я считал в детстве, что это сказка, но сейчас не знаю.

Час настал нелюбимый, томительный, закатный. Он отвернулся от окна посмотреть на крысеныша. Но крысеныш уже исчез.

Дмитрий Андреевич не знал, рассказывал ли эту историю вслух или просто вспоминал, как бабушка рассказывала.

В последующие дни крысеныш не появлялся. Может, и вправду, послушал его и ушел, покинул это место. И как-то даже жалко было, что послушал. Что не с кем стало делиться бутербродом, некому рассказывать сказки. Некому даже просто сказать: привет.

К четвергу он уже снял обои в комнатах. Здесь стены нужно было выравнивать.

Вечером в четверг Дмитрий Андреевич выпил чаю и собрался домой. Вышел из подъезда, направился к машине. Шел не спеша. Шуршали под ногами сухие листья. Вдруг кто-то дотронулся до его опущенной ладони. Он изумленно обернулся и никого не увидел. Стоял большой дом, светились в нем окна. Они походили на цветные прозрачные леденцы. Дмитрий Андреевич направился

вновь к машине и вновь почувствовал прикосновение к ладони. Обернулся мгновенно. И увидел собаку. Она стояла и смотрела снизу вверх черными влажными глазами. Она совсем не походила на собаку из арки. В этой собаке не было агрессии, какая-то даже деликатность в ней чувствовалась, если применять человеческие понятия.

— Ты чего? — спросил он.

Она приблизилась, ткнула носом в его опущенную руку и отбежала на несколько шагов. Обернулась.

— Что? Что ты хочешь? Мне за тобой идти?

Она отбежала немного и замерла. Застыла на него глядя. Он двинулся к ней. Она побежала. Приостановилась, оглянулась, убедилась, что он за ней следует и потрусил дальше. Неторопливо, чтобы он за ней поспевал.

Район этот он не знал. И скоро уже потерял представление куда они движутся, в каком направлении. Собака вела его дворами, узкими переулками, глухими, едва освещенными местами. Перебежав через дорогу, останавливалась и поджидала его. За то время пока они шли, совершенно стемнело. Ему было не страшно за ней идти, но тревожно. Но он никак не мог не идти за ней. Он как будто был привязан к собаке невидимой неразрывной нитью.

Они шли узким тротуаром, вдалеке возвышались белые башни жилых домов. Гудело невидимое шоссе. Ветки больших, разросшихся деревьев склонялись над тротуаром и норовили зацепить прохожего, нужно было идти внимательно, чтобы не попасться. Тротуар оборвался, и они оказались рядом с бензоколонкой, и деревья вдруг исчезли. Они обогнули бензоколонку и вышли, впервые за всю дорогу, на шумное, людное, несмотря на поздний уже час, место. Он потерял собаку из виду и огляделся растерянно. Увидел вестибюль метро с горячей буквой «М». Киоски. Двух сердито о чем-то разговаривающих женщин. Но ближе всего был огромный автобус. Тетка возле автобуса проговорила-пропела:

— Автобус в ...ск, автобус в ...ск.

Дмитрий Андреевич стоял перед ней растерянно.

Почувствовал тычок в ладонь, повернулся и увидел собаку. Она подбежала к автобусу, к самым дверям.

— Кыш, — крикнула тетка и махнула на собаку рукой.

— Сколько билет стоит? — спросил он тетку.

— С собакой нельзя, — сердито предупредила тетка.

— С какой еще собакой? Это не моя.

— Семьсот рублей.

Он дал ей деньги, и дверь в автобусе плавно отошла в сторону. Собака уже исчезла. Он поднялся на ступеньку, оглянулся и не нашел ее.

Ровный ход, удобное кресло. Он чувствовал усталость от долгого дня, от хождения за собакой, от невозможности осмыслить происходящее с ним. Дорога успокаивала, убаюкивала. Он смотрел на огни, возникающие и гаснущие.

Очнулся уже при свете утра. Автобус шел медленно. Огромный, зеркальный, едва вмещающийся в узкий, серый проселок. Вид открывался чудесный из окна. Осенняя земля, туман в низине, в полном безветрии парящие листья.

Дорога выровнялась, расширилась и привела в город. Появилась за окном улица, а на улице — дома и прохожие. Автобус переехал железную дорогу и причалил у маленького автовокзала.

Дмитрий Андреевич покинул автобус и огляделся. Увидел через площадь приземистое здание с вывеской над входом: HOTEL.

Дверь оказалась открыта и он вошел. Спросил у дежурной, не останавливалась ли у них такая Ирина Гордина. За сто рублей дежурная просмотрела записи. Нет, не останавливалась. Она такая высокая, черноволосая. Ее нельзя не запомнить. Не было.

Трудно было полагаться на ее суждение. Такое было впечатление, что дежурная смотрит на тебя и не видит. Точнее, тут же о тебе забывает. Отвечает на вопрос и забывает и о вопросе, и об ответе. Смотрит на тебя и уже не знает, кто ты. Она — идеальный свидетель преступления. Тот, кто ничего не сможет рассказать.

Съел в забегаловке при гостинице кашу и черствый бутерброд с сыром, выпил жидкий кофе. Что было делать дальше, не представлял. Посидел на лавке перед гостиницей, выкурил сигарету, прислушался к воркованию голубей. Услышал: ррад, рррад. То ли услышал, то ли придумал.

Вернулся на автостанцию, узнал, когда будет обратный рейс. Вечером.

До отъезда бродил по городку. Он казался серым, расцвеченным лишь осенью. Придет ноябрь, листья облетят, пожухнут, земля почернеет и городок совсем потеряется, станет невидимым под серым низким небом. Ходил по улицам, забредал в магазины и стоял бессмысленно у витрин. Была она здесь? Бывала? Как узнать? Ему казалось, что все люди здесь смотрят и не видят. Не помнят. Страна забвения.

В Москву он вернулся утром и сразу поехал домой. Постоял под душем, хотел выпить чаю, но так устал, что и чашку бы не донес. Уснул перед телевизором. На другой день прибрался в своей квартире, сходил в магазин, купил продукты. Золотая осень кончилась. Небо потемнело, дождь то затихал, то усиливался. Уже после обеда пришлось включать электричество. Но ему даже понравилась такая темная сырая погода. Во всяком случае, смотреть на нее из окна теплого дома было приятно.

И даже не выглядывая в окно, а только слыша холодный дождь, было хорошо чувствовать себя дома, в тепле и уюте. Смотреть телевизор, перебирать старые фотографии, те, которые привезла и оставила сестра. Он смотрел на них со странным чувством. Как будто бы не имел уже отношения к этим людям на снимках, даже к этому мальчику, которым когда-то был. Что-то вроде отчуждения к прошлому возникло. Но не болезненное отчуждение. Как будто прошлое осталось на берегу, в туманной дали, от которой он отплывал на корабле. В неизвестность. То, что впереди — неизвестность, он остро вдруг почувствовал. Давно уже не возникало такого чувства, с молодости. Прощайте, прощайте, — хотелось им всем сказать на снимках.

Наутро он поехал к дому Ирины.

Думал посмотреть, все ли в порядке. Перекрыть воду, газ. От греха подальше, как говорится. Забрать чайник, кружки и все свое и больше уже туда не приезжать. Пусть это тоже станет прошлым. Деньги вернуть ее знакомому под расписку. Или ее сестрам. Вроде бы знакомый упоминал тогда в разговоре ее сестер. Позвонить Якову Михайловичу, нет ли у него заказчиков.

Утро было темным, ветреным, казалось, что уже конец ноября, вот-вот снег. Он включил в машине печку, приемник что-то бормотал, Дмитрий Андрее-

вич не вслушивался. Подъехал к дому, припарковался, заглушил двигатель. И увидел в ее окне свет.

Часть 4. Осень. Окончание

Ирина отворила дверь и сказала:

— Я как раз вам звонить собралась. Я думала, что вы уже комнату сделали. Почему-то была уверена. Я даже знала, что обои очень темные, темно-вишневые, а паркет гладкий, ледяной, и белый, чуть даже с голубизной, потолок. Вот так и видела эту комнату.

— Ничего не сделано.

— Жалко.

— Вы исчезли.

— Ну и что?

— Без предупреждения.

— Но я же оставила деньги.

— Это и было странно. Я же не знал, что с вами. Вдруг что-то случилось?

Телефон ваш не отвечал.

Они стояли в прихожей друг против друга. Молчали.

Она вдруг улыбнулась.

— А я тут чай ваш пила.

— На здоровье.

— А вы завтракали?

— Да.

— Вы извините, что так получилось.

— Извиняю.

— Не бросайте меня.

— Хорошо.

— Так больше не повторится.

— Я надеюсь.

— Тогда — мир?

И протянула узкую белую ладонь. Он пожал ее.

Они поехали на рынок. Им везло. Нашли и темно-вишневые обои, и темно-зеленые с морозным узором. И даже кафель выбрали для ванной.

Поели в забегаловке. Она сказала, что обожает такие забегаловки. Ей нравятся запахи, нравятся разговоры. Хотя ничего особенно замечательного не было ни в запахах, ни в разговорах. Один разговор, близкий, назойливый, его даже раздражал. Что-то про парня, который вернулся из армии и не хочет ни учиться, ни работать. «Ничего не хочет, ничего, но всегда улыбается, всегда доволен».

Здесь же, за маленьким столом у окна, Дмитрий Андреевич позвонил ребятам. Со всеми договорился. Отключил телефон и посмотрел на нее. Не к месту она здесь была, в этой затхлой, прокуренной забегаловке, удивительно было ее здесь видеть. Пластиковую вилку в ее длинных пальцах удивительно было видеть.

— Простите за любопытство, — спросил он. — А что вы все-таки делали в ...ске?

Ирина посмотрела на него изумленно. Будто впервые увидела. Изумленно и, пожалуй, испуганно. И он понял, что она точно там была.

— Вы меня там видели?

— Нет.

— Вам кто-то сказал?

— Нет, никто не говорил. Я просто знаю.

— Откуда?

— Знаю.

— Но откуда? Об этом никто не знал. Я и сама не знала, куда еду! Не молчите. Вы меня заинтриговали.

— Я вам расскажу, обещаю. Только сначала объясните, что вы там делали?

— Это несложно на самом деле. Я ехала на поезде и мне понравилось название станции. Мне иногда хочется куда-нибудь поехать, все равно куда. Понравилось название, и я сошла. Городок небольшой. Я добрела до окраины. Там дома деревянные, с наличниками. Тихое утро, петухи поют, прекрасно. Я шла по улице и вдруг запахло костром, осенним дымом. Улица была совершенно заросшая, милая. За почернелым забором стояли яблони, уже без яблок. Я увидела старуху на небольшом участке, там и тлел костерок, старуха подгробала к нему сухую картофельную ботву. Подул ветер и полетели с яблонь желтые листья. Хорошо было. Я поздоровалась. И сказала ей, как у них хорошо. Она была маленькая сухая, в большой старой куртке с подвернутыми рукавами, надетой на домашний цветастый халат, и в резиновых ботах, из них выглядывали шерстяные носки домашней вязки. «Хорошо, — согласилась она, — вот только электричества нет, подстанция сгорела». Я подумала, как это прекрасно: вечер, горит свеча, молчат телевизоры и музыкальные центры, тишина, в которой слышно, как свеча потрескивает. Я сказала ей об этом. Она посмотрела на меня удивленно. Сказала, что любит почитать на ночь, а при свече не видит букв, так что мало хорошего. Я вернулась в центр города, долго ходила по магазинчикам, искала и нашла в конце концов керосиновую лампу. Купила лампу и керосин и принесла старухе. Как раз под вечер, уже смеркалось и старуха собиралась спать. Она не хотела брать подарок, но я уговорила. Мы зажгли лампу и посидели вдвоем за ее бедным столом. За окном была совсем ночь, ни огонька, ни проблеска. Идти было страшно в такой темноте, ничего не видя, и старуха оставила меня ночевать на скрипучей раскладушке. Я проснулась рано. Старуха спала. На столе лежала книга, которую она читала. «Русские народные сказки». Я тихо оделась и ушла на автостанцию. А теперь говорите, как вы узнали, что я там была.

— Не скажу.

— Помилуйте! Вы же обещали.

— Извините. Я вас обманул.

Она смотрела на него внимательно, пристально. Как будто надеялась рассмотреть ответ.

Уже на другой день приехали ребята и начался настоящий ремонт. Грохот, пыль, короткие перекуры. Она приезжала и кормила их всех обедами. Обеды привозила в судках, покупала в кафе. Разогревала на старой плите. Ребята соорудили что-то вроде стола из пары ящиков. После обеда она мыла посуду, смотрела, что уже сделано. Все ей нравилось, она говорила: как хорошо, красиво. Комната и в самом деле вышла по ее мечте: темно-вишневая с ледяным

паркетом и белейшим потолком. Темно-зеленые обои в прихожей таинственно светились морозным узором. Удалось даже отыскать старинное зеркало, рама была в стиле «модерн», ее почистили, подклеили и стянули трещины, покрыли матовым, тусклым лаком и повесили зеркало ровно на то место, которое она указала. Уже через три недели ремонт был закончен. Она была довольна, заплатила ребятам что-то вроде премии, а его пригласила в ресторан отметить. Он знал, что она так просто не сможет с ним расстаться, ведь он загадал ей загадку, она увидела в нем тайну, что-то необыкновенное. То, что не может не привлечь. То, чего в нем на самом деле не было.

Дмитрий Андреевич долго думал что же надеть, выбирать-то особенно было не из чего. Джинсы и еще джинсы. Был один костюм, но оказался вдруг великоват и смотрелся он в нем жалко. В конце концов он догадался, что тайна никуда не исчезнет — для нее. Во что бы он ни был одет, она будет видеть в нем эту тайну. То есть он будет ей интересен в любом случае. В джинсах или в костюме на вырост. Решил, что в ресторан приличнее все-таки в костюме. Только галстук не надел, галстуки он ненавидел и не держал.

Пришел первым. Его проводили к заказанному столику. Зал для курящих. Это хорошо. Когда куришь, меньше волнуешься. Только пепел на белую скатерть не надо бы ронять. Он попросил кофе. Курил и пил кофе, пока она не пришла. В черном бархатном платье. Вырез на груди. Прозрачный камешек — на белой коже. И здесь, в этом дорогом спокойном ресторане, где даже скатерть лежала на столе с чувством собственного достоинства, — и здесь Ирина казалась странным существом, пришельцем.

Села за столик, улыбнулась. Меню не взяла, сказала, что и так знает. Заказали: она — бульон, кофе и мороженое, он — стейк, красное вино. Говорили о пустяках. Точнее, о постороннем. Рост цен. Катастрофа в Мексиканском заливе. Убийство в метро. Перемена климата. Да, для них это было постороннее, неважное, тема для разговора, не более.

После ресторана поймали машину. Сели на заднее сиденье. Она назвала адрес.

Вышли из машины вдвоем и вдвоем направились к подъезду. Ни о чем не договариваясь, не пускаясь в объяснения.

Она отворила дверь и пропустила его вперед, в прихожую. Где висело на стене старинное зеркало. Оно отразило его глаза, похудевшее лицо. И отразило ее. И в раме зеркала они застыли, как будто изобразил их здесь, в этой раме, художник. Запечатлел на веки вечные. Она была в туфлях на высоких каблуках, почти с него ростом. Лицо бледное. Он протянул руку и погасил в прихожей свет.

Спали они на огромном ортопедическом матрасе в темно-вишневой комнате. Ни мебели, ни занавесок. В окно светило отраженным светом московское небо. Она была то покорна, податлива, то вдруг отталкивала его, и тут же с силой прижимала к своей груди его голову. Как будто он был ее ребенок. Он проснулся под утро и долго смотрел на нее спящую. Снял с нее простыню и разглядывал. Белое молочное тело. Круглые, с темными сосками груди. Он побоялся ее тревожить. Пусть лежит с закрытыми глазами. Тихо. Тихо. Укрыл ее простыней, встал на ледяной пол.

Новая газовая плита в кухне. Белая. С чугунными решетками над горелками. Стола еще нет. Ящик вместо табурета.

За окном было тихо, безветренно. Он отворил створку. Тихо, но холодно. Достал сигарету. Дожди стерли позолоту, но вид из окна по-прежнему умиротворял. Он смотрел вдаль, за ставшие прозрачными деревья. Зажигалка вдруг выскользнула из пальцев и улетела вниз. Он выглянул из окна, свесил голову. Черные мокрые кусты. Отсвет в длинной луже. Подошел к плите, повернул вентиль. Пламя зажглось. Он наклонился и прикурил. Услышал какой-то шум в окне, что-то темное увидел краем глаза. Повернулся. Зажигалка на подоконнике. Его. Зеленая, пластиковая. Заляпана грязью. Он взял зажигалку, пальцами стер грязь, спрятал в карман. Хотел подойти к умывальнику сполоснуть руки.

Ирина стояла на пороге кухни, завернувшись в простыню. Пристально смотрела на него.

— Привет, — сказал он.

— Ворона.

— Что?

— Это ворона принесла зажигалку. Я видела. Там перо на подоконнике. Как доказательство.

Он посмотрел. Действительно, перо.

Тут же в холодной, выстуженной кухне он рассказал ей про аварию и про замок.

— Как странно и как чудесно, — прошептала она, не сводя с него черных, совсем потемневших глаз.

— Вот только теперь, после того как я рассказал тебе про замок и короля, я перестану понимать язык животных. И они меня уже не поймут. Рассказывать было нельзя. Я не сохранил тайны. Так что когда ты в следующий раз пропадешь, мне уже никто не подскажет, где ты.

Мухаммат Мирза

«Покайся, человек, перед творцом...»

С татарского. Перевод Николая Переясллова

* * *

Не списать этот грех на режим большевистский иль царский —
мы забыли башкирский язык и забыли татарский,
и теперь сам шайтан толмачом нам единственным стал,
мудрость гениев переводя на язык тарабарский.

* * *

Каждый день все талдычат вокруг об одном:
«Мы последнюю чашу истории пьём!»
А сосед мой, что трезвым почти не бывает,
говорит: «Ничего, мы другую нальём!..»

* * *

Мир — огромный базар. Оглянись беспристрастно вокруг —
продаются и речка, и поле, и роща, и луг.
Стали ходким товаром достоинство, совесть и гордость...
Ты ещё не отнёс на базар свою душу, мой друг?

* * *

Это счастье твоё, что с покорностью глупых овец
тебе люди внимают и даже кричат: «Молодец!»
Говорят о тебе: «Он такой — лишь один в целом свете...» —
и тайком про себя добавляют: «...осёл и глупец!»

Мухаммат Мирза (настоящее имя — Ибрагимов Илфак Мирзаевич) — поэт. Родился в 1953 году в с. Чалманарат Актанышского р-на Татарской АССР. Окончил Казанский институт культуры (1975). Автор нескольких сборников поэзии. Главный редактор журнала «Чын мирас». Председатель Союза писателей Татарстана (2005—2012). Лауреат Государственной премии Татарстана им. Габдуллы Тукая (2011). Живёт в Казани.

* * *

Нас не смоешь, как пыль с тротуара, дождём.
Здесь земля наша, жизнь наша, родина, дом.
Кто бы нам ни внушал, что милей за граница,
скажем вслед за Тукаем в ответ: «Не уйдём!»

* * *

Если трудно — сосед мой к себе созывает народ.
Но на помощь другому — вовек не шагнёт из ворот.
Не скажи, что ему наплевать на чужие проблемы,
он о них лишь услышит — с три короба тут же приврёт!

* * *

Весь мир привычно смотрит, как у брата
брат отбирает всё, вплоть до халата.
Никто не крикнет: «Прекрати, злодей!» —
все за молчанье ждут себе «отката».

* * *

...И наступит тот день, когда станет тебе не до песен.
Будешь нищ и убог, и покроет главу твою плесень.
От богатства до бедности — шаг. Был вчера ты — кумир,
а сегодня и дряхлому ворону не интересен...

* * *

Ты клянёшься, что выведешь вора на чистую воду,
что о всех злодеяньях его ты расскажешь народу
и его опозоришь на весь необъятный наш мир.
Но забыл ты, что мир — уж давно ему служит в угоду...

* * *

За той рекой, за той рекой —
народ какой-то не такой:
там вам за так дают верблюда
и до-о-о-олго машут вслед рукой...

* * *

Время — та же река, глубоко её дно.
Выстрой сотни плотин — катит мимо оно.
Даже тем, кто постигнет все тайны Вселенной —
всё равно новой жизни прожить не дано!

* * *

Что за дивный народ! Каждый ближнему — искренне рад,
пусть не может помочь, но зато и не чинит преград.
Нет ни зависти здесь, ни вражды, ни взаимных упрёков...
Что мешает и нам быть такими — не знаешь, мой брат?

* * *

Всё, что жизнь предлагает — с улыбкой бери,
нет широкой дороги — тропинку тори,
даст судьба гору золота — будь благодарен,
даст пятак — как за золото благодари.

* * *

Мы должны быть готовы к любому концу.
Жизнь целует нас в губы и бьёт по лицу.
Наши судьбы — сгорают быстрее, чем спичка,
оставляя лишь серого пепла пыльцу...

* * *

Покайся, человек, перед Всевышним.
Поверь, что этот шаг — не будет лишним.
Придя к Нему на суд без покаянья —
в чём искупленье мы грехам отыщем?

Вячеслав Пьецух

Рассказы

Два дня в Париже

Я человек думающий, причем настойчиво и всегда. Что бы я ни делал, куда бы ни направлялся, о чем бы ни говорил с приятелями за кружкой пива, меня постоянно точит мысль, как короед древесину точит, и я даже как будто слышу ее движение в голове. Например, сравнительно недавно мне вот что пришло на ум: в формуле российской государственности, со времен Владимира I Святого не претерпевшей особенных изменений, наш соотечественник представляет собой третьестепенный, чуть ли не презренный, даже как бы избыточный элемент. Во всяком случае, наши владыки искони держали своих подопечных впроголодь (приятное исключение составляет один государь Павел Петрович, выдумавший запасные хлебные *магазины* на случай неурожая) и не считались с потерями в ходе боевых действий, уповая на то, что русские бабы податливы и всегда восполнят утраченный контингент. Так сложилось, видимо, потому... а вот хрен его знает, отчего так сложилось, вроде бы и народ у нас, в общем, положительный, и правили страной все же не дураки.

Подобные причудливые мысли приходят мне на ум всегда вдруг и, казалось бы, ни с того ни с сего, хотя я подозреваю, что это от одиночества, которое никому не бывает впрок.

Формально я был женат трижды и всякий раз из моей семейной жизни выходила склока и ерунда. Оттого с первой женой я промучился восемь лет, со второй — шесть, с третьей — только год и шестнадцать дней. Казалось бы, хлебнул горя человек, нажил кое-какой опытный капитал, так вот поди ж ты: черт меня дернул жениться в четвертый раз. Видно, что-то, а одиночество не по мне.

А тут затмение на меня нашло, какое-то помешательство, когда я повстречал Веру Пальчикову на выставке Тернера в Пушкинском музее, — до того она была во всех отношениях хороша. Улыбка непереносимо обольстительна, глаза темные и немного пугающие, как дуло револьвера, подбородок чувственный, над верхней губой — пушок. Один мой приятель, записной женоненавистник, и тот вынужден был признать, что у Веры «туловище красивое», и насмешил меня этим комплиментом до стеснения в животе. Единственно, моя новая пассия

Вячеслав Пьецух — прозаик, эссеист, родился в Москве в 1946 году. Окончил исторический факультет МГПИ. Автор более десяти книг. Лауреат Новой Пушкинской премии (2006) и премии «Триумф» (2010).

была младше меня на двадцать четыре года, что, конечно, не шутки, но дурочкой она, во всяком случае, не была.

Итак, я женился на красавице Пальчиковой и сразу же после бракосочетания, которое обошлось-таки без грандиозной пьянки, мы с ней отправились в свадебное путешествие по маршруту Москва—Париж. Замечу, что с той самой минуты, как я поставил свою подпись в книге регистрации гражданских состояний, ни одна путная мысль мне в голову не пришла. Еще замечу, что то же наблюдается у пернатых и, положим, соловей поет исключительно от одиночества и тотчас замолкает на все лето, как только найдет самочку по себе.

Ехали мы поездом, с двумя пересадками, сначала в Берлине, а потом в Саарбрюккене, затем что оба боялись летать, потому как настоящие пилоты в России перевелись. Вот уже остались позади снега, сараи, недружелюбные рожи соплеменников, а впереди загадочно брезжила столица мира, где прежде я как-то не удосужился побывать. Что же до Веры, то она отродясь не заезжала дальше Кишинева, во-первых, за недостатком средств, а во-вторых, по причине многолетней занятости своей кандидатской диссертацией, — кажется, о тайне черного колера у Дега. Мы пили пиво, говорили глупости и тарачились в окошко купе, за которым то и дело открывались интересные виды и вообще было на что глазеть.

Только мы миновали родные просторы, кротко убеленные, точно бедная невеста, и въехали в Белоруссию, как сразу прорезались дороги, в Польше объявились первые опрятные домики и сошел снег, в Германии за окошком потянулись трогательные картинки из детских книжек, вроде бы из сказок братьев Гримм, с непременно цветниками под окнами, белеными коттеджами с черными внешними балками и словно бы отощавшими кирхами, которые седлал железный, обязательный петушок; после Саарбрюккена, когда пересекли границу Франции, вдруг зацвели вишни и встали на пути благообразные латинские города. Вот ведь как подло, и даже не подло, а замысловато устроен русский человек: стоило мне углядеть какой-нибудь непорядок в иноземном хозяйстве, например, ободранную стену или кучу старого мусора в полосе отчуждения, как на сердце делалось чуть ли не весело, во всяком случае, хорошо.

В Париже мы с *молодой* поселились на левом берегу Сены, в 6-м аррондисмане¹, на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Вожирар. Дело было ранним утром; едва устроившись в гостинице, мы отправились пить *safe-creme*² с горячими круассанами, устроившись за столиком на вольном воздухе, как это у французов водится искони. Утро было чудесное, свежее и приветливое, каким бывает хорошо выспавшийся человек, хотя и чересчур шумное из-за проклятых мотоциклистов, которых в Париже оказалось как собак нерезаных, каштаны цвели, возле металлической будки уличного туалета сиренью торговали, даром что в Москве стояли вполне зимние холода (я даже поежился, вспомнив про это дело), народ щеголял в легких курточках, пахло в воздухе не по-нашему — выпечкой, духами и табаком. Я подозвал официанта, совсем молодого парня в несвежем белом фартуке чуть ли не до щиколоток и попросил его принести пепельницу, по-ихнему *sendrillon*.

— Трусите на пол, — ответил официант.

Совет показался странным, но не запал в душу, поскольку настроение было,

¹ т.е. в округе.

² кофе со сливками.

что называется, приподнятым, даже приятно-нервным и мы с Верой только о том и думали, что вот все вокруг вроде бы и чужое, а вроде бы и свое.

Моя *молодая* наметила после завтрака посетить, во-первых, музей д'Орсе, во-вторых, Лувр, в-третьих, центр современного искусства Помпиду. Этого и следовало ожидать, имея в виду ее жадный профессиональный интерес, однако от высоких намерений не осталось и следа, как только моя Пальчикова прилипла к витрине первого попавшегося магазина, где была выставлена разная дамская чепуха.

— Вон та сумочка с золотым замочком, — сказала она задумчиво, — кажется, ничего... Только уж больно дорого стоит, нормальному человеку не потянуть.

— Не жмись, Вера, — сказал я. — Мы, конечно, не Рокфеллеры, чего уж там лицемерить, но на две жизни должно хватить.

Купили мы эту сумочку с золотым замочком, и дама на кассе сказала Вере:

— Merci, madame!

У благоверной даже дух перехватило от того, что она «мадам».

После мы купили еще лаковые туфли на низком каблуке, склянку духов под нелепым названием «Я обожаю», серебряный браслет в виде змейки с рубиновыми глазками, наконец, бутылку хорошего французского коньяку и поместили ее в бумажный пакет, как это делают во всем цивилизованном мире, когда приходится походя выпивать. Словом, до музея д'Орсе, не говоря уже о Лувре и центре Помпиду, мы так и не добрались, а за покупками нечувствительно оказались на правом берегу Сены (которая глядела куда чище Москвы-реки), примостились в кафе неподалеку от магазина «Самаритэн» и принялись пировать. Сидя на вольном воздухе, в ловких плетеных креслах, за мраморным столиком на двоих, мы то отхлебнем по очереди из бумажного пакета, то закажем два *ballons du rouge*¹, то целую бутылку *vin du patron*² под печеные устрицы и бургундскую ветчину. Мимо нас шествовали не сказать чтобы многочисленные прохожие, поскольку для японцев (я всех международных бродяг с фотоаппаратами называю «японцами») был еще не сезон. Прохожие не обращали никакого внимания на выпивающих и закусывающих и были как-то странно сосредоточены, точно они на ходу гордились тем, что они французы, однако же от прочих европейцев, за исключением русских, чересчур беспардонных и добродушных, их было не отличить. Вообще, сдается, среди парижан не так уж много истинных парижан; настоящая парижанка, на мой салтык, это пожилая дама в перчатках и в шляпке, которую она носит как английская королева, а настоящий парижанин — это мужчина средних лет, отлично подстриженный, одетый небрежно и вместе с тем донельзя элегантно, шлендра, миляга и балагур. Словом, даже в столице мира не все понимают, что красиво одетый человек есть украшение вселенной, а не барахольщик и не пижон.

Расплатившись с официантом, надувшим нас на целых десять евро, мы возвратились на левый берег по мосту Наполена III, взяли было направо, в сторону замка Консьержери, но тут наткнулись на амбарчики знаменитых парижских букинистов из кровельного железа, которые обосновались вдоль набережной Августинцев, и были неприятно удивлены. Дело в том, что букинисты торговали чем угодно: сувенирами, открытками, разным старьем вроде сломанных часов времен Второй империи, картинками, перочинными ножиками,

¹ бокал красного вина.

² вино от хозяина.

виниловыми пластинками, — но только не книгами, которые, видимо, и тут были то же самое не в чести.

Таким манером, то есть глаза по сторонам, мы с моей Пальчиковой добрались до набережной Малакке, свернули на улицу Бонапарта, довольно долго брели мимо бесчисленных лавочек, где можно было купить все что угодно, от развесных самоцветов до африканских щитов из воловьей кожи, вышли на бульвар Сен-Жермен, непривычно, лихорадочно оживленный, и вскоре оказались на площади Сен-Мишель.

Это была удивительная площадь — небольшая, со всех сторон окруженная чудесными парижскими домами пепельно-палевого цвета, и какая-то уютная, какими у нас бывают кухни и шалаши. Посредине ее бил фонтан, который стерегли два чудовища с глупыми мордами, сразу несколько кафе раскинули свои тенты цвета свернувшейся крови, стаяй стояли велосипеды, прижавшись один к другому, там и сям валяла дурака парижская молодежь. Мы с Верой в который раз уселись в плетеные кресла за мраморным столиком на двоих и заказали *deux petit blanc*¹ благообразному официанту, одновременно и учтивому и высокомерному, как маркиз.

Вера сказала:

— Нужно сходить для приличия в Дом инвалидов и Пантеон.

Я сказал:

— В Дом инвалидов я во всяком случае не пойду. Я там обязательно плюну на могилу Наполеона и мне французы впаяют срок.

Денек выдался солнечный, теплый, но ветреный, и парижский мистраль (или как его там) гонял вдоль бордюрного камня пластиковые стаканчики и обрывки газет, платаны деликатно шелестели своими кронами, бродили у самых ног совершенно московские сизари.

Я сказал:

— А у нас метель.

— Что? — точно очнулась Вера.

— Я говорю, у нас, поди, метель метет, девушки кутаются в шубки, без стакана из дома не выходи. Все-таки мудрый народ французы! Какой приятный выбрали себе климат: теплынь, воздух благоухает, на Монмартре виноград растет, из которого по осени делают «божол». А наших обалдуев занесло в невылазные снега — ну, куда ни кинь, во всем у нас недоразумение и беда!

Народу в кафе набилось такое множество, что было странно: это в будни-то, в середине дня такая масса трудоспособного населения прохлаждается за бокалом вина и омлетом с ветчиной вместо того, чтобы добывать хлеб в поте лица своего — это ли не торжество гедонизма над прозой производительного труда... И вообще, работают ли парижане? и если работают, то когда?

Публика за столиками действительно имела самый беззаботный вид и наводила на то соображение, что, предположительно, вся жизнь в столице мира — это одно сплошное воскресенье или один бесконечный обеденный перерыв. Однако эта беспечность отнюдь не вызывала раздражения, и даже напротив — обаятельная атмосфера такой городской жизни невольно пленяла постороннего человека, особенно если тот был выходцем из страны, где все мрачно, сиво, простудно и восемь месяцев в году лежат невылазные снега.

¹ два бокала белого вина.

Тут у меня кончились сигареты, и мы с Верой заглянули в табачную лавочку, притулившуюся здесь же, на площади Сен-Мишель. Пачка сигарет стоила шесть евро двадцать центов. Вера сердито посмотрела на ценники, пошевелила губами и изрекла:

— Ну нет! Чтобы отдать за эту отраву двести тридцать рублей с копейками — только через мой труп!

Оказывается, все то время, что мы шатались по Парижу, моя благоверная увлеченно переводила в уме потраченные нами евро в российские рубли, и когда дело касалось какой-нибудь сумочки с золотым замочком, ее приятно ужасал полученный результат. Я от нее такой бабской мелочности не ожидал, и у меня в душе словно солнце зашло за тучу — так я огорчился, хотя виду не показал. Ее внезапно обнаружившаяся скаредность была тем более неосновательна, что на поверку жизнь в Париже стоила заметно дешевле, чем в Первопрестольной, и, например, приличный пиджак можно было купить в «Галерее Лафайетт» по цене билета в Большой театр.

И вдруг на меня, словно из засады, напала мысль, первая с того дня что я встретил Веру и влюбился в нее, как начинающий идиот. «Эге! — подумал я. — Дело плохо, если я принимаюсь за старое, и, видно, одиночество, сопровождающее особу думающую и в своем роде анахорета, не вытравить ни путешествием в Париж, ни влюбленностью, ни женитьбой на молодой». Мысль была такая: русский народ прежде всего уникален тем, что он не знает преемственности поколений, которая обеспечивает связь времен; оттого человек допетровской эпохи не имеет ничего общего с человеком эпохи Просвещения, а романтик XIX столетия прямой антипод динамитчику из эсеров, а наши отцы, страдавшие комплексом строителя «светлого будущего», и наши дети, помешанные на мотоциклах и едва умеющие читать, так же далеки друг от друга, как бродяга и финансист; мы не исповедуем из рода в род незыблемые истины, дающие опору всем зрелым нациям, не увлечены приращением красоты, гарантирующим поступательное движение, мы веками топчемся на месте, как пьяный мужик, который не знает, куда идти. И опять мне сделалось одиноко и остро захотелось с кем-нибудь поговорить по душам, что называется, о «Шиллере, о славе, о любви».

— Есть у меня в Париже один приятель, — сказал я Вере, — хорошо бы его найти.

— Что за приятель? — спросила моя благоверная и сделала внимательные глаза.

— Микробиолог один. Он здесь работает в Пастеровском институте, как наш Илья Мечников, и где-то в Латинском квартале снимает себе жилье.

— Мечников это кто?

Я внимательно посмотрел на Веру, нахмурился, но смолчал.

Хотя было еще не поздно, мы направились обратно в гостиницу и купили по пути упаковочку анчоусов и полдюжины бельгийского пива, расположившись немного передохнуть. Внизу, у портье, я навел кое-какие справки и позвонил своему давнему приятелю, микробиологу, который заделался парижанином лет десять тому назад. Я полагал тронуть его телефонным звонком как бы с родины, словно бы из другого измерения, рассчитывал на разные веселые отечественные восклицания вроде «ба, кого я слышу!» или «сколько лет, сколько зим!», но давешний приятель заговорил со мной сухо, незаинтересованно, как автоответ-

чик, точно он был на меня сердит. «Как странно...» — подумал я, а, впрочем, после мне пришло в голову, что так он оберегает свое одиночество, и если бы мне сейчас позвонили из Улан-Удэ с изъявлениями дружеских чувств, я бы, наверное, тоже разговаривал отчужденно, во всяком случае, без души.

Сославшись на то, что обзавестись сигаретами мне все же необходимо, я оставил Веру лакомиться анчоусами, а сам вышел на улицу и уклончивым маршрутом тронулся в сторону Сены, присоединившись к потоку вечерних, томных, неулыбчивых парижан.

Понемногу смеркалось. Я добрел до бульвара Сен-Жермен, свернул налево, потом направо и улицей Бак вышел к набережной Вольтера, уже озаренной тем нервно-веселым светом, который источают только парижские фонари. Дорогой я сделал следующее наблюдение: если встать на противоположной стороне улицы против какого-нибудь кафе, то на тебя нахлынет такое чувство, будто бы ты сидишь в четвертом ряду партера, а перед тобой в сиянии рампы разворачивается занимательное действие, сладко чарующее, манящее, сбивающее с толку и непохожее ни на что. (Прав был государь Павел Петрович, когда называл этот город «любимым местопребыванием дьявола», против которого не устоит ни один порядочный человек.)

Наконец, я спустился по каменной лестнице к самой Сене, чуть плескавшейся о гранит, пристроился на какой-то скамеечке и заснул. Сказать по правде, дорогой я напузырился белым вином и не было сил тащиться назад в гостиницу, да и Веру видеть не хотелось, и благоуханная парижская ночь меня словно околдовала, — короче говоря, я расслабился и заснул.

Проснулся я поздним утром, когда солнце уже высоко стояло правее безголовых башен собора Нотр-Дам на острове Сите, но почему-то накрапывало, хотя по блекло-голубому небу плыли одни редкие, исключительно ватные облака. Я поежился, высморкался на брусчатку по-московски и поплелся в сторону Нового моста, чувствуя неприятное томление в голове.

Под мостом, среди множества порожних бутылок из-под вина, на сплюснутых картонных ящиках, укрытый грязным ватным одеялом, лежал бородатый мужик с собачкой, который безучастно на меня посмотрел и зевнул простоудшно, как бегемот. Подле него виднелась жестянка с мелочью и кусок ватмана, на котором было написано «J'ai faim»¹, но, судя по всему, лукавил француз, то есть, судя по его немытому, обпитутому, однако вполне упитанному лицу. Чем-то глубоко свойским пахнуло от этого мужика.

— Salut!² — сказал я и присел поблизости прямо на мостовой.

— Salut, — говорит француз.

— Как зовут вашу собаку?

— Собаку зовут Бертъе.

— Почему Бертъе?

— Потому что она страшно хитрая и большой стратег насчет стащить порцию колбасы. У Наполеона был начальником штаба Луи Александр Бертъе.

— Знаю я этого гада. Он чуть не взорвал наш Кремль и вывез из Москвы шесть возов столового серебра.

— Так вы русский?

¹ Я голоден.

² Привет.

— Есть такой недостаток.

— Не люблю русских.

— Позвольте спросить, за что?

— За то, что в 1918 году они зажилили платежи по бумагам военного займа и, таким образом, надули французов на миллиард.

— Между тем в 1814 году, после взятия Парижа, мы простили французам громадную контрибуцию — это, конечно, от чувств, по дурости, в силу славянской избыточной доброты. Так что получается баш на баш.

Словом, мы с этим clochard¹’ом разговорились и договорились вскорости до того, что отправились в одно заветное местечко, где можно было купить грошовое (2 евро бутылка) розовое вино. До самого обеда мы пьянствовали под Новым мостом и вели довольно содержательный разговор. В частности, мы толковали о том, что в зрелые годы, когда трудно бывает справляться с жизнью помимо алкоголя, когда давно вымерло все свое, привычное и родное и ты, в сущности, выпал из жизни и оказался на положении чужеродного вещества, — единственный выход из положения есть самоизоляция от действительности, которая худо-бедно обеспечивает выживание и покой. Мне кстати припомнился мой микробиолог из Пастеровского института, который заблаговременно утек от сбесившихся ларов и пенатов и погрузил себя в чужую, а потому непроницаемую среду. Я даже подумал, что эмигрировав из Москвы под Новый мост в Париже, ты впадаешь в рафинированную разновидность одиночества, но потом патриотическое чувство мне подсказало: наверное, такого же эффекта можно достичь и дома, поместившись, например, под Крымским мостом, да вот только милиция станет гонять, а то забьет насмерть малахольная молодежь.

Отчетливо помню, что мы с французом и его собачкой очутились на Champs Elysees², в которых только то и было неземное, что этот проспект напоминал иррационально длинное футбольное поле, расположились прямо посредине тротуара на грязном ватном одеяле и дурными голосами затащили «Привет 17-му полку». Подавали нам скупое, но какая-то сумма все-таки набралась.

Кончилось тем, что я улетел в Москву. Размышляя о том, что это скорее всего мировой рекорд — наш с Верой брак, который де-факто длился семьдесят два часа, я исподтишка пробрался в гостиницу, оставил у портье деньги и записку для Веры и улетел. Рейс был французский и полета я не боялся, однако на всякий случай сочинил себе эпитафию: «Он посетил сей мир и остался им недоволен».

Уже в «Шереметьеве» я долго пил пиво у буфетной стойки, почему-то чувствовал себя парижанином и поглядывал на соседей несколько свысока.

«Что это за магия, что за напасть такая, Париж?! — тем временем думал я. — Почему он не отпускает? почему занозой засел в душе?..» Ответа не было, как нет его и теперь.

¹ бездомный босяк.

² Райские кущи.

Золотой напёрсток

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.»

А. Пушкин

Возникает законный вопрос в связи с этим прогнозом великого человека: долго, это как? сто лет? двести? или же навсегда? Ответ на сей неприятный вопрос отчасти таится в истории одной вещицы, о которой пойдет рассказ.

Как говорят, молодым делом мученик Александр Сергеевич Пушкин отрастил себе предлинный ноготь на мизинце левой руки и носил на нем золотой наперсток своей матушки Надежды Осиповны, чтобы этот самый *экслюзивный* ноготь как-нибудь нечаянно не сломать.

После кончины поэта в январе 1837 года наперсток похитил его дядька Никита Козлов на память о своем выдающемся питомце, и тут начинается цепь драматических приключений, которые претерпела реликвия в течение 174 лет, включая эпоху неокapитализма, когда российский народ нежданно-негаданно, и даже как будто вдруг, превратился в сброд.

Никита Тимофеевич Козлов, будучи глубоко пожилым человеком, умер своей смертью в начале 50-х годов позапрошлого века, и золотым наперстком завладел его племянник, Аким Козлов, который служил коридорным в Большой Московской гостинице и подавал постояльцам умыться и самовар. Уже после высочайшего манифеста от 19 февраля, упразднявшего в нашей стране рабство почти одновременно с пуском лондонского метро, Аким-простота продал драгоценный наперсток одному из постояльцев, штык-юнкеру Ивану Лопухину. Коридорный знать не знал о принадлежности вещицы и спустил ее, что называется, за гроши.

В свою очередь, штык-юнкер подарил наперсток любовнице, модистке из французского заведения на Кузнецком Мосту, с которой он очень долго был в связи и даже имел от нее детей. В те времена золото было не в цене, много накопилось в России этого металла, и модистка из французского заведения использовала наперсток по прямому назначению, в качестве рабочего инструмента, как, скажем, ножницы и мелок.

В конце концов наперсток украл у модистки посыльный Васька, мальчишка четырнадцати лет, дурында и весельчак. Месяца не прошло, как он проиграл свою добычу в карты, и реликвия перешла к младшему приказчику из обувного магазина в Китай-городе по фамилии Воронцов. И этот, разумеется, ничего не знал об истории наперстка, и даже само имя — Пушкин ему как-то не попадалось, и при первых же денежных затруднениях он заложил вещицу за три рубля. Выкупить залог Воронцов оказался не в состоянии, так как угодил в арестантские роты за поножовщину в извозчицком круглосуточном кабаке.

Содержатель ломбарда, некто Гуськов, как нарочно, был заядлым пушкинистом и, завладев реликвией, принялся ее истово изучать. Поскольку в лупу можно было отчетливо видеть мелко чеканенные инициалы «NG», ломбардье законно предположил, что ему в руки попал именно тот наперсток, который носил на своем мизинце наш великий поэт, когда еще был жив-здоров, молод и не женат. Однако скарედность взяла верх: Гуськов прикинул, что случайно попавший к нему залог может принести хорошие деньги, и целая баталия развернулась в его душе между алчностью дельца, едва ли не самым сильным инстинк-

том, свойственном человеку, и трепетным отношением к поэзии Пушкина, которым тогда еще страдали многие на Руси. Эта внутренняя борьба была тем более острой, что Гуськов отлично соображал: значение пушкинского наследия, в чем бы оно ни заключалось, можно сказать, беспрецедентно в сознании каждого культурного русака, хотя и Баратынский был не промах, и Лермонтов — прямой гений, и основание русской прозы положил не Пушкин, сочинявший по преимуществу анекдотцы, а Гоголь, таинственный меланхолик и чародей.

И то правда: прозаические сочинения Александра Сергеевича сравнительно легковесны и не идут дальше забавно-драматических случаев из быта якобы «жесточкого века», да и по департаменту поэзии он многовато безделья понаписал. Однако же его проза донельзя изящна и потому самоценна — это во-первых, а во-вторых, Пушкин время от времени совершал такие прорывы в вечность, что в прозе, что в стихах, такие он брал высоты духа, мысли, чувства, каких не достиг ни один русский идеалист. Наконец, Пушкин из первых в нашей культуре составил идеал русского человека, соединившего в себе удаль и неза Nosчивость, утонченный ум и широкую образованность, склонность к самоистреблению и жизнелюбие, аристократизм натуры и простоту. Недаром он был настолько резко национален, что за Вержболовым, то есть к западу от границ Российской империи его вовсе не знали и знать не хотели, поскольку феноменом то был не европейского порядка, чересчур запутанным для понимания западного человека, вот как нам непонятен, например, древлеизраильский этикет. На что был не дурак француз Дантес-Геккерен, а и тот признавался, что живучи в России, он понятия не имел о значении Пушкина как поэта, ну, дескать, камерюнкер, ну, женат на первой красавице Петербурга, ну, пописывает стишки... Это признание было сделано вскоре после того, как Адам Мицкевич послал Дантесу картель, желая отомстить ему за убийство великого человека, на что француз отозвался следующим образом: «Этак я перестреляю всю европейскую литературу!» — впрочем, эта история как-то рассосалась сама собой.

С другой стороны, перед ломбардые Гуськовым открывалась действительная возможность нажать на пушкинском наперстке немалые барыши. Поскольку мы народ... ну, неровный, что ли, он поломался-поломался перед собой и, наконец, скарденность взяла верх: золотой наперсток был продан купцу 1-й гильдии Пересветову, из духовных, который поставлял в казну грубое сукно и солдатские сапоги. Гуськов в подробностях описал покупателю достоинства своего товара и его историческое значение, восходившее, может быть, к самому Абраму Ганнибалу, «арапу Петра Великого», но купец был человеком настолько непросвещенным, что ничего не понял, однако же поместил покупку в специальном ящичке, под стеклом.

В этом положении реликвия пережила Пересветова-старшего, несчастную японскую войну, революцию 1905 года, Льва Николаевича Толстого, а после Октябрьского переворота наперсток реквизируют архаровцы из чека. Как-то ввалилась в особнячок на Старой Басманной компания головорезов в кожаных куртках, с красными гвоздиками за ушами, с револьверами наголо и забрали все, что им попало под руку, включая наперсток под стеклом, золоченые рамы от семейных портретов, напольные часы, резные стулья работы Гамбса, коллекцию французских вин, стол-сороконожку, венецианское зеркало, кое-что из постельного белья и четыре шубы на медведях. Пересветов-младший несколько дней ошалело бродил по опустевшим комнатам, которые сразу сделались холодными, нежилыми, как зал ожидания на Ярославском вокзале, а потом в знак

протеста отправился пешим ходом в Америку через Преображенскую заставу, мрачный, расхристаный и босой. Прохожие хотя и ужасались зрелищу, но понимающе поглядывали ему вслед.

Сейчас уже не сказать, какие еще пертурбации претерпел наперсток, но в 1919 году реликвия всплыла в Шепетовке, на *черном* рынке, где она довольно долго ходила в качестве валюты, и то ее покупали за шмат копченого сала, то ею расплачивались за пшено. Опять же неизвестно, каким образом золотой наперсток оказался на пальце у Нестора Махно, лидера анархистов и по недоразумению кавалера ордена Боевого Красного Знамени, и страшно слепил своим сиянием осужденных, которых лично расстреливал кровожадный идеалист. Некоторое время спустя реликвия была зарыта вместе с прочими награбленными сокровищами где-то в Богучанском лесу, когда войско Махно уже было разгромлено частями Красной армии, и анархисты разбежались в ужасе кто куда.

В 1927 году, в то время как Нестор Иванович, поселившийся в Париже, работал в столярных мастерских не за страх, а за совесть, партия лесорубов случайно обнаружила его клад в Богучанском лесу, и реликвия ожила. Она счастливо избежала переплавки в качестве золотого лома и не пошла в уплату за немецкие паровозы по той простой причине, что наперсток присвоил один из героев гражданской войны, тогда блюститель золотого запаса советской республики, и подарил на день рождения Александре Михайловне Коллонтай. Вместе с этой выдающейся женщиной золотой наперсток побывал в Норвегии, Мексике, Швеции, где она долго была послом, а по возвращении на родину было затерялся среди драгоценностей, безделушек и орденов. После смерти старушки, когда ее родня разбирала кто что из оставшегося имущества, наперсток стянул один шалопай, приходившийся покойной седьмой водой на киселе, который потом, одним из первых в стране, *подсел* на синтетический героин.

И пошла гулять реликвия по белу свету, переходя по преимуществу от жулика к дураку. Последовательно ею владели: один валютчик, ворочавший миллионами, заместитель председателя Моссовета, директор Петровского пассажа, рубщик мяса с Центрального рынка, благонамеренный секретарь Союза писателей, наживший состояние на романах, которые невозможно было читать, и, наконец, золотым наперстком завладел крупный предприниматель и бандит, укравший сеть элеваторов под зерно.

Его сынок Джонни как-то для шику надел наперсток на мизинец левой руки и так явился в школу, надеясь поразить одноклассников, которые, впрочем, тоже были не беднота. Русскую литературу в этой школе вел доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии, который было с горя ударился в мелкую коммерцию, но вскоре разорился, одумался и пошел в школу преподавать.

Так вот этот учитель и говорит сыну предпринимателя и бандита:

— А вы не подумали прежде, что этот наперсток, может быть, принадлежал самому Александру Сергеевичу Пушкину, что он представляет собой драгоценность и раритет?

Джонни хмурился и молчал.

— Да вы хоть знаете, кто такой Пушкин?!

Джонни по-прежнему хмурился и молчал.

Последние люди

«М е д в е д е н к о. Отчего вы всегда ходите в черном?»

М а ш а. Это траур по моей жизни...»

А. Чехов. «Чайка»

У одного хорошего мужика украли кубометр обрезной доски...

Нет, не так; правильной будет начать с того, что вот жил-был на свете такой человек — книжный график Лев Иванович Делоне. Он тоже постоянно носил все черное, но отнюдь не в знак неизбывной скорби по своему дальнему-предальнему предку, коменданту Бастилии, которому 14 июля 1789 года отрезали голову парижские босыки; он и сам хорошенько не знал, почему он так привержен этому цвету, но даже постельное белье у него было черное, и мебель, самосильно покрашенная под мореный дуб, и кошка Изольда, и пес Трезор. Главное дело, что Лев Иванович был человек вовсе не мрачного направления, не какой-нибудь отпетый меланхолик, огорченный конечностью личного бытия, а как раз наоборот: на товарищеских вечеринках он веселился, что называется, до упаду, хотя выпивал на общегражданских основаниях, мастерски рассказывал анекдоты и любил хорошо поесть.

С сентября по май Лев Иванович жил в родном мегаполисе, работал на кое-какие издательства вроде «Детской литературы» и преподавал в художественном училище при Третьяковской галерее, а затем отбывал на дачу, в Серпуховский район Московской области, в садовое товарищество под названием «Благодать».

Последнее время в городе ему что-то не жилось, и на то были свои причины: во-первых, Льва Ивановича неприятно беспокоили лица прохожих, вроде бы и благообразные, но какие-то неживые, точно нарисованные, во-вторых, его уж очень донимал телевизор, от которого было не оторвать сыновей и тещу, в-третьих, его соседке по лестничной площадке, учительнице химии, дважды поджигали входную дверь.

Другое дело дача в Серпуховском районе, именно десять соток под огородом, цветником, разной ягодой и домиком в два окна. Разумеется, *удобства* были на задах, а неудобств насчитывалось великое множество, например, воду из колодца приходилось таскать ведрами, кроты и землеройки регулярно вспахивали газон, беспризорные собаки стаями бродили окрест, деревенские мальчишки по ночам воровали яблоки, наконец, в поселке не было электричества, поскольку садовое товарищество «Благодать» основал один знаменитый академик, почему-то не признававший сей стихии, и вечерами народ сидел кто при керосиновых лампах, кто при свечах. А впрочем, в этой архаике была своя прелесть, и когда смеркалось, в окнах там и сям затепливались смутные огоньки, в которых, кажется, было больше жизни, чем в электричестве, дачники устраивались у своих допотопных осветительных приборов, читали, слушали патефон, либо просто сумерничали, толкуя о том о сем.

Словом, жизнь в дачном поселке совершалась правильная, наполненная здоровыми трудами, а, кроме того, украшенная приятным времяпрепровождением, и ничто не омрачало мирного течения бытия. И вот у Льва Ивановича Делоне кто-то украл кубометр обрезной доски.

Примерно за месяц до происшествия он приобрел эти самые доски на лесопилке в Серпухове, нацелясь пристроить к своему домику открытую веранду сила-

ми поселкового сторожа дяди Васи, и вот стройматериал исчез, как корова его языком слизала, и нужно было предпринимать какие-то решительные шаги. Именно требовалось во что бы то ни стало найти пропажу, поскольку свободных денег в семье больше не было, а дядя Вася давно собирался уйти в запой.

Первым делом Лев Иванович хорошенько обследовал место преступления, однако ничего особенно важного не нашел; рядом с *удобствами*, где прежде лежали доски, трава пожухла и побледнела, явились дождевые черви в малом количестве, валялся пожелтевший окурок сигареты «Прима», а также обломок силикатного кирпича. Эти жалкие улики тем не менее навели его на то заключение, что злодей курил сигареты «Прима» и где-то поблизости строил фундамент из силикатного кирпича.

Затем Лев Иванович, следуя правилам жанра, принялся искать свидетелей преступления, но, видимо, покража была совершена накануне глубокой ночью, когда весь поселок спит беспробудным сном. Соседи слева и справа ничего не смогли ему сообщить по существу дела, супруга была в отъезде, старший сын Виктор где-то шлялся той ночью, младший сын Николай всегда почивал в бирушах по причине отроческой неврастении, а теща Марфа Петровна так уморилась за день на огороде, что под вечер с ней случился обморок, перешедший к ночи в кошмарный сон. Зато у калитки, под кустом бузины, Лев Иванович обнаружил дополнительную улику: это была игральная карта — семерка пик. Следовательно, преступление совершил записной картежник, который курил сигареты «Прима» и где-то поблизости строил фундамент из силикатного кирпича.

На третьи сутки, вечерним делом, когда Марфа Петровна уже спала у себя на чердаке, по обыкновению мучимая кошмарами, Льва Ивановича навестили его дачные приятели, с которыми он водил компанию много лет.

Это были: сын академика Воскресенского, противника электричества, сам человек широких симпатий, затем участковый уполномоченный Климушкин, старший лейтенант милиции лет пятидесяти с небольшим, наконец, Клара Борисовна Соловейчик, свежая вдова, квалифицированный переводчик и, ради хлеба насущного, преподаватель английского языка. Эта компания частенько собиралась в доме у Делоне; они пили чай с ромом, разговаривали, подтрунивая друг над другом, иногда что-то читали вслух и, в общем, ублажали себя общением по душам. При этих посиделках всегда присутствовали кошка Изольда и пес Трезор, которые смирно возлежали под плетеными стульями с такими внимательными мордами, будто их сильно заинтриговал человеческий разговор; вообще это были забавные животные, подозрительно похожие на людей.

В тот вечер хозяйственный Лев Иванович аккуратно разлил душистый чай по гарднеровским чашкам, поставил на стол полбутылки рома и заявил:

— Наш замечательный народ-богоносец давно пора как-нибудь приструнить. А то они свободно воруют доски, купленные на честно заработанные гроши.

В о с к р е с е н с к и й. Слышали мы, Лев Иванович, про твое горе, ну что сказать: соболезуем, как говорится, от всей души.

К л и м у ш к и н. Это, конечно, да.

С о л о в е й ч и к. Что да-то, господи боже мой?! Тут не соболезновать надо, а принимать меры, то есть искать преступника, чтобы вернуть по назначению награбленное добро! Кажется, тебе, Климушкин, и карты в руки, ты у нас правоохранительные органы, или кто?

К л и м у ш к и н. Легко сказать — ищи вора... У нас в округе шесть садовых товариществ, три деревни, делянка от леспромхоза, где орудуют таджики, поселок городского типа Союзрентген. И везде воруют, причем с таким разма-

хом, что в другой раз заподозришь: воруют все! Прямо какая-то аморальная стала у нас страна...

Делоне. Положим, в России воровали всегда, и при Александре Миротворце, и при Петре Великом, и еще, наверное, при Всеволоде Большое Гнездо. Правда, во времена нашей молодости крали не так развязно, как нынче, потому что кремлевские троглодиты держали народ в узде.

Воскресенский. И удивительное дело: власть была древнеегипетская, со строительством пирамид и смертной казнью за непоказанный анекдот, а люди были куда чувствительней и добрей.

Соловейчик. А какая была культура! — я имею в виду и бытовую, и художественную, и вообще. Помню, на концерт в Большой зал консерватории было не протолкнуться, если ты не прочитал «Замок» Кафки, то ты не человек, по Москве можно было ночь напролет шататься — и ничего!

Климушкин. А в Харькине позавчера, причем среди бела дня, двое неопознанных негодяев до полусмерти избили древнюю бабку и отобрали у нее сто пятьдесят рублей.

Делоне. И откуда они берутся, такие выродки — не пойму! Что там Кафка! Я тут разговорился со своими оболтусами на предмет отношения к прекрасному полу — они давеча соседскую девочку вываляли в грязи. «Даже, — говорю, — такой вахлак, как Есенин, перед женским полом благоговел». Они молчат. Спрашиваю: «Вы хоть Есенина-то читали?» Они молчат. Наконец, старший, Виктор, отвечает: «Что-то я про него слышал!»

Соловейчик. Господи! А ведь, кажется, еще вчера страна прямо-таки жила поэзией, на вечеринках стихи друг другу читали, последний алкаш знал Есенина наизусть!

Воскресенский. Конечно, Есенин был мало защищен культурой, но в данном конкретном случае дар божий перевесил биологический материал. Все-таки «Пугачев», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья» указывают на такие высоты духа, что автору простительна каждодневная пьянка и всякое озорство.

Климушкин. Я вот тоже удивляюсь: тут чекисты свирепствуют, особенно после покушения на Урицкого, а поэтов развелось, как собак нерезаных, и все сочиняли на разные голоса!

Делоне. Это вполне в нашей национальной традиции: чем страшнее жизнь, тем прекрасней песни.

Соловейчик. Где они теперь, ваши прекрасные песни, господи боже мой?! А впрочем, жизнь сейчас не страшная, она просто противная, как принопамятный рыбий жир.

Ну, и так далее в том же духе, примерно до той поры, пока в ближней деревне не заорут первые петухи.

Даром что участковый уполномоченный Климушкин намекал на трудности розыскного дела в условиях Серпуховского района Московской области, наутро они с Делоне сели в милицейский «уазик» и пустились искать хотя бы следы обрезной доски. Как и следовало ожидать, ничего путного обнаружить не удалось: в «Благодати» никто не строился и, стало быть, тут некому было польститься на добро художника Делоне; в соседнем товариществе «Вера, Надежда, Любовь» какой-то делец возводил себе небольшой замок, однако из таких раритетных материалов, что обрезная доска была ему попросту ни к чему; в соседних деревнях плотников не осталось, полеводы — и те давно разбежались по городам; и только в поселке Союзрентген шабашники строили новую столовую и как

раз из силикатного кирпича. Климушкин с Делоне походили вокруг, но ничего интересного не нашли, кроме сломанной бетономешалки, штабеля соснового бруса и чугунного чана, в котором мокло с полдюжины топоров. Подошел, видимо, бригадир шабашников и сказал:

— Это хорошо, товарищ участковый, что вы к нам заехали, как говорится, на огонек. У нас как раз тачку украли с неделю тому назад. Заявление писать?

Климушкин ответил ему:

— Пиши...

На обратном пути заехали в Харькино, к дяде Васе; старик сидел на лавочке возле своей калитки и смолил сигарету, немного подмокшую от слюны.

— Вы, Василий Иванович, какой табак курите? — спросил его Делоне.

Д я д я В а с я. У нас все деревенские курят «Приму», потому что дешевле отравы нет.

Д е л о н е. Ага!..

Д я д я В а с я. Теперь какие у нас доходы? — просто-напросто никаких! Который аграрий дожил до пенсии, тот, конечно, кум королю, а прочее население сидит на хлебе и молоке. Это, конечно, у кого зажилась коза. А чтобы внучку шоколадку купить, или там новые валенки приобрести — это нонсенс и несбыточная мечта.

К л и м у ш к и н. Наверное, существует какой-то отхожий промысел, чтобы человеку окончательно не сгинуть с лица земли?

Д я д я В а с я. То есть?..

К л и м у ш к и н. Я говорю, наверное, приворовывает народ помаленьку ради поддержания жизненных сил?

Д я д я В а с я. А кому воровать-то? Кроме стариков и детей, кажется, некому воровать. Хотя леший их знает, может быть, которые и шалят. Вон недавно Петька Анисимов нажрался «казенной» водки и с поленом в руках гонял по деревне родную мать. Спрашивается: откуда у него деньги на водку, если эта семейка годами сидит на хлебе и молоке?!

Д е л о н е. Совсем допился русский народ, как я погляжу...

Д я д я В а с я. Допился, не допился, а чтобы родную мать поленом гонять, такого сраму не было никогда. Уж на что я в молодости был оторва, а и то себе этих экспромтов не позволял.

Пока ехали в милицейском «уазике» от Харькина до «Благодати», и участковый уполномоченный, и художник молча глазели по сторонам; дорога была прямая, пустынная, наезженная, и даже будучи за рулем, можно было свободно озираться по сторонам. Климушкин думал о том, что все-таки одним «висяком» будет меньше, если не оформлять документально факт покражи у Делоне. Лев Иванович, в свою очередь, размышлял: видимо, кто-то из деревенских, куривших «Приму», предположительно, рекомый Петька Анисимов, похитил у шабашников тачку, в которой завалялся обломок силикатного кирпича, а потом, используя ее как транспортное средство, увел кубометр обрезной доски.

Эта версия казалась ему логичной, вот только оставалось непонятным, при чем тут семерка пик...

Климушкин вдруг сказал, тяжело вздохнув:

— Прямо вся душа у меня изболелась, глядя на эту жизнь.

Д е л о н е. В чем острота текущего исторического момента: люди перестали понимать, что плохо, что хорошо.

В тот же вечер, когда уже вернулась из мегаполиса Виктория, супруга Льва Ивановича, доставившая две бутылки рома, провизии на неделю и альбом ил-

люстраций Пастернака-старшего, заказанный накануне ее супругом, в их доме опять собралась давешняя компания, которая шумела чуть ли не до утра. Благо Виктория тоже была молодец насчет выпить и посидеть.

Стоял неподзний июльский вечер, солнце еще висело довольно высоко над горизонтом, но пернатые уже смолкли, приторно пахло жасмином, приятели сидели на вольном воздухе за столом, поставленным под старой рябиной, пили чай с ромом и оборонялись от комаров. Домашние питомцы пристроились неподалеку: Трезор лежал, высунув предлинный язык, Изольда — выпучив бесмысленные глаза.

— Таким образом, — говорил Лев Иванович, — несмотря на все наши с Климушкиным потуги, напасть на след злодеев не удалось. Хотя кое-какие наметки есть...

В и к т о р и я. Например?

К л и м у ш к и н. В Харькине обнаружился юный обормот, который внезапно разбогател. Не исключено, что именно он украл ваши доски, сбыв их на сторону, а выручку пропил, как водится у людей.

В о с к р е с е н с к и й. Или как раз он ограбил многострадальную старушку в Харькине, а доски *уговорил* кто-то совсем другой.

Д е л о н е. И это в принципе может быть.

С о л о в е й ч и к. А чего у нас, скажите на милость, не может быть?! Все что угодно, вплоть до второго пришествия и 34-го декабря. Это в который раз доказали большевики: вдруг взяли и превысили скорость вращения Земли вокруг своей оси, введя «декретное время», то есть увеличив сутки на два часа... Этот Сталин был просто какой-то Иисус Навин!

В и к т о р и я. Кто такой, я что-то не поняла?

С о л о в е й ч и к. Это который солнце остановил.

К л и м у ш к и н. По-настоящему говоря, Сталин был антихрист и людоед!

В о с к р е с е н с к и й. Тем не менее он уважал литературу. Я бы даже сказал больше: боялся и уважал. Недаром Мандельштам утверждал: поэт должен гордиться тем, что он родился в стране, где за стихи сажают, мучают и казнят.

В и к т о р и я. Чтобы я вполне понимала Мандельштама — этого не скажу. Я только чувствую, что тут что-то возвышенное, поднебесное — собственно, вот и всё.

Д е л о н е. Этого достаточно, это как раз то, что нужно, — я имею чувство благоговения перед жизнью, перед всем сущим на земле, которое питает в человеке художественная литература, не говоря уже про музыку и театр. Вообще же поэт не часто выражается напрямки, он главным образом бубнит, воркует, отчасти бредит, потому что он не в силах внятно передать то, что ему, в свою очередь, транслируют Небеса.

С о л о в е й ч и к. А ведь я еще застала время, когда детишки махали вслед проходящим поездам, а теперь они швыряют в окна электричек пустые бутылки и кирпичи!

К л и м у ш к и н. Это ты, Клара, к чему?

В о с к р е с е н с к и й. Надо полагать, к тому, что человек перестает быть человеком, коль скоро в нем одерживает верх грубый, примитивный материализм. Ведь так называемый homo sapiens — это парение, это какой-то акафист высшим силам, это ненормально, с точки зрения таракана, потому что ничего подобного больше не водится на земле! А если бога нет, как ты его ни понимай, если на первый план выходит вещь...

Д е л о н е. Это, конечно, ужасно, когда на первый план выходит вещь, но, говоря по совести, досок жаль.

С о л о в е й ч и к. Да что тебе дались эти доски, господи, боже мой!

Д е л о н е. И то правда!

В о с к р е с е н с к и й. ...если на первый план выходит вещь, книги все врут и мораль есть не что иное, как утешение для слабосильных, то до конца света недалеко. Вот за что мой отец электричество не любил? За то, что оно предвосхищает царство благополучного дурака.

В и к т о р и я. Это даже по домашним животным видно, что дело идет к нулю. Обратите внимание на моих дармоедов: Изольда щерится на прохожих, только что не лает, Трезор охотится на бабочек и мышей!..

К л и м у ш к и н. А что вы хотите, если кошки с собаками столько веков обитают среди людей?! Давно пора этим тварям осатанеть!

Д е л о н е. Видимо, действительно надорвался, отчаялся человек. Все-таки пять тысяч лет парения — это, что называется, перебор.

К л и м у ш к и н. Перебор — это когда двое урок в «очко» играют и вистующий прикупит лишнего короля.

В и к т о р и я. Кстати, о картах. Представь себе, Лева: я сегодня нашла у наших мальчишек колоду карт! Отродясь у нас в доме не играли в карты, и откуда только они взялись?!

С о л о в е й ч и к. Да бог с ними, с этими картами, давайте лучше я вам прочитаю что-нибудь из Пастернака, например, «Рождественскую звезду»?

В эту минуту вдалеке прокричали уже и вторые петухи, и приятели за поздним часом стали собираться восвояси, говоря друг другу прощальные, благодарственные, в общем, обыденные слова. Небо на востоке заметно побледнело и, наверное, оттого звезды как-то измельчали, потускнели и глядели сверху тупо-равнодушно, словно им тоже хотелось спать. Тишина стояла такая, что было даже удивительно, откуда берется такая несусветная тишина.

Наутро, когда теща Марфа Петровна уже давно копалась в огороде, Виктория предъявила мужу те самые игральные карты, о которых давеча зашла речь. Они были замусоленные, ветхие, пахнувшие соляжкой, верно, выдавшие виды, в колоде недоставало семерки пик.

Лев Иванович кликнул сыновей и через минуту они явились пред грозные родительские очи оба, Виктор и Николай. Это были обыкновенные мальчишки, с пустыми лицами, надутыми губами, взъерошенные, одетые кое-как.

— Откуда в доме карты? — справился Делоне.

В и к т о р. Это не наша колода, это парни деревенские принесли.

Д е л о н е. На какой предмет?

Н и к о л а й. Мы с ними в карты играли на интерес.

Вообще сыновья Льва Ивановича были прямые, даже отчаянно прямые ребята, недаром их дальний-предальний предок был комендантом Бастилии и бесстрашно вступил в сражение с армией босяков.

Слово за слово, выяснилось, что в прошлый понедельник младшие Делоне резались в карты с деревенскими парнями в надежде сделать существенное прибавление к капиталу, который они собирали на горный велосипед. Однако в результате мальчишки не только ничего не выиграли, а, напротив, проиграли все свои накопления, японский магнитофон, материны сережки с бирюзой и кубометр обрезной доски.

Тут только до Льва Ивановича дошло, по какой причине он пристрастился к цвету тоски и скорби, и отчего ему чужды прочие, особенно жизнерадостные цвета.

Роман Сенчин

В чужую землю

Из книги «Зона затопления»

В первых числах сентября умерла Наталья Сергеевна Привалихина.

Лето проковырялась на огороде, до заморозков успела всё, кроме капусты, убрать, просушить, засахарить и засолить, спустить в подполье, а потом упала на крыльце. Долго лежала, собираясь с силами и соображая, куда ей — в избу или за ограду. Конечно, лучше в избу, лечь на койку... А если уже не поднимется? И будет лежать без воды, обмарается; а умрет, так и запахнет, весь дом пропитается мертвым. Люди-то неизвестно, когда хватятся... Рано или поздно, конечно, заметят, что что-то давно ее не видать, придут, а она уж... Носы позажимают.

И потому, как немного отлегло, Наталья Сергеевна встала на карачки и поползла по двору к калитке... Куры наблюдали за ней, а петух возмущенно вскрикнул и дернул шеей... Добравшись, цепляясь за жердину, скобу ручки, она поднялась, открыла калитку, высунулась на улицу.

Этот кусочек мира был ей знаком до незамечаемости. Каждый день больше полувека, как переехала сюда к мужу, она выходила через эту калитку со двора то за водой к колодцу, то в магазин, то выгоняла корову, то звала сначала детей, а потом внуков есть. И вроде не видела избы вдоль улицы, заборы, ворота, траву, но если менялась хоть какая-нибудь мелочь — отваливалась штакетина в палисаднике у Мерзляковых, или наличники у Гусиных покрывались свежей краской, или скашивалась крапива вдоль чьего-то забора, это сразу бросалось в глаза, и потом мысли долго возвращались к этой мелочи: «Надо своему сказать, чтоб подбил ограду, а то поотвалятся... крапиву срезать... надо краску достать да тоже покрасить — облупилась... Через неделю покрашу — сразу сейчас не надо, скажут: "Наташка очнулась, когда другие сделали..."»

И сейчас она стояла, покачиваясь, в проеме калитки, держась одной рукой за скобу, другой — за деревянный ящик для почты (сильно на него опираться боялась — рассыплется) и жадно смотрела на эти две видимые ей избы по правую сторону, на серые глухие заборы, на красные листья черемухи в палисадниках, на темно-зеленые, почти синие шапки сосен на пригорке, где было кладбище...

Роман Сенчин — родился в 1971 г. в городе Кызыле. Проза публиковалась в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Континент» и других изданиях. Автор книг «Афинские ночи», «Минус», «Ничего страшного», «Иджим», «Елтышевы», «Информация». Лауреат Премии правительства РФ. Живет в Москве. Последняя публикация в «ДН» — повесть «Что вы хотите?», № 3, 2013.

Конец улицы упирался в реку, на берегу были мостки. Их каждый май ломало, корёжило ледоходом, и мужики потом без ворчания, как нечто естественное, что не сделать невозможно, их восстанавливали... Женщины полоскали на мостках белье, брали воду для скотины и бани, а раньше — пока не появились насосы, которые по трубам и шлангам гнали ее почти по всем дворам деревни, — и для огорода... Мужики с мостков рыбачили; раньше хорошо рыба шла — ельцов и за рыбу не считали, а радовались ленкам, хариусу. Часто и таймень попадался.

Был случай давно-давно: старуха Гусина, покойница, а тогда молодая, жулькала постирушки, а сын годовалый на берегу играл. На траве. Берег покатый, вода мелкая, заводь — течения нет... Гусина полоскала-полоскала, глаза поднимает — ребенка нет. Бегала искала, все дно ощупала — не нашла... Мужики сбежались, до темноты чесали реку... Потом старики сказали: «Таймень утащил». И как-то все, и Гусина тоже, не то чтоб успокоились, а притихли — да, дескать, если таймень утащил, то ничего не поделаешь.

Лет пятьдесят назад это случилось, а словно — года три назад. И Наталья Сергеевна сейчас почувствовала себя той почти девчонкой, которая только-только оторвалась от родителей, познала мужчину, а теперь вот, видя горе соседки, поняла, что постоянно надо быть настороже, ребенок может исчезнуть и так — в двух шагах от матери, спокойно играющий на травке...

Потянулась кверху, чтоб увидеть реку, но не увидела. Удивилась: когда-то, стоило открыть калитку, и река поблескивала чешуей течения, слепила, а потом незаметно исчезла с глаз — перестала Наталья Сергеевна встречать ее взглядом. То ли бугор улицы перед спуском подрос, то ли она сама уменьшилась в росте, согнулась так, что хоть затянись — не вытянешься.

«Хоть бы прошел кто», — просила сейчас, чувствуя, что силы снова кончаются, ноги гнутся и скоро перестанут держать.

Не то чтобы у нее что-то болело, лопнуло, оборвалось внутри, как это, знала, слышала, бывает перед смертью у многих стариков. Не раз приходилось сидеть у коек с умирающими, и те обстоятельно, с досадой и увлечением делились последним опытом: «Шла по огороду, и гляжу — из морковки лебедина торчит. Вчера еще как не было, а тут прям будылье. Ну и наклонилась выдернуть. Да неловко, походя. И в глазах черная вода разлилась, в уши как затычки воткнули. И — всё. Не помню, как сюды принесли, уложили. Теперь уже все, уже не подняться. Не подняться... Черт пихнул эту травину увидеть». Или такое: «Не лежала ведь душа выходить, да делать-то нечего — надо лесины эти ошкурить было... Эх, дорого они мне стали. Вот и они лежат, и я...»

Нет, боли или обрыва она не чувствовала. То есть — побаливали, конечно, спина, колени, над висками покалывало, дышать было трудно, и при каждом вдохе в груди словно бы хрустело. Но это все привычное, все это болело и хрустело давно. А вот слабость...

Слабость была новая, необычная, полная какая-то слабость. Как вышло что-то изнутри важное, необходимое, то, что заставляло семьдесят с лишним лет шевелиться. День за днем, день за днем... И сейчас даже шагу не шагнешь, руку не приподнимешь. И, знала, никакой фельдшерицын укол уже не поможет, как раньше.

Стояла между двором и улицей, может, десять минут, а может, час, не знала. Не было больше у нее того органа чувств, которое меряет время. В голове

крутился плотной спиралью вихрь не мыслей, не воспоминаний, а каких-то обрывков, ошметков... Вот стало очень обидно, что капусту не успела убрать, засолить. Уже и терку достала, собиралась сегодня помыть, и кадка готова — осталось только ошпарить и спустить в подполье обратно... Два ведра мелкой морковки намыла, теперь издрябнет, пропадет... Пугала мысль, сообщат ли детям, внукам, брату, чтоб ехали хоронить. Адреса под клеенкой на кухонном столе — соседи должны догадаться, найти — у многих ведь под клеенками важные бумаги хранятся... И в телефоне есть их номера, телефон на буфете... Разберутся... Но как им, детям, внукам, ехать в такую даль?.. Брат рядом, в Кутае, а эти... Одна дочь в Новосибирске, другая — в Томске, сын так и вовсе в Перми живет... И ведь сын с младшей дочерью приезжали в июле, часть своих отпусков здесь прогостили. А теперь — опять...

Но самое тяжелое было то, что не знала Наталья Сергеевна, где она ляжет. Вон оно кладбище, за задами дворов напротив, на нем и муж, и вся его родня, а решат ли ее там же хоронить...

Услышала шаги, и тут же из-за забора вывернул мальчик. Наталья Сергеевна не узнала, кто это, чей, а он обернулся и сказал:

— Здравсте, баб Нат!

Она хотела сказать ему, чтоб позвал кого из взрослых, но вместо слов из горла выдавился слабый, почти неслышимый шип. Как из сдутой резиновой лодки остатки воздуха... Решила оторвать руку от почтового ящика, махнуть, подозвать к себе, и пока решалась, мальчик оказался далеко. Шел к реке.

Наталья Сергеевна смотрела ему вслед, велела взглядом оглянуться опять, велела услышать, что ей плохо, помощь нужна... Мальчик стал срезаться — исчезли ноги на спуске, поясница, и вот уже голова. Пуста улица, слепы окна избы Мерзляковых, зажмурилась закрытыми ставнями изба уехавших Гусиных... Колени Натальи Сергеевны подломились, как трухлявые жердины на сучках, и она повалилась на землю.

В деревне давно никто не умирал. Стариков увозили в город в больницу и они умирали там, молодежь, что раньше дралась, тонула, травилась спиртом или билась на мотоциклах, разъехалась.

Но в таком существовании без смертей, без похорон было что-то неправильное, и потому народ хоть и горевал по Наталье Сергеевне, но и оживился. Старухи спорили, кто обмоет и нарядит покойницу, старики чуть ли не всем колхозом сошлись делать гроб. Женщины обсуждали готовку поминок. А могилку отправились копать аж восемь мужиков... В общем, вся деревня засуетилась, заспешила, чтоб к приезду детей и внуков Натальи Сергеевны все было готово.

Утром мужики сошлись у привалихинских ворот, подточили лопаты, топоры, перекурили; со двора слышались женские голоса:

— Окна нельзя открывать!.. Травы надо подложить!

— Какую траву-то кладут?..

— Чабрец, помню... Помните, тетя Тоне чабрец клали.

— Не забыть кого-нибудь за пихтой послать! Пускай наломают...

Мужики слушали и грустно улыбались.

— Да, пихту надо, — согласился Леша Брюханов, сорокалетний, крепкий, работавший на дизельной электростанции.

— Пихту завтра уж, свеженькой, — сказал дядя Витя, школьный трудовик. — Ну чего, поднимаемся?

Покряхтывая, сопя, словно бы через силу, встали, отряхнулись и пошли наискосок через улицу. Остановились у колодца, набрали воды в пластиковые бутылки...

Между дворами Мерзляковых и Гусиных был проулок, ведущий к кладбищу... Покойников возили центральной дорогой, делая полукруг, обязательно приостанавливаясь у реки, будто давая покидающему мир возможность попрощаться, в будни же ходили на кладбище вот так, проулком.

Но редко теперь ходили — тропка почти исчезла, справа и слева сдавливала пространство подсушенная заморозком, но еще живая, злая крапива.

Идущий впереди Брюханов рукой в верхонке ломал лезущие в лицо стволы, остальные кто ногами, кто лопатами тоже расчищали путь — знали, уже сегодня потянутся на кладбище женщины, старухи. Попроведуют родню, расскажут, что скоро пожалует к ним тетка Наталья.

Кладбище на пологом, долгим увале. Песок, высокие сосны, а среди них — могилки... Хоронили без тесноты, внутри просторных оград, где лежат прадеды, деды, отцы... Очень старых памятников немного — до тридцатых годов кладбище было в другом месте, почти в центре деревни, рядом с церковью. Но потом похороны там запретили, а в пятьдесят каком-то году церковь сломали, захоронения частью перенесли сюда, частью просто уничтожили. Старое кладбище сровняли с землей, разбили скверик и поставили памятник павшим на войне...

За перенесенными под сосны могилками мало кто ухаживал — все-таки до десятого колена свою родовую помнят единицы. В основном памятники как свезли в кучу, так они и остались, поросшие мхом. Но несколько гранитных крестов со старого кладбища выделяются. Так тщательно они отшлифованы, что до сих пор спелят, как зеркало, никакой мох с лишайником на них не приживается... Говорят, делали их мастера в Енисейске, и за большие деньги местные, кто мог, конечно, покупали, трудно везли сюда. Обычно везли зимой, по льду, но самые нетерпеливые и летом — на лодках, вверх по течению.

До сих пор дожила то ли быль, то ли легенда, как богатый мужик Кибяков побожился поставить крест на могиле жены на год с ее смерти. Совсем недалеко уже от села, на пороге, лодка перевернулась, гранитный крест утонул. Долго люди пытались обвязать его веревками и вытянуть. Недели две бились, заболели от частого ныряния, а когда стало ясно, что останется крест на дне, Кибяков прыгнул в воду и не всплыл. Искать не стали — унесло течением к Енисею, или под корягу забило, на корм налимам...

Кладбище огорожено кое-как — по две-три жердины прибито к соснам. Главное, чтобы скотина не зашла, не истоптала холмики, не терлась боками о памятники. Раньше, случалось, после похорон приходилось караулить свежие могилки — лезли сюда медведи, видимо, учуяв тлен. Задом кладбище выходило к мокрому логу, богатому голубикой и смородиной, а за логом начиналась настоящая — темная, непролазная — тайга. Но в последние годы медведи и прочее зверье к деревне не приближалось — словно знало, что скоро ничего здесь не будет. Лишь стоячая кислая вода с червивой рыбешкой...

Отворив легкие, из арматурин сваренные ворота (ворота и два бетонных столба выглядели солидно, а дальше налево и направо — неошкуренные жерди-

ны меж стволов), мужики вошли на территорию кладбища и сразу притихли, мысленно здороваясь с покойниками.

Отовсюду на них смотрели пожилые, молодые, а то и детские лица. И у всех на этих овальных карточках взгляд был одинаковый, будто специально сфотографировались на могильный памятник. Даже Витька Логинов, улыбающийся во все зубы, смотрел, казалось, печально, прощально и как-то жутко, как звал... Брюханов наткнулся на его глаза, скорей отвернулся. Они были друзьями, школу вместе закончили, потом техникум, вместе начинали работать, и Витьку убило током в двадцать четыре года. При Брюханове убило... Прошло с тех пор почти двадцать лет, Брюханов ощущает себя еще молодым, а Витьки так давно нет, столько не узнал, не увидел, столько не порадовался. И жениться даже не успел: «Погулять надо, опыта набраться».

— Ну, чего, где привалихинская оградка, знает кто? — грубовато, излишне громко спросил Брюханов.

— Да где-то тут, — ответил плотник Афанасий Иванович наоборот тихо, уважительно к мертвым, — недалеко от ворот. Они ж тут старожилы.

Остальные в этом «тут» услышали не деревню, а кладбище... Да, Привалихиных лежит много. Еще со старого кладбища перенесли сюда дядю мужа Натальи Сергеевны — красного партизана. Вокруг его большого высокого обелиска стали селить на вечный покой жену, братьев, сыновей, дочерей, племянников, а завтра вот ляжет и Наталья Сергеевна. Наверное, последней в этой оградке.

Мужики разбрелись было искать, но дядя Витя тут же позвал:

— Наше-ол.

Собрались снова. Постояли молча, привыкая к месту. Да и некуда было торопиться, не принято торопиться на кладбище.

Афанасий Иванович закурил; за ним закурили остальные. Посматривали на памятники, кресты, сохранившиеся тумбочки с жестяными звездочками, старались не встречаться взглядом с покойниками. Оглядывались.

Сосны были высокие, нечастые, но кронами почти смыкались друг с другом, и у земли всегда держалась тень, прохлада. Нет, бывала и удушливая жара, но для этого нужно, чтоб пекло и пекло много дней подряд. Сейчас же — хорошо. Свежо. Вкусно пахло вызревшими, умирающими травами, гулял слабый ветерок. Возле некоторых могил росли рябины, елочки, никак не могущие окрепнуть без солнца, пойти в рост. Пестрели искусственные цветы, покрашенные лавочки, столы... Как огромная общая комната, и вершины сосен, как свод.

Тихо в этой комнате, лишь бьет где-то дерево дятел, но этот острый звук только подчеркивает великую, торжественную тишину.

Леша Брюханов отчего-то занервничал, бросил на землю окурочек, придавил ботинком. Сказал:

— Что, давайте. Надо все-таки...

— Да надо, конечно, — вроде с облегчением, что не он заговорил первым, поддержал дядя Витя; пошел туда, где лежал муж Натальи Сергеевны.

Теперь постояли перед его могилкой, глядя на фотографию, читая короткую надпись: «Привалихин Денис Степанович 9.07.1935 — 11.08.2003». Надпись была выбита на мраморной плашке, привинченной к металлическому, выкрашенному серебрянкой памятнику...

Семь лет назад умер, а казалось, что совсем недавно, только что видели его, насупленного, шагающего к своему двору от реки, насупленного независи-

мо был ли мешок полон рыбы или пуст. Или обкашивающего зады огорода, или курящего вечерами на лавочке у палисадника... Да, живо вспоминается, а вот — семь лет.

Но если начать перебирать в голове события, то столько всего за это время произошло... Да не «столько», по сути, а одно: когда умирал Привалихин, деревня была крепкой, цветущей, забывшей об угрозе гибели, которая накатила в восьмидесятые, а потом отступила; теперь же обречена она, остались ей месяцы, в лучшем случае — год...

И Денис Степанович смотрел на мужиков своим обычным, слегка сердитым взглядом, а им казалось, что взгляд спрашивает: «Ну и чего? Чего делать-то будете? Оставьте нас одних?» Да-а... Через десяток лет пообвалятся без ухода памятники, оградки, а потом зарастет все кустами, и сгинет кладбище с лица земли, как и не было.

Некоторых покойников забрали родные еще лет двадцать пять назад, когда в первый раз наверху было просчитано, что будущее водохранилище затопит то место, где стоит деревня. Самые активные стали тогда переезжать и прихватывали кости родителей, бабушек-дедушек... Если побродить, наткнешься на присыпанные сухими иголками углубления — это следы разрытых могил.

Но потом власть в Москве поменялась, строящуюся электростанцию забросили. О переселении разговоры заглохли, некоторые даже вернулись на родину из шумного мира. А вот теперь — бац! — и опять: строительство решено завершить, в зону затопления попадают такие-то «сельские поселения». В том числе и их Пылёво.

— Где копать будем? — спросил самый молодой из пришедших, Коля Крикау, в позапрошлом году вернувшийся из армии и теперь все думающий, что ему делать, ехать ли куда-нибудь и если ехать, куда. — Справа, слева?

— Жену, вроде, тут ложат, — отозвался дядя Витя, — справа от мужа.

Брюханов отошел, посмотрел, как у других. Вернулся, кивнул:

— Да, в основном так.

— Но тут сосна рядом, корни будут...

— Что ж делать, топоры есть, а главный корень, может, обойдем... Ладно, давайте приниматься.

Брюханов и знающий толк в копке могил — много раз в свое время участвовал — Глухих, из-за бесшабашности до полтинника оставшийся Женькой, стали резать лопатами прямоугольники дерна. Коля Крикау поддевал прямоугольники совковой лопатой, относил в сторону. Остальные присели кто на кукурки, кто на зад — ждали своей очереди поработать.

В избе Натальи Сергеевны тихое, шепотливое оживление.

Покойница лежала на столе уже обмытая и одетая в то, что сама приготовила себе: соседки без труда нашли сверток с нужным в верхнем ящике комода.

Ждали гроб, и место для него освободили посреди большой комнаты, поставили табуретки. Зеркала и телевизор прикрыли черными платками. На комод лежали принесенные свечки — тонкие, купленные на развалинах церкви в Кутае.

Прошлым летом там, в бывшем райцентре, состоялось грустное торжество — «Прощание с селом» называлось. Вроде бы только с Кутаем прощались, но съехались туда многие и из окрестных деревушек, прибыли и те, кто жил в

нынешнем райцентре — в городе Колпинске, в Енисейске, Лесосибирске, Красноярске, а то и еще дальше.

Были выступления народных коллективов, речи руководства района, края, известных уроженцев. В сумерках полетели в небо ракеты салюта...

На Прощание приехал и священник, провел поминальную службу на руинах Спасской церкви. Верующие да и неверующие подходили под благословение, покупали свечи и прилепляли на орнамент уцелевших церковных стен. Многие унесли, увезли свечи с собой.

И вот теперь четыре из них, сбереженные, лежали на комодке и ждали, когда их зажгут у гроба покойного человека.

Как и надеялась Наталья Сергеевна, молодежь разобралась в ее телефоне — нашла номера детей. Сходили к конторе, где лучше ловилось, позвонили. Сообщили и брату в Кутай...

Ближе к вечеру — через сутки после смерти тетки Натальи — сделали гроб. Женщины обтянули его красной материей, которая хранилась в клубе еще с советского времени.

— Ну и запасы! — посмеивались старики, наблюдая, как доски прячутся под кумачом. — На флаги с лозунгами завели, а мы уж третий десяток домовины украшаем. Спаси-ибо советской власти, хоть что-то доброе оставила.

— Да много доброго! — заспорила одна из самых боевитых в деревне старушек, Зинаида, когда-то передовица и активистка. — До сих пор дорастаскать не могут. — Но опомнилась, что сейчас не до того, сунула пустую иголку внучке: — Нитку вставь поскорей, я застебаю. Пора уж Наташу уложить да посидеть...

— Лапшу-то кто делает? — спросила другая старуха, Федоровна, старшая из большого рода Малыхов, которых чуть не четверть деревни.

— Да Валентина с Галиной Логиновы взялись.

Федоровна нахмурилась, повспоминала и сказала с сомнением:

— Не знаю, чё они накают, никогда их лапши не ела...

— Вот что полотенец нет — это беда. На полотенцах гроб спускать надо.

— В магазине-то нету?

— Не-ету. Там всё резаные. Носовые платки, а не полотенца.

— Тогда хоть веревки нормальные подобрать. Не синтетику эту...

Почти не было в Пылеве изб — а их, жилых, оставалось около сотни, — где бы как-то не готовились к завтрашним похоронам, поминкам. У одних находилось в леднике мясо на котлеты, другие вызывались дать петушка (а из ранних выводков петушки как раз в тело вошли), третьи объявляли, что кисель сварят, четвертые — что блины напекут, пятые — кутью приготовят... Отец Коли Крикаю, пасечник, налил двухлитровую банку свежего меда...

Люди были довольны собой, соучастием в общем деле. А главное, что там, наверху, Наталью Сергеевну отпускают без мытарств... Ее осмотрела фельдшерница и записала: «Тело хронически больной, без признаков насильственной смерти, вскрытие не требуется», — свидетельство о смерти, пообещала, будет в ближайшее время... Своего участкового в деревне не было — то есть он был на несколько деревень, жил в Кутае. И когда ему дозвонились, вопросов у лейтенанта не возникло: «Понятно — старый человек, что ж делать... Соболезную». И всё.

Председатель сельсовета Алексей Михайлович Ткачук в тот момент лежал в больнице в городе, а кроме него никто не решился поднимать вопрос о месте

похорон. Да и он бы, будь он здесь, может, тоже не стал бы убеждать, что лучше везти в город, не стал бы ломать этот объединивший людей порыв...

Принесли наконец-то гроб. Крышку прислонили к забору на то место, где была щель для почты, и красное пятно на сером фоне било по глазам проходивших мимо, заставляло вспомнить о покойнице, о том, что вот как оно — жил-жил человек, и нету. И со всеми так будет. Но, даст бог, так же проводят.

Общими усилиями переложили Наталью Сергеевну, поправили подушечку, подоткнули покрывало. Тихо порадовались, что покойница твердая, прохладная — по приметам, это хорошо, довольна, значит.

Потом сняли с кровати перину, на которой умерла хозяйка, отнесли в стайку, повесили на курицы шестки. Те, старые, пересохшие, скрипнули.

— Не сломаются?

— Вы-ыдержат. Но сдвинуть надо на край, там надежней.

— И курицам спать место останется.

— Пускай петушок отпоет...

Уже когда вышли на воздух, баба Зина сказала:

— Надо прикрыть перину-то. Загадят курицы.

Нашли в летней кухне аккуратно свернутый кусок целлофана, растянули поверх перины.

— Ну вот, так лучше. Перина еще добрая.

— Может, кто из их заберет...

— Им много чего бы забрать надо. Как только вывозить будут...

Говорили, не называя, о детях Натальи Сергеевны.

— Уж бы сами успели. Не представляю, как доберутся. Вертолет-то им под такое дело не выделят, а паром только в четверг...

— Не-е! Эт не старое время, когда вертолет по любой мелочи.

— На моторках, скорее всего, — предположил старик Мерзляков. — В городе целый бизнес ведь с ими...

— В городе — х-ха! От города до реки там километров пятнадцать!

— Ну, на берегу... Я не был, не знаю.

Отец Коли Крикау, весь день бродивший от двора, где делали гроб, до привалихинского двора, но ни в чем не принимавший участия — как-то потерянно наблюдал за работой, суетой, — весь день промолчавший, в конце концов не выдержал:

— Еще одна изба — на погибель.

Сказал это так, что все замерли, сжались. И несколько секунд стояли так, словно оглушенные, а потом стали торопливо расходиться. Одни направились к крыльцу, другие — к калитке.

Лишь старик Мерзляков запоздало, правда, попытался заспорить с горькими словами:

— Сын-то у Натальи пенсионер уже — он же на Севере был. Может, решит вернуться.

— Куда вернуться! — взвился Крикау, найдя повод выплеснуть то, что носил в себе от одного двора к другому. — Куда?! Тут нас самих скоро!.. В баржу — и подальше.

— Ну, давно переселением пугают, и тридцать лет назад пугали. А вот живем...

— Как на углях живем! Все поразрушили — ни лесхоза с тех пор, ни какой работы.

— И слава богу. И так все изгадили. Я вот своим хозяйством живу, и ничего мне не надо. Леспромхо-оз!..

— Да не будет у тебя скоро хозяйства! Сунут в четыре стены...

Двое стариков, но еще крепких, напоминающих шишковатые лиственничные столбы, стояли в узком проходе меж стайками и дровяником, посылали друг в друга дрожащими голосами эти пустые, по сути, слова, и с каждым словом все больше озлобляясь. Готовы были жахнуть один другого по уху, видя сейчас один в другом врага. Так же пойманные звери, обежав несколько раз ловушку и не найдя выхода, начинают грызть друг друга.

Но разум остановил, и, сердито сопя, сильнее прежнего переваливаясь с боку на бок, старики пошли в разные стороны. Крикау на улицу, а Мерзляков — в огород. Сначала пошел туда, чтоб просто не сталкиваться больше с Крикау, но когда увидел землю, появилась цель: приедут наследники и нужно осторожно как-нибудь узнать о планах; если не захотят здесь селиться, то предложить засадить огород его, Мерзлякова, картошкой. Ведь если бросить землю, то года через два-три затянет ее пыреем, пашня начнет возвращаться к целине...

Картошка уже много лет была основным заработком местных. Перед шугой проходила по реке баржа и скупала картошку. Сейчас у Мерзлякова в амбаре, прикрытые от холода и тепла брезентом, мешковиной, стояли наготове тридцать пять кулей. Если цены остались прошлогодние, то это пятьдесят тысяч рублей примерно... Раньше и морковку, свеклу, капусту скупали, но потом что-то бросили... Еще бруснику можно продать, орехи, конечно. Грибы. Голубику... Шкурки... Край у них тут добрый, голодать не даст. Пошевелись немного — и найдется тебе пропитание, возможность получить пачечку денег.

Дерн был тонкий, сантиметров пять-семь, а ниже шел почти голимый песок. Лишь вокруг корней росли полоски чернозема, будто сами корни протолкнули питательные комочки туда, в светло-серую подземную пустыню.

Слой песка опускался метра на полтора, потом начиналась влажная, жирная почва с редкими камешками.

— Отсюда сосны и питаются, — сказал дядя Витя, заметив, что Коля Крикау, впервые копавший могилу, с интересом мнет пальцами содержимое своей совковой лопаты.

— Как масло... И камушки, как речные... Это что, раньше здесь, что ли, дно было?

— Получается, так.

— Хе-хе, — усмехнулся Брюханов, — раньше везде было дно. «Анимал планета» у вас ловится?

— Ну да... Но одно дело — телевизор, а другое — вот так... Гора, река — вон она... а — дно.

— Следы великого потопа, — философски заметил Геннадий, тракторист, ленивый, точнее, не любящий работать руками. И сейчас он пришел лишь с топориком для обрубания корней, но так и не пустил его в ход, пропустив рубить встретившийся корень другого.

Упоминание о потопе было к месту, и все уважительно закивали. Примолкли, видимо, стараясь представить время, когда вся земля, или, может, большая

ее часть, была под водой... Но Геннадий сам разрушил эту уважительную к своему замечанию тишину следующими словами:

— А что сосны отсюда пищу берут, это вряд ли.

— Почему?

— Да у них корни слабые. Вон по земле стелются, как мизгиры лапы.

— Это другие корни, — сказал дядя Витя, — для опоры. А воду, питание другие качают.

— Какие?

Дядя Витя вздохнул, готовясь к объяснению.

— Видал вывороченные сосны?

— Да откуда ему? — хохотнул Женька Глухих. — Ему трос к трактору подцепят, он дернул и попер!

— Ну видал, видал, — морщась, перебил Геннадий. — И что?

— Там есть внизу, под стволом, как хвост, но короткий. Такой — треугольником. Навроде заостренного кола получается.

— Ну.

— А от него тонкие корешки навроде жил. И вот они глубоко уходят. Поэтому сосны любят на песке расти — тепло, а корни из глубины...

— Хорош лекцию читать. Руки подайте, — позвал из ямы Дмитрий Мерзляков, младший сын старика Мерзлякова, но сам уже без пяти минут дед — дочка в том году окончила девять классов и уехала в Красноярск, поступила в колледж, а этим летом, на каникулах, заявила, что встретила парня, и он предложил ей выйти замуж.

— Чего, сменить? — взялся за лопату Брюханов.

— Меняй. Холодно там, аж сквозь свитер пробило.

Мужики засмеялись:

— Мерзляк и есть мерзляк...

Дядя Витя глянул в могилу:

— Да уж достаточно. Под два метра... Дно подровнять и — нормально. А у нас еще есть чем заняться. — И он достал из застиранной холщовой сумки, с какими обычно ходят на рыбалку, бутылку водки.

— Эх, дядь Вить, ты у нас!.. — восторженно вскрикнул Глухих, но не смог найти слова, кто у них дядь Вить, и только щелкнул пальцами.

— Да не он один. — Мерзляков вытянул откуда-то из-под свитера плоскую фляжку. — Кедровка!

Геннадий вздохнул:

— Ну вы, мужики, дебилом себя чувствовать заставляете. Сами принесли, а мы, как халявщики какие... Не додумались.

— Ничего, этого хватит. Мы ж не напиваться. Помянем...

Помогли выбраться Леше Брюханову, очистили инструмент от налипшей земли, нашли ровный пяточок неподалеку от ямы. Уселись неровным кружком.

У дяди Вити в сумке оказались три стальные стопочки, несколько мелких, сморщенных огурчиков, полбулки хлеба, порезанное брусочками сало... Все были благодарны ему и Мерзлякову, что раньше времени не открылись со своей выпивкой. А вот сейчас, после завершения дела, с легкого устатку проглотить по сто граммов, закусить, поговорить...

— С чего начнем? — спросил Женька Глухих, потирая руки.

— С чистой лучше. Кедровочку — на десерт.

— Разлива-ай!

С разливанием возникли небольшие сложности. Точнее, произошла почти непереносимая, ритуальная дискуссия:

— Да поставь, не держи на весу.

— Как я ее поставлю? Повалится.

— Поставь и держи. Нельзя на весу наливать.

— Афанасий Иванович, ты ж не старый еще, а приметы какие-то...

— К водке уважительно надо — это не водичка проточная. Она и наказывать может.

— Эт точно, — вздохнул дядя Витя, — эт точно. Стольких она сюда уложила... Только, слышите, вот выпьем, и не шарахаться потом по деревне, чтоб догнаться. Добро? Завтра уж как следует вечером, а сегодня — не надо.

В ответ замычали обидчиво — дескать, ясно, мы же не алкашня какая, чего наставлять... Глухих так и сказал, добавив насмешливо:

— Педагог, понятно — даже в этом надо учить.

— Женьк, был бы я педагогом настоящим, я б такой тебе подзатыльник отвесил. Месяц язык в брюхе искал бы.

— Да ты мне и отвешивал.

— Ну дак, в циркулярку пальцы сувать!

— Кстати, дядь Вить, а как со школой? — спросил Брюханов. — Настька моя говорит, что и по географии с химией учителей нет в этом году. Вообще, говорит, со дня на день закроют. В библиотеке половина книг упакована — не выдают.

— Ну, не со дня на день. До последнего будем учить. А учителя — побежали.

— Да-а... — Брюханов поднял стопку. — Что, помянем Наталью Сергевну. Хорошая была, не вредная...

— Может, и вовремя она отправилась, — заметил Мерзляков.

Афанасий Иванович сдвинул светлые, изъеденные потом брови:

— В смысле?

— Здесь лежать будет, на родине...

— Она с Кутая — столичная, — уточнил самый старый из мужиков, молчаливый и вечно насупленный, но работающий, хозяйственный Игнатий Андреевич Улаев, которого за глаза называли Молоточек: все что-то перестраивал в ограде, стучал и стучал молотком, таскал из магазина гвозди рюкзаками.

— Да какая разница... Одна земля. А вот нас куда поразмечает...

И всем как-то стало неловко, неудобно. Смотрели не друг на друга — кто на могилки, кто на ярко-рыжие стволы сосен, кто вниз, на хвою, по которой ползали вялые, сонные мураши... Слова Мерзлякова сорвали с душ коросточку защиты от страха услышать однажды приказ: «Собираем необходимое! Через неделю будет транспорт. Кто не подчинится — погонят силой».

Никто из сидевших здесь сейчас не слышал еще таких приказов, но отцы, деды, прадеды большинства — слышали. Одни при Столыпине, другие при Сталине. И были уверены, что он рано или поздно прозвучит и для них.

Да уже почти прозвучал тридцать лет назад. Но в последний момент голос приказывающего осекся. И родилось еще два поколения жителей их деревни: поколение Коли Крикау и поколение тех, кто сейчас учится в школе без половины учителей, видит коробки и ящики с собранным, готовым к перевозу школьным добром... Все ждали приказ переезжать, и если не собирались, то прики-

дывали, что брать, что бросить. Каждый день этим мучились, но молча, не обсуждая. Выходили утром на двор, оглядывались, и начинало крутить: что брать? как выбрать? Тут под навесом решишь навести порядок, и голова кругом пойдет — столько всего вроде и нужного, но сейчас лишнего, мешающего. И выбросить жалко, и тонешь в этом обилии, в том, что накоплено отцами, дедами, сложено в чуланах, в сараях, на вышках... Плевали, старались не думать. Но если кто-нибудь брякал о переезде, то страх тут же всплывал, разрастался, опутывал...

Первые трое выпили. Экономно, стесняясь показаться жадными, закусили. Потом выпили и закусили еще трое. Потом — двое.

Молчали, слушая, как упав в живот, водка начинает разбегаться по телу горячими искорками. Задышалось легче, кровь посвежела... Вот искорки добрались до головы, вспыхнули, осветив что-то важное там, в мозгу, и погасли. И длившееся несколько мгновений не опьянение даже, а это странное состояние острого ощущения жизни, своего организма исчезло. Кровь вновь потекла медленно и натужно, грудь опять залила никотинная мокрота, что-то важное в мозгу спряталось в сумрак, и захотелось повторить — пустить в себя еще стопочку.

Но никто не потянулся к бутылке — знали, что не время сейчас, если дать себе волю — «между первой и второй...», — разгонишься, и остановиться потом не сможешь долго, надоешь и окружающим, прося, требуя водки, и себе... Закурили, ждали, кто первым заговорит. Быть первым не хотелось, но и молчать становилось тяжело.

— А вот есть у природы какой-то закон, — произнес Женька Глухих. — Я заметил...

— Ну, я тоже заметил, — с усмешкой перебил Брюханов. — За летом — осень, за осенью — зима.

— Да погоди, я не о том! Я вот заметил, что человека сама природа к смерти готовит...

Афанасий Иванович, еще не отошедший от рассуждений, что Наталья ушла вовремя, снова нахмурился:

— В каком смысле — готовит?

— Ну вот помните... Вот ты, Афонь, дядь Вить, Игнат, помните, какой тетя Ната была высокой, мясистой. Да ведь?

— Ну. И чего?

— И как похудела, уменьшилась вся. Вроде и не болела, а так... И вряд ли голодом себя морила... А это природа ее готовила, чтоб в гроб легко легла.

Одни кряхтнули недоверчиво, другие усмехнулись. Лишь дядя Витя покивал:

— Ну да, ну да...

— И многие старики вот так — тают, высыхают...

— Жалко, что не в своей кровати померла, — вздохнул Молоточек, ломая на короткие палочки сухой сучок.

— Да нет, умерла-то на койке. Даже в себя пришла, говорят, что-то сказать пыталась.

— А у меня в избе до сих пор смертная лавка стоит, — сказал Афанасий Иванович. — Дед на ней отошел... Однажды лег и: «Все, не встану уже». Бабка, мать стали его стыдить, грехом пугать, а он: «Не балаболите, дайте спокойно с

жизней попрощаться». И ночью — все... А бабка в свою смерть не верила, в район велела везти себя, в больницу, а через неделю обратно привезли, чтоб рядом с мужем...

— Но ведь не все же умирают такими, как Женька сказал... ну, подготовленными, — вспомнил тракторист Геннадий. — Вон... извини, Денис, — обернулся к Мерзлякову, — дядя твой, Михал Петрович, до семидесяти с чем-то дожил, а такой горой оставался. Чуть спины не поломали, когда тягали гроб. С «Запорожец» был...

— Быва-ат, — вздохнул Женька. — Он богатырем жил, богатырем и помер. Помню, сидит уже никакой у ворот, трухлявый весь, а все равно видно, что сила... Да, бывает... А уж тех, кто раньше времени умер, или убили, я не считаю.

— Да это понятно, — отозвался дядя Витя. — По природе умереть, это тоже умудриться надо. Рак вот — одних за месяц сжирает, другие годами от боли кричат...

— Чего-то мы совсем в темень сошли, — поежился Афанасий Иванович. — Давайте-ка еще по глоточку.

— Какой повод, такие и разговоры, — устанавливая на пружинящей хвое стопки, отозвался Женька.

Дядя Витя стал осторожно разливать.

— Есть в твоих словах, — сказал, — доля правды. Но главное — человек с годами внутри меняется. Я вот раньше думал: последние старухи у нас перемрут, и больше не будет платков, валенок, сказок, Николай Угодник не будет никому больше являться. Слова забудутся наши, по-городскому заговорим... Мы тут в шестидесятые очень городские все были... А вот постарели, и всё повторяется. И одежда, как у дедов и бабок наших, и говорим, как они почти, и травками лечимся... Зинаида на бобах ворожит, а такая правильная была: «Никаких мракобесий!»

— Что, действительно? — не поверил Коля Крикау. — Я думал, она всегда такая...

Пожилые мужики захехекали, вспоминая бабу Зину, других старух, стариков, себя в прошлом.

— Ну, поехала первая партия, — кивнул дядя Витя на рюмки.

— А как в городе хоронят! — вспомнил Леша Брюханов, когда выпили за всех, кого с нами нет, закусили и помолчали. — Я вот года три назад в Красноярске тетку хоронить ездил, мамину сестру...

— Какую это? — наморщился, вспоминая, Молоточек. — Валентину, что ли?

— Но.

— Валентина, хе-хе... С детства как городская себя вела, все уехать мечтала. После семилетки уехала и исчезла.

— Исчезла! — возмутился Брюханов. — Она чуть ли не все столовые с кафе под контролем держала!

— По бандитской линии, что ль, пошла? — кхэкнул Женька Глухих.

— Слушай, ты знай, когда смеяться, а когда...

— Ну, тебе можно шутить...

— Ладно, хорош, — осадил обоих дядя Витя. — И чего с ей? Плохо проводили?

— Не то чтобы... — Брюханов задумался, подбирая слова поточнее. — И

людей много пришло, венков — гора. Под поминки целое кафе отдали... Но вот другое... Прощались в морге — там особая комнатка: серая, темная, гроб на постаменте таком... Всё быстро, всем неловко. Потом на «Пазике» довезли до кладбища... часа два ехали, плелись по пробкам... Доехали, вынесли, скорее застегнули крышку и — все... На поминках сидели выжатые все... Нехорошо, в общем, как-то...

— Город, он мертвых не любит, — вздохнул Афанасий Иванович.

Молоточек добавил:

— Да и живых не особо.

— Ну а как по-другому там? — спросил Коля. — Если люди живут на каком-нибудь двенадцатом этаже, как им дома прощаться?

— Лифты грузовые есть...

— Ну, в них не каждый гроб влезет.

— Хм, дядь Миш бы точно не влез...

— А пятиэтажка если — там никаких лифтов. И корячься по лестнице...

— Нет, там не принято в квартире прощаться. Ритуальные залы всякие...

— Крематорий есть еще...

И мужики снова надолго замолчали, стараясь представить эти ритуальные залы при моргах, крематорий, где, как показывают в фильмах, сжигают покойника на глазах у родных: закатывают гроб в печь, в огонь...

— Фуф, ладно, — тряхнул головой Афанасий Иванович. — Никто не знает, как его похоронят.

— Да почему? Теть Ната Наверняка знала, что здесь вот, рядом с мужем.

— Не надо за покойника говорить. Может, она в больницу хотела.

— Ну, в больницу, может, и хотела, но уж в крематорий-то точно не хотела.

— Про него и не знала.

— Да все знают.

— Интересно, а в Колпинске есть крематорий? — задумался Женька Глухих.

— Скоро узнаешь, — хмыкнул Брюханов.

Женька дернулся:

— Чё?! Ты че-то, Леха, хочешь, не пойму?

— Переедешь, говорю, и узнаешь.

— Нет, — готовность к драке у Женьки тут же пропала, — в Колпинске я жить не буду. Здесь где-нибудь...

— Где — здесь где-нибудь? Здесь все морем станет.

— Ну, скатаю избушку на горе... Или зимовье оборудую — их вокруг полно брошенных.

Дядя Витя прищурился:

— А от квартиры откажись? Туалет теплый, ванна. М-м?

Женька подумал, поморщился и отмахнулся:

— Ладно, как бог даст. Не искушай.

Солнце клонилось-клонилось к тайге, и, коснувшись верхушек лиственниц, сразу потускнело, стало быстро гаснуть. И через полчаса наступили сумерки, на полную мощь заработали дизели электростанции. Теперь часа три в деревне самое хорошее время. Уютно. Можно посмотреть телевизор, починить под лампочкой белье или зимнюю одежду, без которой скоро не выйдешь во двор...

Было время, электричество давали по всей деревне круглые сутки, даже

рассматривали возможность вести сюда линию от Усть-Илимской ГЭС. Но потом решили, что невыгодно, да и утвердили проект строительства еще одной ГЭС, ниже по течению реки, водохранилище которой затопит Пылёво. А позже начались перебои с топливом.

Особенно тяжело было в ноябре-декабре, когда дня почти нет, солнце проползает по кромке горизонта, и уже часа в четыре темнеет. И в избах темно. И тогда кажется, что совсем ты в яме какой-то, берлоге... В конце девяностых, правда, ситуация немного улучшилась, и хоть в любой момент телевизор не включишь, но уж вечер со светом гарантирован.

На улице в эти предночные часы тоже хорошо. Прохладно, но не холодно, и хочется посидеть на крыльце или на лавке, поговорить с кем-то дорогим, давно знакомым, подумать, повспоминать. Звуки и запахи становятся в сумерках острее, мелкая травка на дворе пахнет едковато, но и приятно, как скошенная. Слышен шум переката, из стаяк несет теплой скотиной; подоенные коровы вздыхают, свиньи трутся о стены, куры устраиваются на шестах, переругиваясь и тут же друг друга успокаивая тоненьким квохтаньем...

В избе Натальи Сергеевны людей много, но они стараются не шуметь, разговаривают полупшепотом, берут предметы осторожно, нетвердо, будто без спросу.

Большинство сидит или толчется на кухне, обговаривая завтрашние похороны, пытаясь решить недорешенное... Например, как доставить гроб на кладбище. Грузовики, какие остались, сломаны, на телеге не повезешь — стыдно. Не девятнадцатый век. Осталось или на руках, меняя друг друга (хоть и недалеко, но почти все время в горку), или на «Тойоте».

Владелец «Тойоты» — Дмитрий Аркадьевич Привалихин, двоюродный племянник мужа Натальи Сергеевны, отец удачливого предпринимателя Олега, еще в детстве прозванного Аллигатором не от имени только, а скорее за мертвую хватку в любом деле. В девяностые Олег уехал в Красноярск, разбогател на торговле и подарил отцу внедорожник. И вот Дмитрий Аркадьевич вызвался довезти родственницу до могилки.

— Заднюю дверь подниму, закреплю, вставим гроб в багажник, — говорил он.

— В багажник, — ухмыльнулся старик Мерзляков.

— Да это не как у «Жигуля» багажник! У меня — заднее сиденье сложить, и два метра длины!

— Тише ты! — испуганно осадил Привалихина самая молодая из женщин здесь, но тоже почти старушка Валентина Логинова.

— Большая машина, — подал голос Женька Глухих; после кладбища он пришел сюда, и ему налили уже две маленькие рюмочки. — Она и так на этот... на катафалк ходит.

— Зато пролезает туда, куда и вездеход не пролезет...

Вошла тяжело, при каждом шаге заваливаясь налево, словно левая часть у нее перевешивала, Ульяна Павловна Игнатова... По-настоящему она была не Ульяна, а Ула и не Павловна, а как-то по-другому. Фамилия же Игнатова у нее — по мужу.

Ульяна Павловна была из ссыльных... Их когда-то много жило и в деревне, и по району. Но одни уехали, когда можно стало, другие поумирали. Сейчас от них остались только фамилии, которые носили их дети и внуки — Крикау, Шнайде-

ры, Гафнеры, Эккерыты, Шроо, Кайхеры — да нерусские кресты на кладбищах... Ульяна Павловна была последней в Пылёве, кто помнил другую землю, далекую, с которой ее насильно увезли сюда.

Родилась она где-то в Литве или в Латвии — она не любила рассказывать о своей прошлой жизни. Но местные знали, что ее семью отправили в Сибирь после войны — то ли за связь с немцами, то ли с лесными братьями; поселили в Большакове, это село здесь же, на реке, километрах в семидесяти... Через несколько лет Ульяна вышла замуж за Игнатова, и он перевез ее в Пылево. С тех пор она тут и жила, родила пятерых детей.

В восьмидесятые приезжали к ней молодые люди с ее родины. Поговорили о чем-то тяжелом — кончился разговор криками Игнатова, который гнал людей за ворота: «Никуда она не подумает! Тут дом ее!»

Они уехали, Игнатов года через три умер, дети разъехались еще до этого, а Ульяна Павловна осталась. Старела, дряхлая... Ничем она не отличалась от коренных жителей. Может, только голосом. Не словами, а именно голосом — каким-то нездешним тембром, что ли. В молодости, говорят, вообще ворковала, приятно было слушать, но и теперь ее голос выделялся, и человек, не видя ее, узнавал и улыбался: «Ульяна Паллна».

— Можно? — хоть и задыхаясь от ходьбы, подъема по ступеням крыльца, но все равно мягко спросила она, приваливаясь к боку печки.

— Да уж как нельзя! — всполошилась Валентина Логинова. — Как нельзя, тетя Уля! Проходите, пожалуйста.

Ульяна Павловна оттолкнулась от печи, поправила черный, надетый поверх серой шали платок, захромала в большую комнату.

Там горели две свечки у изголовья гроба, освещая покойницу. Остальная комната была темна. По обе стороны от гроба ряды стульев. На двух, рядом, кто-то сидел. Ульяна Павловна не разглядела, кто. Лишь черные силуэты.

Один из силуэтов качнулся, слегка нагнулся к покойнице, и раздался голос Федоровны:

— Вот и Ула дотелепалась.

Федоровна знала ее молодой, в нездешней одежде, говорившей по-русски с трудом, и потому могла, имела право называть ее Улой.

— Здравствуй, Ульяна, — произнес второй силуэт голосом бабы Зины. — Садись вот...

Ульяна Павловна хроманула к гробу, остановилась. Постояла, взялась рукой за мыски туфель покойницы. Поддержалась, глядя на ее лицо — освещенный овалчик. Овалчик был маленький, стянутый, как крепкими нитями паутины, морщинами. Жизнь не давала этой паутине завладеть лицом, а теперь вот жизнь умерла, и паутина стянулась; стянула, видимо, не только лицо, но и все тело... И сейчас Ульяна Павловна удивлялась, какая, оказывается, ее подруга тщедушная. Или стала такой только теперь, в гробу. Или за те несколько недель, что они, жившие на разных концах деревни, не встречались.

Осторожно, чтобы не завалиться налево, Ульяна Павловна повернулась, добралась до стула сначала руками. Постепенно, держась за спинку, села.

— Чё, как ты, бедолажка? — спросила Федоровна и сразу добавила: — Совсем тебя не видать... Мы уж думали посылать, чтоб проверили... Вишь, как теперь, — Федоровна кивнула на покойницу, — третьего дня бегала, а теперь вот лежит.

— Лежи-ыт, — повторила плачущим распевом баба Зина, а Ульяна Павловна, все продолжая глядеть на маленький, обрамленный белым платком овалчик, ответила:

— Я давно не бегаю. Курам зерна сыпануть — и то история... Наверное, не перезимую уже.

— Так не говори, — остановила Федоровна строго. — Там, — приподняла глаза, — там знают, кому когда. Нам нельзя загадывать.

— Я и не гадаю. Я сказала — «наверное».

— Хе-хе, — вдруг тихо засмеялась баба Зина, — а три кузова дров Генке-то заказала.

— Что же — не замерзать же.

— Это правда. Не замерзать.

Замолчали, поглядывая на Наталью Сергеевну, старясь представить, понравился бы ей разговор или нет... Неспешно, вволю говорить им доводилось редко — дела, заботы съедали время, и обменяться нехитрыми новостями, мыслями, поспорить, просто язык почесать случалось лишь в магазине или на пристани в ожидании катера, парома, или в такие вот ночи прощания со старым человеком. С молодыми прощаться было слишком больно, и старухи заходили туда, где стоял гроб, на несколько минут, плакали, задыхаясь, и, ослабевшие, поддерживаемые под руки, выходили на улицу, тащились домой... Да и не было давно таких прощаний — город забирал покойников...

— Глядеть надо друг за дружкой, — сказала баба Зина. — Вдруг чего, и будем неприбранные.

— Да глядим же, глядим, — с усталой досадой вздохнула Федоровна. — Я внучат каждый день гоняю: «Беги погляди, как там эта, как эта. Шевелится?» Прибегут и радостно так: «Шевелится!» И мне шевелиться сразу охота.

— Так это твои в окошки всё тыкаются? — углами обвисших губ улыбнулась Ульяна Павловна. — А я думала, воры какие.

— Да какие теперь воры. Теперь и пьют как по необходимости.

— Ой-ой, Зинаида, не сглазь! — голос Федоровны стал не просто строгим, а каким-то строго-испуганным. — Не сглазь! Им только повод дай лить в себя. Завтра вот... — Федоровна осеклась, присмотрелась к Наталье Сергеевне, не изменилось ли от последних слов выражение ее лица. — Мы, Нат, им не дадим заливать. Ты не любила, и они пускай, если уважат, держутся.

— Они сде-ержутся, — отозвалась баба Зина, уже забыв, что сама только что говорила о слабо пьющих теперь мужиках. — Бутылки прятать придется.

— Проводить Наталью Сергеевну нужно хорошо, — сказала Ульяна Павловна.

— Эт само бы собой...

— Я о том, что неизвестно, как с нами будет.

— Ох, ты опять гадать начинашь!

— Здесь даже гадать не надо — выселят со дня на день, пораскидают снова кого куда.

Федоровна и баба Зина отметили про себя это «снова». Не простое слово, из тех, что обычно говорят, чтобы усилить речь — за этим «снова» маячила погрузка в вагоны в далекой то ли Литве, то ли Латвии, долгие недели пути сюда, потом годы переездов с места на место, и в итоге их район, в то время почти недоступный, беспросветно глухой, определение: «навечно».

Шестьдесят с лишним лет, против воли родни, земляков, которым вскоре дали свободу, Ульяна Павловна жила здесь, на новой родине, нашла мужа, родила детей, и вот теперь ее снова насильно будут переселять.

— У-у, — качнула рукой, но не сразу, после минуты-другой какого-то оцепенения Федоровна, — это еще вилами по воде... Помнишь, и тогда всё заволокло: «Срочно! Срочно!» А так и остались.

Баба Зина с готовностью поддержала:

— Весной сказали: «Огороды не садите — бесполезно. Все под воду уйдет». И чего? И отсадились, и урожай сняли.

— Слава богу, что не поверили. Слава богу.

— А Шумиловы вон поверили — без картошки остались. Сейчас покупать собираются.

— И Малыхи, которые Комлята. А у них и покупать не на что...

— Во-во! Из добрых людей в нищелюбов превратились каких-то... О-ох, дергают, дергают. Сколько уж дергают. Как, скажи, приказ им дали всю жизнь здесь заранее прикончить, — разговорила баба Зина. — Мало им мест, где никто не живет — там и строй плотины свои, топи землю пустую. А все к нам, к нам. От реки уж ничего не осталось. Порой так мелет, кажется, пешком перейдешь. А чего — там ведь тоже плотина вверху, они то откроют, то закроют. Как боги, прямо...

Словно испугавшись, что так много и с такой горечью произнесла слов, баба Зина захлопнула рот, с тревогой глянула на покойницу. Та лежала спокойно. Бесконечно спокойно. Ничто ее больше не потревожит, не огорчит, не порадует. Больше не откроет глаза, не скажет... И Федоровна с Ульяной Павловной сидели справа и слева от бабы Зины неподвижно, как-то тоже не по живому спокойно. Не спорили, не соглашались. Молчали.

Бабе Зине стало страшно; она заметила, что одна из свечек почти догорела и приподнялась, задавила огонек пальцами. На место огарка поставила другую свечку, но уже не церковную, а из магазина, которые держали в каждом доме на всякий случай.

— Ничего, Наташ, — пробормотала, — ничего, все по-людски сделаем. Мужики и могилку хорошу вырыли, рядом с Денисом Степанычем. Так что вместе будете. Вместе.

— А детям удалось сообщить? — вспомнила, забеспокоилась Ульяна Павловна. — Родственникам?

— Да звонили. И вчера, как только случилось, и сёдни. Едут вроде... Брат обещался завтра утром.

— Он в Кутае же?

— В Кутае. Больной, говорит, совсем тоже. Но утром обещался.

— Примчатся завтра, примчатся, — успокоила и себя и подруг баба Зина. — Все как положено будет — и проводим, и помянем.

— А я вот думаю, — заговорила Ульяна Павловна, — если уж будут нас разгонять, то на родину уехать. Все эти годы даже думать боялась, а теперь... Ведь до сих пор зовут... Дети все здесь, в России, — русские. И я русской стала. Только если придут и прикажут: «Все, собирай вещи», — я — туда. — Старуха надсадно, с бульканьем и хрипом, заплакала. — И... и мужу скажу: не по своей воле. Снова гонят... Что уж тогда...

— И правильно, Уль, правильно, — твердо, со злостью даже сказала Федо-

ровна. — Едь, если есть куда. Родная земля все-таки... Только не верю я, что до такого дойдет.

— До чего-о?

— Ну, что вот придут и прикажут. Скорей оттуда нас, — она потянула голову вверх, — призовут. — И тут же зашептала: — Прости меня, господи...

Вошла Валентина Логинова. Постояла, будто ожидая разрешения сесть. Не дождалась, опустилась на крайний стул. Старухи молчали, с появлением еще одного человека потерявшие нить разговора.

Валентина явно хотела что-то сказать, и наконец не выдержала, спросила:

— Поминать где будем? Здесь или, может быть, в клубе лучше?

— Здесь бы надо бы, — без большой убежденности отозвалась баба Зина. — В своей избе.

Федоровна уже твердо подтвердила:

— Тут-тут! Столы расставить вот так через комнаты — много поместится.

— Может, и во дворе сделать?

— Не надо, не свадьба.

Валентина покивала:

— Да, не свадьба. — И обратилась к покойнице: — Вы, тетя Наташа, не сердитесь, если мы что не так сделаем. Не всё мы знаем, помним. Можем и напутать. Поверьте, мы вас любили... любим. Помним, как вы помогали, подсказывали, как угощали нас... Стояли у калитки в праздник и всем ребятишкам печенюшки давали. Как нам приятно становилось, тепло. И для каждого доброе слово у вас находилось... Как вы Витю, брата нашего, выделяли всегда... Вот скоро увидите. Он молоденький там...

Старухи слушали эту искреннюю, от души, но и необходимую, ритуальную речь. Слушали внешне строго, нахохлившись, а в душе ныло — вот бы и ко мне так обратились, когда я так же буду лежать, я ведь тоже немало доброго сделала... Но где будет через полгода, через год, два эта лепечущая сейчас скорбно-сладкие слова Валентина? Где будут остальные земляки?

Хоть заубеждайся, что все останется, как было, но вихрь налетит неизбежно. Налетит, закрутит и разметает. И не соберешь.

Прошла ночь. Светало медленно — солнце было не в силах пробиться сквозь завалившие небо сизые, набитые дождем, а может, уже снегом тучи.

Собиравшиеся на похороны поглядывали на тяжелые брезентовые плащи, решая — брать или нет. Выходили на двор, оглядывали горизонт, ища просвета, прося ветра. По примете, конечно, дождь на похороны — хорошо, можно говорить: «Вот и сама природа плачет», — но все же неприятно, когда все мокро, склизко... Накрытый целлофаном покойник, вода на дне могилы...

И дождь пошел — крупные, холодные капли застучали по крышам, забoram, ведрам... Капель становилось все больше, стучали чаще и чаще, и вскоре стук перерос в однотонное шипение.

Но налетел долгожданный ветер, толкнул тучи, погнал их прочь.

Открылось солнце, уже окрепшее, высокое к десяти часам, стало скорее сушить деревню.

Люди встречались на улице, радовались, что так произошло:

— А я уж думал, на неделю зарядит!

— В горах опростается.

— Там уж, может, и снег ляжет.

На реке послышался звук мотора, и самые нетерпеливые поспешили к пристани — посмотреть, кто там.

Это прибыл Дмитрий Сергеевич Кондаков, младший брат покойницы, старый по годам, но не по внешности. Прямой, высокий, с седыми, но до сих пор густыми волосами. Под штормовкой — серый костюм, черная рубашка... Раньше он заведовал в Кутае дорожной мастерской, но давно уже был на пенсии. Да и дорог как таковых вокруг Кутая не осталось — болотины, тайга съедали их, и от бывшего райцентра до лежащего в десятке километров от него Пылёва опять, как сто лет назад, предпочитали добираться по реке. Тем более что грести не надо — моторы есть.

Кондакова доставил сын. В дюральке находилась еще жена сына и одна из их дочек, девочка лет десяти... Привезли они и какую-то еду в большой корзине, несколько бутылок.

Поздоровавшись, выслушав слова соболезнования, Дмитрий Сергеевич спросил с удивлением:

— И что, тут хоронить решили?

Ему ответили тоже с удивлением и даже с некоторой обидой на такой вопрос:

— Ну да. А где же еще...

— А мы наших давно в Колпинск отправляем. Кладбище тоже затопит.

— Ну, ваше в низине, а мы-то вон, — кивнул Женька Глухих на прикрывавшие могилки сосны. — Деды умные были — увал выбрали.

Дмитрий Сергеевич хмуρο покивал, оглянулся проверить, как сын закрепил лодку и пошел вверх по улице, к дому сестры...

Вслед за этой лодкой, будто пропустив ее, привезшую самого родного покойнице человека, стали прибывать другие. Уже отдаленная родня и старые знакомые из соседних деревень. Встречающие удивлялись: столько гостей, хоть и по печальному поводу, у них давным-давно не собиралось.

Большинство плыли сюда не потому, что так уж хотелось проводить в последний путь именно Наталью Сергеевну, так ее жалели, — нет, просто это были редкие в последнее время похороны в зоне скорого затопления. И когда по реке пошел слух, что в Пылёве хоронят старуху Привалихину, народ сначала не поверил. Долго уточняли, переспрашивали, звонили в Пылево... Так до конца и не поверив, люди запаслись бензином, установили на своих дюральках, казанках моторы, захватили что-нибудь к поминальному столу, чтоб не с пустыми руками, и отправились сюда. Посмотреть, увидеть своими глазами.

И, преодолев по реке кто десять километров, кто полсотни, видели сквозь брызги и встречный ветер, что на пристани толпится народ, по упирающейся в пристань улице бегают туда-сюда ребятишки, спешат взрослые.

«Да, что-то действительно будет. Что-то будет».

Смерть старого, обессиленного, изработанного человека, это дело, конечно, обычное, а вот прощание с ним всей деревней, опускание в ту землю, на которой прожил жизнь... От этого народ отвыкал, и это волновало, удивляло, тревожило. С этой тревогой они и выбирались из лодок на плахи пристани: «Здесь хоронить будете? Не повезут?»

Местных быстро заразила тревога. Точнее, они с самого начала боялись, что похороны не состоятся, и потому готовились к ним почти тайно. Сообщили

участковому о смерти, но не стали спрашивать, что делать с умершей; фельдшер звонила в район и, по просьбе земляков, тоже не взялась поднимать тему места захоронения; и когда детям сообщали скорбную весть, вопрос о том, будут ли забирать они тело к себе, или в город на кладбище повезут, не задали...

Умом многие понимали, что лучше увезти Наталью Сергеевну из обреченного, обезлюдящего вот-вот места, но никто не хотел вылезать вперед, становиться врагом старух, которые тоже мечтают лечь здесь, возле деревни, врагом мужиков, почувствовавших в кои веки свою значимость, нужность — кто, кроме них, выкопает надежную могилу, доставит к ней гроб, опустит, закопает?..

Но как хотели пылёвцы этих похорон, так, в глубине души, не верили, что похороны провести получится.

И когда вдали послышался не острый, тонкий визг моторки, а басовитый, серьезный бухтеж идущего против течения каэса, люди сразу решили: «Это — за теткой Натальей».

Пристань, когда-то крепкая, широкая, в последние годы расшаталась, как-то сузилась. Для подходящего раза четыре в месяц парома и для редких лодок места хватало. И ладно. Но сегодня вся она была занята моторками, и с каэса — мощного высокого катера — долго кричали, чтоб дали возможность причалить.

Из маленькой каюты на палубу выбралась женщина, и местные узнали старшую дочь Натальи Сергеевны Ирину, которая жила в Томске.

Пару дюралек наконец перегнали, привязали к ствольям тальника, и катер ткнулся носом в окаменевшие листовые бревна пристани. Паренек-матрос накинул канат на столб, спустил на плахи сходень, по которой Ирина сошла на сушу. Следом — четверо парней в толстых куртках.

— Я за мамой, — глотая слезы, сказала Ирина, глянула в сторону родного дома.

А там уже собрались почти все местные и приезжие. Человек за двести. Толпились у раскрытых ворот, сидели на корточках поодаль. Вяло делились друг с другом сведениями, где что ломают, кто уехал, а кто собирается... Дмитрий Аркадьевич подогнал свою огромную «Тойоту»... Был тут и тот парнишка, что прошел мимо баб Наты позавчера. Наблюдал за взрослыми и боролся с желанием, мешающей свободно дышать потребностью подойти к кому-нибудь и признаться, что он видел старушку совсем незадолго до того, как ее нашли лежащей у калитки, и что она, кажется, хотела ему что-то сказать...

— А мы уж тут все подготовили, — сказал Женька Глухих Ирине. — Могилку выкопали вчера...

— Я увезу... Вот катер арендовала, рабочих...

— И куда? К себе или в город?

— В город... Наверное, в город... Роман, сын мой, там сейчас с документами...

— Лучше бы здесь, — попытался убедить дядя Витя, — родная земля ведь.

— Все равно придется выкапывать, — сказал один из парней с катера. — Затопит.

Женька, уставший за последнее время слушать про это «затопит», возмутился:

— Какое затопит! У нас кладбище на горе. До него-то...

— Вода на двести метров поднимется. Даже больше... Весной всяко-разно

ликвидировать будут... Кстати, — голос парня стал каким-то начальническим, — вы имеете право забрать родных. Нужно написать в дирекцию заявление на перенос. В городе выделяют землю...

— Да мы знаем, — сказал дядя Витя.

Ирина, не слушая, стояла и смотрела в сторону дома. Не решалась пойти туда, к толпе...

— Погодите! — измерив глазом расстояние от реки до кладбища, дернулся Леша Брюханов, — но здесь больше, чем двести метров. С полкилометра. Специально там место выбрали, чтоб никакое половодье...

Рабочий с задатками начальника тоже пробежал взглядом от реки до сосен и снисходительно улыбнулся:

— Подъем воды измеряется вертикально. Представь, сколько это — вертикально вверх? Девятиэтажный дом, примерно тридцать метров. А здесь — двести! Так что глухое дно будет на месте кладбища.

Ирина толкнула себя, пошла.

Женька Глухих трясущимися руками закурил, прошипел злобно:

— Пуска-ай... И тебя так же пускай утащут черт-те куда.

— Ну а что, — отозвался старший Мерзляков, — лучше так, чем весной выкапывать... Что там с ей будет весной... Увезут, похоронят, а там и мы следом.

И эти слова погасили возмущение — мужики на пристани замолчали, говорить теперь было нечего. Оставалось ждать.

Начало — имеет место

Елена Захарова (Нижний Новгород)

когда уходят

когда у бетонного дома
проснутся куриные крылья
антенны завьются в ресницы
глаза заморгают из рам
тогда
из-за-бывчивой
комы
из комнат запуганных пылью
из шкафа
проклюнутся
спицы
и прочий
повалится
хлам
повалится вязаный свитер
знакомый
как мамины руки
бурчание бабушки с дедом
и папин раскатистый
чих
проклюнутся голосом вिति
до школы

забытого
друга
и всем
что останется недо-
рассказанным

про то
как дорожка у двери
не пустит
«ты куд-куда»
и вцепится как удав
как будто совсем
не верит

что честно приедешь в гости
бетонные гладить
кости
глодая куриные крылья

по-моему что-то забыл я
ах да, ключи

Наталья Мамлина (Москва)

* * *

В сиянии солнечном красном
Мы плачем и плачем о разном,
Как сталинский правнук и бутовский.
В бессонную ночь уходя,
И Млечным Путём не укутаться,
И ветер не греет... Хотя...

В сиянии солнечном белом,
Где звёзды мешаются с пеплом
Едва отгоревшего ужаса,
Там тот до спасения рван,
Чей дух возлетает и кружится
Над пропастью русского рва.

* * *

Любить наш город, где мои могилы
На русской и еврейской сторонах,
И не уехать, что бы ни манило,
И кто б ни звал, навязывая страх
Остаться здесь. А где ещё остаться?
А где ещё спастись от невзгод
За годом год? От чужеземных станций
Уносишься всем сердцем, и восход
Сияет дома. Сталкерская Зона —
Мой Третий Рим, храни меня от злых,
Влеку меня своим старинным звоном
Со всех углов — со всех кругов — земных.

* * *

Кто захочет свой дом проливать через край —
Уходить навсегда, постояв на ступенях?

Затуманная даль, обещание дай,
Что отныне не будет нужды в наступленьях,
И в моей стороне, где цветы по весне,
Проржавеют винтовки, стоящие в козлах.

Я уставший ребёнок, как впрочем, и все,
Кто себя почитают за храбрых и взрослых
И живут эту жизнь за зигзагом зигзаг,
Запасаясь терпением, будто бы снедью.

...Ветер воеет, молчат и чернеют снега,
До цветущей весны остаются столетья.

* * *

Помоги мне в моём намерении:
Никогда не зайти в тупик,
Сторонящийся лицемерия,
Несговорчивый мой язык.
Ты и родина, ты и нация,
И тебе ли не знать, тебе,
Кем небесная интонация
Умерщвляется в суете.
Честный с честными, ясный с ясными,
Без лукавства и без подмен,
Помоги мне своими язвами,
Изболевшимися по всем.

*Дмитрий Ларионов (Нижний Новгород)**Двое*

Когда ты был с ней — наступало утро.
Проснулась — ни о чём не спросила.

Ты мог рассказать обо всём. Поминутно.
Перечислив глаголы. В полотна
Текстиля завёрнуты были.

Иначе нельзя. Смотря друг на друга,
Изредка — в комнатный угол,
Отвлекаясь на окна —

Снова любили.

Шественик

Начало — имело место. И отцы уронили семя.
Матерясь — выпекали сдобу.
Глиняное тесто. Появление человека.
А после — в прорубь...

Дорогу — завтра. Надета обувь. И сена запах
В дуге аорты /щекочет сердце/ — набрал и замер.
Просрочил юность. В тебя глазами смотрело небо.
Над суходольным лугом ветра ходили.

И ты не слышал. Просил лишь яблок. Для той, что будет —
Немного лилий. Влекомый веком — не стал героем,

Собой — на трассе, ходьбе — не строим.
Лишь человеком.

Детство

Детство. Много было ярче.
Положим — немые сны. Такие видывал мальчик,
в отличие от остальных, его — имели окрас и запах.
Неведомый ныне простор.

И плоскость не знала парабол,
тепло — киловатт. Притом — в детстве многое было ярче
/вижу со стороны — на цыпочках маленький мальчик.
Скрип половиц избяных.../.

Антон Васецкий (Екатеринбург)**Ноябрь**

Пассионарии не нужны. В силе пассив.
Это эпоха тотальных несовпадений,
где за каждой улыбкой скрывается нервный срыв,
а глаза, как паштет, размазывают по тени.
Ты не чувствуешь рук и, по сути, не знаешь страны,
где живёшь, как и той, где когда-то родился и вырос:
раздирая в кровь щёки и губы до самой десны,
ветер уничтожает любую ненужную сырость.
Жизнь в столице — не способ уйти от щемящей тоски, —
понимаешь нехстати в забитом, как гроб, переходе,
избегая прямых попаданий в чужие зрачки,
игнорируя то, что двубортное снова в моде.
Повторяя маршрут, проведённый другой лимитой,
словно белка в кольце заколдованном, с веток на ветки,
заметаешь следы, постепенно сливаясь с толпой
и жалея, что не убежать из своей грудной клетки.

Февраль

Тебе это тоже снится. Молчи, я знаю,
что значит гонять ноли в голове, а утром
лечить глаза потемневшей заваркой чая,
стараясь не думать о том, что зима абсурдна.
Ведь белое — это не больше, чем наносное,
когда красноту сбивает лишь только чёрный.
А веки вскрываются медленно, как обои
отходят от стенки у потолка в уборной.

* * *

Бабка Зоя проснётся от стука капель,
падающих из крана в чашку с остатками молока.
И услышит, как молодой поэт из Екатеринбурга чеканит сверху шаги,
размышляя, насколько красит кафель
выпотрошенная рука,
и раскрепощают ум выбитые мозги.
Это пошло не в меньшей степени,
чем говорить с собой, полагая, что в этот момент
за тобой следит дьявол, а, может быть, даже Сам.
Но молодой автор мечтает, чтобы при обработке в сепию
даже самый неинтересный фрагмент
его жизни давал фору тысячам кинодрам.
Главное — выбрать нужный способ
и совершить всего один правильный шаг,
не оставляющий сомнений в авторских честности и чистоте.
Это значит — убить в себе особь,
причем убить её так,
чтоб успеть высказать те самые мысли и слова самые те.
Высказать, находясь вовне,
уже по ту сторону круга,
и при этом не оказаться раздавленным между строк.
Бабка Зоя умрёт в тишине,
а поэт из Екатеринбурга
сядет за стол и напишет очередной стишок.

Ольга Аникина (Москва)

Баба Маша

«Когда одна — не страшно. Легко, когда одна...»
Слепая баба Маша шагнула из окна.

И медленно летело вверх кленовых крон
её слепое тело над маленьким двором.

Летело над подъездом, над вывеской «Продмаг»,
и было интересно понять — как это так,

что означает этот неведомый полёт?
...удушливое лето, восьмидесятый год,

и запах жжёной каши... и детская вина...
и в небе — баба Маша, летит, совсем одна.

Борька

Мне Борька вынесет
велосипед,
а я ему — горсть конфет.
У Борьки — бабка
и старый дед,
а мамы, наверно, нет.

Вот мой балкон, вот его балкон.
Мне есть с кого брать пример:
и я пропеваю слова, как он,
и смачно картавлю «р»,

и слушаю рассказы про царей,
что жили давным-давно,
а Борька ждёт меня
у дверей
и палкой стучит в окно,

*и дома ещё мне влетит не раз,
за «р» и за маме ложь...*

*«Вас нит а хаваан
фар майн харц?..» —
Да разве ж теперь поймёшь...*

А Борькина бабка (она седа,
и в чёрных глазищах — лёд)
твердит, что уехал он
навсегда,
но бабка, конечно, врёт,

нет той земли, ни морей, ни гор,
оплавленных на жаре...
И Борька выйдет ко мне во двор.
Я жду его
во дворе.

*Матвей Раздельный (Владимир)**Стихотерапия**Варламу Тихоновичу Шаламову*

Стихотерапия —
 это когда кашевары
 не берутся за своё дело,
 а садятся на нары
 и затравленное своё тело
 бросают в хибары,
 бараки и изоляторы.
 И не по матери,
 а по оставленной совести
 слагают стихотворения,
 вместо повесток — повести.
 До удовлетворения,
 а не удовольствия твари,

паразитирующей в этой хибаре.
 Когда деятели искусства,
 заброшенные в крапиву,
 не избегнувшие искуса,
 предпочитают к пиву
 чистые руки и спокойное сердце,
 не вздрагивающее при дверцы
 захлопывании сквозняком,
 когда не закостеневают ком
 в горле,
 от нетронутости прогорклом
 и раздавленном, расплавленном
 у печи пламенной.

Апельсиновые груши

Нескончаемый поток душ:
 они везде. Да и только.
 Невосстановимый сок — груш;
 жизни дольки.

Апельсин как будто бы. Песнь
 здесь — никогда. И все души:
 съедобные лампочки — есмь:
 те же груши.

Нераздельно — внутри себя;
 снаружи — всегда отдельно.

Мы — апельсиновая земля!
 Грушам внемля.

Сочный хруст — и сок по губам.
 Не по твоим, ты не бойся.
 Жизнь всю учимся: по складам.
 Приклад: стройся!

Звон и вспышка — перегорел!
 Или с дерева — сгнил! — грушей.
 Непробиваемый предел:
 тела-души.

Нулевой псалом

Бактерицидный лейкопластырь
 дезинфицирует порезы.
 Спаси, Господь, сохрани, мой Пастырь,
 меня преследуют психофрезы.

Они хотят поразить мой разум,
 сделать пустым и одногранным.
 Но не могу я принять всё сразу,
 мой мозг — сынок параллелограмма.

Чудо — дочурка всех несчастий,
 только земного производства.
 Бактерицидный тот лейкопластырь
 дезинфицирует лишь уродство.

Верю-не верю. Бой нетрезвый
 на протяжении столетий.
 Главное — верить не в то, что мерзко,
 а в то, что чистой любовью светит.

Верить и быть за веру в ответе.

*Вениамин Кравцов (Санкт-Петербург)**Погода ноль. Не плюс и не минус, на выбор*

В парке осеннем всё голо, безлюдно и снег на листву.
Хочешь — поплачь, что зима так рано вернулась,
Хочешь — пройдишь, помечтай на ходу.
Хочешь, спустись по аллее к реке, я скажу здесь:
Нет большей славы, чем одному по аллее спуститься к реке.
Чтобы деревья ветви склоняли,
Город салютовал огнями в реке.
Здесь очень важно, чтоб шаг был свободен и лёгок.
Чтобы слова подбирались одно за другим,
Чтоб уже у реки, когда всё получилось,
В небе зажглась бы звезда: «ты здесь не один».

* * *

Места и пейзажи, что с нами навек остаются,
печатаем до тридцати, краска — любовь.
Здесь, куда я приехал, немало мест живописных,
Но все они в ритме чужом, в работе, в дедлайнах —
невечные, цену имеют всегда.
А там, где жил и любил, — там всё вечно, красиво:
Уж если пейзаж, так ведь маслом и вёрст так на десять;
Уж если река, то в граните, с теченьем, ты нёсся по ней;
Уж если домишко, то в нём это было впервые;
Уж если дворец, то сюда и с ней ты въезжал на коне.

Андрей Резцов (Сидней)

* * *

мне прислали намедни шнурки из Литвы
для кроссовок, сбежавших из польского плена,
я иду, и пружинят заплаты травы
меж асфальтовых пятен намокшего сена
и росой намокли шнурки из Литвы,
промокашкой джинсы, вода до колена,
я пытаюсь идти по заплатам травы,
на зарплату купить гуталина и хрена
не бывает свеклы, нет, увы, без ботвы
нету свежего пива из крана без пены
пролетают скворцы из Литвы до Москвы,
как полночный экспресс из Брюсселя до Вены
перекройте ходы, чтоб не стало весны
и не стало кроссовок, сбежавших из плена
перережьте все вены, забудьте все сны,
запретите траве дорастать до колена

Григорий Аросев

Мёртвое время

Повесть

памяти Л.Л.

2.

- Мне сказали, что вы — переводчица.
- Да.
- Мне нужно срочно перевести один документ с немецкого на русский. Там пять страниц.
- Насколько срочно?
- Ну... Дня за два бы.
- Я очень занята сейчас. У меня неотложная работа.
- Пожалуйста... Я просто в отчаянии. Мне прислали на немецком бумагу, которую я ждала почти год. А я ничего в ней не понимаю.
- Извините, а откуда у вас мой номер?
- Мне дала его Маша Кухлевская. Она моя соседка.
- Ну да, она же с немецкого не переводит... На какой номер я могу вам перезвонить? На этот же?
- Да...
- Я перезвоню.
- Вот ведь! Как это все не вовремя.
- Маша?
- О, привет!
- Ты бы хоть советовалась со мной, прежде чем мой номер давать...
- Ты о чем?
- О женщине этой странной.
- А-а... Да, наверное, нехорошо получилось. Но я ей никак не могла помочь.
- Что, у тебя других людей с немецким нет?
- Представь, нет. А что, такая проблема?
- Просто мои австрийцы прислали вчера очень важное задание. А этой, похоже, надо прямо срочно...
- Судя по всему, да. Она так плакала.

Григорий Леонидович Аросев — поэт, прозаик, критик. Родился в 1979 году в Москве. Окончил ГИТИС, театроведческий факультет. Постоянно публикуется в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. В 2011 выпустил книгу «Записки изолгавшегося» (сборник рассказов). Живет в Москве.

- Плакала?!
- Навзрыд практически.
- Господи, что же там случилось?
- Не могу сказать. Дала слово не болтать. Если согласишься, сама все узнаешь. Скажем так, семейная трагедия, которая длится уже несколько лет.
- И что, теперь только от меня зависит, как быстро бедная тетенька узнает что-то для себя важное?
- Ага. От тебя. Возьми с нее побольше. А австрийцев сделай ночью.
- Ха, вот тебе легко говорить. «Ночью»... А у меня муж есть, между прочим, в отличие от некоторых.
- Я тебе сочувствую...
- Просто отлично...
- Извините, я ваше имя не спросила.
- Вера Антоновна.
- Вера Антоновна, я поговорила с Машей. Это полнейшее безобразие, вы обе меня просто шантажируете, но ладно. Я готова вам помочь.
- Я так рада... Когда к вам можно заехать?
- Ну, заезжайте прямо сейчас, что уж. Лучше до трех, пока ребенок не спит.

3.

С первой же секунды общения с этой полноватой, простолицей и очень грустной немолодой женщиной Переводчица почувствовала что-то неуловимое, тонкое и близкое. Интрига жила недолго, но и за это время Переводчица изрядно помучилась, терзая память — где же она могла раньше видеть свою клиентку?

— Наверное, я вам должна все рассказать, — сказала Вера Антоновна, грузно усевшись на не самый удобный стул. — У меня была дочь, и она пропала. Она уехала в Германию и не вернулась. Это случилось больше двух лет назад. Ее так и не нашли. Поехать туда я не могу. У меня нет загранпаспорта и здоровья на все это. Да и куда мне без языка... Пришлось как-то решать вопрос тут. С огромным трудом мне удалось составить заявление в германскую полицию. Отправила. Добилась, чтобы его приняли. Тогда я работала с другим переводчиком — он за меня все бумаги писал, звонил по моим делам... Но он сменил номер телефона, и сейчас я его не смогла найти. И вот они прислали письмо.

Вера Антоновна вытащила из своей сумки конверт внушительного вида. Переводчица слушала с интересом, но не чувствуя особого потрясения. Уже бывали случаи, когда ей приходилось заниматься подобными документами. Разумеется, она не жалела, что решила помочь Вере Антоновне, но и сердечного участия в этом деле принимать не собиралась. Гораздо больше ее занимал вопрос: где, где, где?!

Тем временем несчастная женщина достала содержимое конверта — несколько скрепленных листов, и протянула их Переводчице. Та взглянула на заголовок — строгое и безэмоциональное: «Antwort auf Vermisstenanzeige¹». Ниже значилась техническая информация, которую Переводчица просмотрела очень

¹ Ответ на запрос о пропаже (нем.).

быстро: «Кому, от кого, телефон, дата, тема»... Стоп! Тема! Переводчица снова и снова перечитала тему документа, затем судорожным жестом перелистнула пару страниц и начала нервно искать взглядом в тексте ожидаемое слово. И нашла его...

— Вера Антоновна, а у вас есть с собой фотография вашей дочери?

— Да, а зачем вам?

— Просто хочу посмотреть... — Переводчица понимала бестактность просьбы, но устоять не могла. Увидев фотографию, она вскочила, едва не опрокинув стул, выбежала из комнаты, заперлась в ванной, включила воду и стала звонить мужу. Поделившись с ним потрясением, Переводчица успокоилась и вернулась к Вере Антоновне, внешне совершенно спокойной.

— Простите. Да, я все сделаю. Постараюсь вообще сегодня же, но ближе к ночи. Так что завтра утром приезжайте.

Вера Антоновна с некоторым изумлением смотрела на Переводчицу, но никак не прокомментировала ее беготню туда-сюда.

— Простите и вы... А вы можете посмотреть и сказать, там что-нибудь по сути есть?

Переводчица, уже совсем иначе относящаяся к документу, первым делом посмотрела в его конец — и не прогадала. «Таким образом установить местонахождение пропавшей Виктории Тарасенко не представляется возможным», — говорилось там.

— Что ж, много я и не ждала, — тоскливо произнесла Вера Антоновна. — Ну, все-таки вы сделайте перевод всего, ладно? Я заплачу, деньги-то есть. Вдруг там что-то ценное есть...

4.

«Ответ на запрос о пропаже.

1. По факту запроса госпожи Веры Тарасенко об исчезновении ее дочери Виктории Тарасенко на территории Федеративной Республики Германия произведено расследование, оконченное 20 ноября 20** года.

2. Установлено, что пропавшая действительно находилась на территории ФРГ со 2 октября 20** года. Судя по всему, государственную границу она пересекла в Дюссельдорфе, прилетев туда рейсом 8395 авиакомпании «Эйр Берлин». Об этом свидетельствуют копия авиабилета и посадочного талона, полученные в означенной авиакомпании. Установить факт прохождения границы на паспортном контроле Дюссельдорфа возможности нет, однако проездные документы однозначно говорят, что пропавшая зарегистрировалась в Москве на означенный рейс и на посадку явилась. Иное было бы зафиксировано в документах авиакомпании.

3. Определенно установлено, что ни в одной из городских гостиниц пропавшая не остановилась. Фамилии «Тарасенко» нет ни в одном из гостиничных файлов, начиная со дня прибытия пропавшей в Германию. При этом в Дюссельдорфе также находится ряд молодежных гостиниц, хостелов. Фамилии постояльцев в них хранятся не более полугода в связи с большим потоком гостей, ввиду чего нет возможности точно установить, проживала ли пропавшая в одном из хостелов. При этом, узнав об отсутствии архивов, полиция разослала по хостелам фотографии пропавшей, предоставленные госпожой Верой Тарасен-

ко. Из одного хостела, «Райнголдхотель», написали, что два администратора, в мае 20** года уже работавшие на своих нынешних должностях, якобы опознали пропавшую на фото. Администраторы не были абсолютно уверены в том, что на фотоснимках именно их бывшая постоялица, хотя сказали, что это «довольно вероятно».

4. Проанализировав сообщения госпожи Веры Тарасенко о характере своей дочери, полиция сделала вывод, что единственное место, где можно попытаться обнаружить следы пребывания пропавшей, это ночные клубы. Было опечатано объявление о пропаже человека, которое получили все клубы в центре города, то есть там же, где располагается хостел. Объявление сопровождала просьба держать их на виду как минимум несколько недель. Спустя двенадцать дней в полицию явился житель Дюссельдорфа Фолькер Ш., который заявил, что, как ему кажется, он общался с пропавшей в ночном клубе в одну из ночей. Он, как и работники хостела, не дает гарантии, что это была именно она, однако из его слов следует, что все-таки речь идет о пропавшей. Как вытекает из заявления Фолькера Ш., он познакомился с молодой девушкой из России, которая говорила по-немецки очень хорошо, но с ощутимым акцентом и слегка старомодно. Она почти не пила пива или более крепких напитков, однако с удовольствием танцевала и смеялась. Как рассказал Фолькер Ш., они несколько раз поцеловались, однако его предложение о возможном половом сношении в ту ночь было ею отвергнуто под предлогом, что она якобы замужем. Фолькер Ш. не помнит, носила ли пропавшая на пальце кольцо. Также он не помнит, как они расстались.

5. Никаких дальнейших передвижений пропавшей обнаружить не удалось. Однако в «Райнголдхотель» заявили, что у них за последние годы ни разу не было зафиксировано случая исчезновения постояльца. Из этого делается вывод, что пропавшая выехала из хостела добровольно и самостоятельно. Куда она направилась дальше, неясно (см. пункт 6). Отметим, что с октября 20** года в окрестностях Дюссельдорфа не обнаруживали ни одного тела женщины возраста и телосложения пропавшей. Таким образом представляется вероятным, что она покинула город, а возможно и страну вообще.

6. Авиакомпания «Эйр Берлин» предоставила официальный документ, согласно которому пропавшая не воспользовалась обратным билетом по маршруту Дюссельдорф—Москва. Также она не обращалась к уполномоченным представителям с просьбой отменить бронь и вернуть ей денежные средства.

7. Таким образом установить местонахождение пропавшей Виктории Тарасенко не представляется возможным. Дальнейшие изыскания требуют несоизмеримых усилий и затрат, невозможных в данной ситуации и не подкрепленных гарантией желаемого результата».

Печать, подпись, расшифровка подписи.

5.

Вера Антоновна заболела и не приехала. Но ее голос по телефону звучал так жалобно, что у Переводчицы не выдержали нервы — она оделась и, вздохнув, поехала к ней сама. Случай, конечно, беспрецедентный, к заказчикам она никогда сама не ездила. Но другой-то случай — с Викой Тарасенко — совсем ни в какие ворота не лез. Поэтому у Переводчицы выбора не было.

Она сидела в троллейбусе, окруженная равнодушными бездомными и грустными пенсионерками, пустым взглядом скользила по выученному наизусть пейзажу улицы Ленина, и только и делала, что вспоминала.

С Викой Тарасенко они учились на одном курсе, хотя и в разных группах. Поэтому они пересекались только на парах, общих для всего потока. До *того* случая они лишь несколько раз встречались в недорогих кафе, где за новомодными чаями просиживала (а порой и откровенно прогуливала) их компания. Переводчица прогуливать особо не стремилась, ей нравилось учиться. «Поехали с нами», — зазывали ее порой друзья-приятели то в гости, то в какие-то загородные клубы, базы отдыха, непрозрачно намекая на определенного рода забавы. Она смущенно отказывалась, чувствуя себя неловко перед приглашавшими, но не перед собой: ей в самом деле было интереснее сидеть на лекциях или читать дома книжки-учебники, чем всю ночь пить и заниматься чем-либо еще — гораздо менее приличным. Родители Переводчицу не контролировали, будучи в курсе ее предпочтений, а в серьезных отношениях она тогда ни с кем не состояла. Поэтому когда она однажды все-таки согласилась поехать с компанией к кому-то домой, ей не пришлось ничего никому объяснять. Переводчицу все любили и чуть-чуть побаивались — слишком спокойных и насмешливых всегда опасаются. Вдобавок к этому она не умела много пить и прекрасно это знала. А вот Вика, которая также находилась среди гостей, вела себя иначе. Она беспрерывно пила, по любому поводу истерически хохотала и вообще выглядела довольно жалко — она быстро раскраснелась, челка прилипла ко лбу, а на не очень стильном красном платье проступили некрасивые пятна от пота. Переводчица все это видела, но лишь улыбалась. В итоге дело закончилось скандалом: Вика стала заигрывать с таким же пьяным, как и она, хозяином дома, у нее хватило ума пойти с ним целоваться в какой-то закуток, там он попытался перейти к иным действиям, что Вике резко не понравилось, она его сильно ударила коленом понятно куда, он в долгу не остался... Заварилась серьезная каша и Переводчица решила поскорее смыться, прихватив Вику. Переводчица сбежала по лестнице легко и быстро, а вот Вика на полдороге чуть не упала, сломала шпильку, потом сняла туфли и заковыляла вниз. К счастью, их не пытались остановить.

«Ну, куда пойдём?» — весело спросила Переводчица, посмотрев на часы. Десять минут второго. «Отвези меня домой», — сказала Вика, и ее немедленно стошнило. «Ладно, лучше сейчас, чем в машине», — брезгливо подумала Переводчица, не подав, однако, виду. Они шли минут тридцать, Переводчица впереди, Вика — сильно отставая, пока не поймали такси. Доехали до дома. Переводчице ужасно не хотелось провожать Вику до дверей, однако пришлось — в дороге ее укачало, и она сама просто не дошла бы. Водитель ждать отказался и уехал. Переводчица, уже сильно уставшая и отнюдь не столь же благодушная, как часом ранее, поднялась пешком на пятый этаж и резко нажала на кнопку звонка у двери, на которую вяло указала Вика, висящая на Переводчице, будто плащ. Вскоре раздалась шага и дверь отворилась — немолодая полная женщина испуганно смотрела на девушек. «Вы — мама Вики?» — спросила Переводчица. «Да». — «Заберите ее». Вика, шатаясь, ввалилась в квартиру и понеслась в туалет, откуда снова стали доноситься неприятные звуки. Больше всего Переводчице хотелось просто лечь. Она молила небеса, чтобы мама Вики ей предложила остаться у них на ночь, хоть на полу. И, разумеется, когда ей это действительно предложили, она немедленно отказалась и еще битый час шагала по

ночному городу — ни одной свободной машины ей больше не встретилось. Тогда-то и случилась ее единственная встреча с Верой Антоновной (хотя тогда, конечно, ее имя-отчество Переводчица не спрашивала), а сама Вика, при следующей встрече предложив вернуть деньги за такси и получив естественный отказ, с тех пор избегала пересекаться со своей спасительницей — было очень стыдно. Впрочем, Переводчица нисколько не страдала от недостатка общения с Викой...

Что дальше? Они защитили дипломы, Переводчица вышла замуж, нашла работу и совершенно забыла о Вике. Потом бурными темпами стал развиваться интернет и социальные сети, и где-то в списках «общих друзей» Переводчице изредка попадалась на глаза знакомая фамилия — Тарасенко. Судя по страничке, на которую Переводчица заходила пару раз, Вика, тоже вышедшая замуж, вела активную виртуальную жизнь — новые записи появлялись каждый день, хотя писала она какую-то совершеннейшую чепуху, Переводчица не могла без содрогания читать ее выпренные рассуждения о любви, добре и космической гармонии. Потому-то «дружить» с Викой в интернете ей не захотелось. Переводчицу гораздо сильнее интересовали фотографии детей своих знакомых и впечатления от просмотренных фильмов или прочитанных книг. Она вообще была вполне земным человеком.

Воспоминания закончились, как и дорога. Переводчица вышла из троллейбуса, пересекла двор и остановилась перед домом — тем самым, да. Вера Антоновна на пороге квартиры выглядела такой же испуганной, как и тогда, лет десять назад. Но на сей раз у Переводчицы не было при себе Вики, чтобы сдать ее маме — ни в каком смысле, так как даже переведенный документ ничего не прояснил.

Вера Антоновна суетливо взяла бумаги и предложила Переводчице чаю. Она охотно согласилась — но не потому, что ей хотелось пить, а так как у нее появились вопросы, на которые могла ответить только мама Вики. «Если вы хотите прочитать документы, то я подожду, я не тороплюсь», — сказала Переводчица. Вера Антоновна благодарно кивнула и нацепила очки.

Прошло минут десять.

— Да, год жизни, по сути, впустию, — вздохнула немолодая женщина, встала и положила бумаги в секретер.

— А вы что, ожидали раскрытия тайны от германской полиции? — не очень деликатно, хотя и привычно-спокойным голосом спросила Переводчица.

— Не то чтобы ожидала... Но почему-то надеялась.

— А расскажите мне, что происходило до того, до ее отъезда.

— Да что же вам рассказать? Она просто сказала, что собирается в отпуск в Германию. Я спросила — одна что ли, без Павлика? Ну, она...

— Извините, а Павлик — это муж?

— Да. Она говорит, дескать, да, без него. Вот если получу визу, то поеду. Я так удивилась — полгода не прошло после свадьбы, они даже в медовый месяц нигде не отдыхали, и вдруг она уезжает сама. Но это же их дело. Ну и в какой-то момент она заявляется домой радостная — получила, мол, визу-то. И все. Через неделю, что ли, уехала. А подробностей я и не знаю — что, куда и так далее.

— Уезжала спокойная?

— Да, радостная даже. Она вообще за последние пару месяцев перед исчезновением повеселела.

Переводчица задумалась.

— А что на это ее муж говорил? Ну, что она одна собралась куда-то за границу?

— Не знаю, я не спрашивала, а он сам молчал. Вообще-то он странный парень. Я очень редко слышала его голос. Он почти ничего не говорил. Мы же вместе жили. Однажды я пришла домой, и еще не открывая дверь слышу, как они громко кричат, оба. Я остановилась с ключами в руках. Слов не разобрала. Открыла дверь — они не услышали. Но я все равно не поняла, о чем они говорили. Ну, слова-то я слышала, но смысл не уловила. А как только я уронила ключи, нарочно, они оба замолчали. И все. Так что я не знаю, как они там договорились и что он думал об ее отъезде.

— Вы не против, я еще задам пару вопросов? — Переводчица вдруг поняла, что ведет себя, как следователь.

— Задавайте, что уж...

— Как он реагировал на ее исчезновение?

— Да не знаю я. Когда она не вернулась, он, вроде, переживал. Не ел ничего. Спал ли — не знаю. Несколько раз со мной ходил в милицию. Потом съехал, куда — не сказал. Но вскоре позвонил и прошептал, он вообще очень тихий, что пока судьба Вики не выяснится, он не женится, а если мне нужны деньги, то мне надо только ему сообщить. Он где-то там работает по бизнесу, Викуля не жаловалась никогда в этом плане. И на наше это расследование деньги он дает, ни разу не воспротивился. Вам он опять же платит, я-то не могу, у меня пенсии не хватит...

— В милицию, вы говорите, ходили? — прервала ее Переводчица.

— Ну да...

— И что там?

— Да что! — Вера Антоновна махнула рукой. — Человек пропал вообще не в России, так чего им шевелиться. Формальщина сплошная. Ко мне сюда даже не приходили. Так — позвонили и задали пару вопросов. Даже вы расспрашиваете подробнее, чем они. Про Павлика они, к примеру, не спрашивали. А что, — внезапно испугалась Вера Антоновна, — думаете, это он?

Переводчица медленно покачала головой.

— Нет. Просто я же о нем совсем ничего не знаю, — она нечаянно проговорила, своей интонацией слишком явно давая понять, что о Вике-то она многое знала. Но Вера Антоновна ничего не заметила. — А можно я зайду в ее комнату?

— Можно, что ж нет. Я там почти ничего не трогала. Павлик все убрал перед тем, как уехал. Вот мне там и нет работы.

Вера Антоновна встала и пошла в соседнюю комнату, Переводчица за ней. Дверь. И... ничего. Обычная обстановка — шкаф-купе, диван, шторы, стол. Но вся атмосфера какая-то выхолощенная. Переводчица мгновенно вспомнила давний визит в Ульяновск, в дом-музей Ленина — там все выглядело таким же неживым, хотя в комнате Вики реальных вещей бывшей хозяйки было гораздо больше. Вера Антоновна предложила:

— Хотите тут посидеть?

Переводчица кивнула и осталась одна. Но не села, а продолжала стоять.

Она смотрела на окно, в которое смотрела Вика. Сколько, интересно, раз Вика пыталась увидеть там что-то важное? Не думала ли она шагнуть туда? А

может, она считала окно просто источником света и каких-то примитивных новостей — погоды, времени суток...

Она с произвольной усмешкой глядела на диван, ранее бывший супружеским ложем. Почему-то ей казалось, что и Вика, и ее муж относились к этому очень серьезно, ответственно и с полным осознанием значимости момента. Переводчица присела и чуть попрыгала на нем — зачем-то захотелось проверить, не скрипит ли. Ни единого звука.

Посидев пару минут, Переводчица встала и подошла к книжным полкам. Сплошная макулатурная тупта. Хотя нет — вот Рыбаков, вот Замятин, вот Хемингуэй, а вот в оригинале Пилчер, Мердок, Лессинг, Роулинг. Вика на английском мужчин, что ли, не читала вовсе? Переводчица снова улыбнулась.

Зачем чуть приоткрыла дверцу шкафа. На нее будто вывалился запах давно не ношенной, но чистой и вполне прилично выглядящей одежды. Переводчица с интересом осмотрела гардероб Вики, на минуту даже забыв, что судьба его хозяйки трагично неясна — она перебирала в руках платья и кофточки, прикидывая, что бы ей могло подойти. Увидела и то самое красное платье — да, Вика нечасто утруждала себя обновлением гардероба... Но спустя мгновение мысли об одежде испарились без следа, так как ее взгляд случайно упал на нижнее левое отделение шкафа. Его заполнили, судя по всему, двумя зимними куртками, но на пару сантиметров вперед выдавался... ноутбук. Почему он лежал там — неясно, но какая теперь разница? Переводчица села на корточки, ощупала его сквозь куртки и, чуть помедлив, вытащила.

Она держала его в руках — обычный, уже далеко не новый компьютер. Но почему-то она могла поклясться, что вскоре сможет дать ответы на все вопросы, включая незадаанные. Это был великий момент в этой невеликой истории. Не выпуская из рук заветный аппарат, Переводчица вернулась к Вере Антоновне.

— Скажите, это ноутбук Вики?

— Мне кажется, да. Павлик все свое забрал, я думаю.

— А милиция не интересовалась, что там внутри?

— Точно нет. Я его спрятала в шкаф еще тогда.

— Когда?

— Ну, когда она в Германию улетела.

— И что, никто не интересовался, есть ли у нее компьютер, что там?

— Да кому ж интересоваться... Милиции-то вообще нет дела до нас.

— А ее мужу?..

— Он не очень компьютерный человек, мне так кажется. О ноутбуке не спрашивал вообще ни разу.

— Вера Антоновна, я хотела бы на некоторое время забрать его себе.

Викина мама охнула.

— Так ведь это память! Я же с вами деньгами расплатилась...

— Не волнуйтесь, насовсем он мне не нужен, я верну его в целости! Просто я бы хотела там кое-что посмотреть...

— Внутри, что ли?

— Да.

— Это-то можно. Только аккуратнее. И верните.

6.

Переводчица сидела за своим столом, не зная, что делать дальше. Она пришла домой, сразу же открыла ноутбук Вики, подключила его к домашней сети и успела прошерстить все, которые только смогла обнаружить, страницы Вики в социальных сетях. Сильнее всего Переводчица опасалась, что содержимое страниц будет недоступно, если не введешь имя пользователя и пароль. Но благодаря функции «запоминание пароля» с этим сложностей не возникло. Сложность оказалась в другом — ни на одной странице ничего существенного не находилось. Вика везде писала те самые смешные фразочки о хаосе, любви и просветлении, которые Переводчица видела несколько лет назад, но никакими намеками ни на какие перемены (не считая поверхностных упоминаний о замужестве и нескольких любительских смазанных фотографий со свадьбы — лицо жениха-мужа на них разглядеть так и не удалось) не пахло. На другом сайте она публиковала только результаты тестов — «Какое вы море», «Что скрывает ваша маска» и подобные. Переводчица со всех сторон исследовала одни и те же страницы, перечитывая все по многу раз, но безрезультатно. Возможно, Вика что-то там и зашифровывала, но понять это Переводчица решительно не могла.

Переводчица почти отчаялась. Она провела за компьютером Вики часа два, но не узнала ничего ценного. Она вышла в кухню, где пили чай муж и дочь.

— Как твои поиски? — спросил муж. Переводчице очень повезло: он всегда брал на себя часть домашних забот, когда она занималась серьезными делами. Но сейчас она еще сильнее была ему благодарна и признательна, потому что она занималась не работой, а непонятно чем. Но муж позволил ей углубиться в недра чужого компьютера, не требуя приготовления ужина или какого-либо иного знака внимания. Трехлетняя же дочь пока не высказывала внятного мнения о занятости своей мамы. Просто она при виде Переводчицы задрала руки и радостно что-то забубнила с набитым ртом.

— Никак. Ничего нет. Странно. Она в интернете вела себя очень активно. Всех комментировала, за всеми следила. А про себя, про свою настоящую жизнь — ничего. Только какие-то тупые изречения про «рассвет познания». Как же она ухитрялась нигде ничего не писать о себе?

Расстроенная, Переводчица подошла к столу, села рядом с мужем и положила голову ему на плечо. Дочь дожевала еду и попросилась к ней на руки.

— Я чувствую, чувствую, что разгадка тут. Рядом. Буквально пару движений мышью — и все, но интернет такая штука, сам знаешь.

— Какая?

— Далекое — близко, если знаешь, где искать, а близкое — далеко, если не знаешь.

— Да, это точно... Может, она писала, но в тайном месте? — предположил муж. — Которое никто не знает.

— В тайном... Не исключено, но как же его найти?

— Понятия не имею, прости, — муж поцеловал ее в макушку.

— А с другой стороны, — сказала она и замолчала.

— Что? — выждав несколько секунд, спросил муж.

— Если я уверена, что разгадка рядом, то почему... — она снова замолчала и задумалась. Потом вскочила, пересаживая дочку на колени мужа и помчалась за мобильным. — Алло, Вера Антоновна, вы еще не спите? Извините, мне очень

нужно задать вам один вопрос... У вас дома интернет был? Ну, тогда, до того, как Вика уехала... А узнать у кого-нибудь нельзя? Может, у ее мужа? Спасибо, да, это очень важно!

Она положила трубку, села на стул и закрыла глаза. Через пару минут зазвонил телефон. «Хорошо, я все поняла! Спасибо!»

— Ты о чем-то догадалась? — спросил муж.

— Да. Ее муж сказал, что у них дома не было интернета, а значит, она лазила по сайтам исключительно с работы, утром или днем. Плюс куда-то ходила с ноутбуком — пароли-то сохранены, значит, и с него она в интернет заходила. Поначалу же я не обратила внимания на время, когда она писала комментарии. А это же очень важно.

— Разве это важно?

— Да! Работа все-таки такое дело, там редко можно сосредоточиться. Гораздо проще писать какую-нибудь ерунду, что Вика и делала. А значит...

— Значит?..

— Значит, она писала дома, вечерами или ночами.

— Просто в компьютере, в виде файла?

— Точно!

Переводчица вернулась в свою комнату и снова уселась перед ноутбуком Вики. Теперь бы найти этот таинственный файл. А если их много?.. Она попробовала поискать по названию файла. Вариант «дневник» не дал результатов. Далее последовали «журнал», «записки», английские «diary», «book», «journal¹» — все то же самое. Вспомнив, что Вика изучала немецкий, Переводчица попробовала «Tagebuch²». Бесплезно. Снова чуть отчаявшись, она решила открывать все папки подряд. Прошло минут двадцать. Заглянул муж, сообщил, что дочь уложил и вскоре сам намеревается отбыть в кровать, чего и ей желает. Переводчица сделала максимально заинтересованный вид, сказала: «Постараюсь как можно скорее», — и немедленно забыла о своем обещании. Еще полчаса непрерывного клцання мышью и изучения файлов. Как назло, в компьютере Вики хранилось очень, очень много документов. Она работала бухгалтером и секретарем одновременно (насколько Переводчица поняла, в маленькой фирме, где народу было мало, а дел — много), и, похоже, копировала себе все рабочие материалы. То ли чтобы те не пропали, если с рабочими компьютерами что-то случится, то ли брала работу на дом...

Наконец Переводчице повезло. Она дошла до глубоко зарытой папки под названием «Nacht fur Nacht³», в которой аккуратно, вполне по-бухгалтерски, лежали строго пронумерованные файлы — 001, 002 и так далее. Открыв первый, Переводчица тут же поняла, что именно это она и искала. И все окружающее на несколько часов утратило какой-либо смысл.

7.

001.

Недавно я где-то прочитала, что когда советские паспорта окончательно отменили, в новых, российских, нумерацию начали не заново, а как бы продол-

¹ Дневник, книга, журнал (англ.).

² Дневник (нем.).

³ Ночь за ночью (нем.).

жили, чтобы исключить появление паспортов с номерами 00 00 000001. Это умно. Но с этими записями я поступлю совсем не так. Нумеровать их буду с нуля, а в прошлое постараюсь особо не залезать. Не буду писать, кто я и что я, все равно это вряд ли кто-то прочитает. Важно, что сегодня, а не вчера.

Виделась с Пашей. Никаких сдвигов. Он такой же нервный и равнодушный. Мы проговорили целый час и все без толку. Какое-то топтание на одном месте. Я так и не понимаю, чего он от меня хочет. Он же даже переспать со мной не хочет! Но тем не менее каждый день притаскивается ко мне на работу и ждет внизу...

003.

Высыпаюсь каждую ночь. И с аппетитом проблем нет. Как назло. И денег не так, чтобы мало. И Паша постоянно торчит под окнами или звонит или пишет. Вот все у меня хорошо. А настроение препоганейшее. И ничем его не объяснить. Удавилась бы, да боюсь выжить.

004.

Сегодня ходила в галерею. Художник Гурам Доленджашвили — ни за что бы не запомнила, но взяла там буклет какой-то, перепечатала фамилию. Совершенно сумасшедшие работы, навевают ощущения присутствия гения и полнейшей безнадеги вокруг. Черно-белый снег, ядерная луна, пугающие деревья. Ну, картины-то потрясающие. Но все это ужасно.

Павлик не объявился, я ему сама звонила. Он простудился, просил прийти. Не пойду — знаю, чего он хочет. Опять будут эти извращенческие игры, ему круто, а сама я так и уйду домой с мокрыми ногами.

005.

Все-таки не выдержала и пришла. Все так и было, но я поняла с утра, что это хоть что-то, что меня интересует. Вот и пошла. А Паша правда заболел. Но я ему не очень сочувствовала.

Перечитала эти четыре файла и поняла, что творится какая-то полная ерунда. А точнее, не творится ничего. Хоть вообще бросай эту затею с дневником в компе. Думала, что буду записывать свои мысли, а чего записывать-то? Ничего не читаю, ни о чем не думаю, отупение какое-то. И длится оно не месяц и не два.

006.

Ура, придумала, что написать. Хотя и то — не написать, а скопировать. Получила сообщение от Елисеева. Даже улыбнулась!

«Привет тебе. Я вспоминаю наши вечера и даже ночи. Какой же я дурак, что позволил тебе так уйти. Я не хочу тебя потерять окончательно. Позвони».

Вот жаль, что я о нем никому не рассказывала! Сейчас бы посмеялись вместе. Как же можно быть таким тупым... Он же мне всю душу вымотал. Красавчик, циник. Моложе на 4 года. А я повелась, как дура. И после той сцены он полагает, что я поведусь еще раз!

Завтра возвращается Ляпина, чувствую, будет весело.

007.

На работе кошмар. Ляпина вернулась бодрая и отдохнувшая и сожрала нас всех. То не то, это не это. Я сегодня собиралась вечером подумать о Павли-

ке, но меня настолько утомили перепалки с Ляпиной, что я просто валюсь с ног. Хочу лечь поскорее.

Ляпина вообще, конечно, кадр. Высокая, стройная, красивая, выглядит просто нереально, при этом старше меня на одиннадцать лет. Всего добилась сама. Она пару раз в праздники, да под «Мартини», рассказывала, на что ей приходилось идти в начале бизнеса. Не хотела бы я повторять ее опыт. Но при этом она истеричка. Бойтся, что мы чего-нибудь не так сделаем. Постоянно орет и дергает нас. А тут она свалила в отпуск. Говорят, впервые в жизни уехала на две недели, да еще и не звонила нам ни разу. Приехала — и началось...

Кстати, у нас говорят, что она не одна ездила, а с кузнецом. Муж, якобы, привез ее в аэропорт и поставил в очередь на регистрацию, после чего она его выпроводила, а сама потом перебежала поближе к стойке, где уже стоял ее кузнец. Уж не знаю, откуда Филимонова это знает, но рассказывала с таким видом, как будто это все сама видела. Как же это пошло! Ненавижу. Мне кажется, мир просто пропитан ложью и лицемерием. Все всем лгут. А я вот никому не вру. Меня мама спрашивает — ты, мол, с Павликом уже да? А я и врать не хочу, но и признаваться тоже. Да и не знаю, как назвать то, что у нас происходит... Вот и молчу. Но как минимум не вру. Хотя мама бесится. А других поводов для лжи у меня и подавно нет.

010.

Суббота, утро. Я никуда не собираюсь идти. Сажу дома и жду Пашу. А когда он придет — не знаю. Ну то есть придет точно. Но с него станется и в 11 вечера зайти.

Мне кажется, что это все вообще зря. И знакомы мы зря. И идет все бесцельно. И бесперспективно. Полгода назад, когда мы только познакомились, он был точно таким же. Прогресса нет! Как в первый день он мне сказал все, так и повторяет. Или на второй... Неважно. И эти все игры... Напрягают. Я недавно вспомнила отличное слово — исступление. Вот как раз это со мной происходит каждый раз, когда мы остаемся наедине. Иногда думаю — да черт тебя подери, просто возьми и сделай то, что хочешь! А потом понимаю, что он-то как раз и делает то, что хочет. И это пугает.

Тогда, на остановке, он мне показался очень трогательным и даже каким-то... поэтом, что ли. А оказалось — угрюмый юрист. К тому же он работу потерял и таскается сейчас по собеседованиям. Приходит, ему отказывают — еще бы, кто ж возьмет такого, он в депрессии возвращается домой, выпивает какие-то таблетки и валится спать. Потом просыпается и идет ко мне. Ужас полный. Я вот думаю — как лучше, так или чтобы пил? Все плохо, да. Но таблетки уж больно страшно. Я ж в этом ничего не понимаю. Он говорит — это только для того, чтобы голова не болела. А постоянно спит почему? Я не знаю.

Я в отчаянии. Я не знаю, что мне делать дальше! Каждый день все одно и то же, а перспективы нет. Неужели и еще через полгода все будет так же? Я очень хочу, чтобы хоть что-нибудь изменилось. Ну хоть что-нибудь!

011.

Вчера он пришел не так поздно — около шести вечера. Мы сидели у меня и ни о чем не говорили. Бог знает, что там мама думает. Но мы реально молчали. А мне было как-то хорошо. Он, уходя, буркнул, что завтра, то есть сегодня не

придет. А я с горя поехала на работу, хоть и суббота. Надо же себя хоть чем-то занять. Последнее время я слишком сосредоточена на Паше и не могу ни с кем вообще больше общаться. В клубы не хожу, танцы забросила, девок позабыла. Щербинкина вот обижается, Сошкина меня демонстративно удалила из друзей вообще, потому что я не пошла к ней на день рождения. Я сказалась больной, но кто-то меня засек с Пашей и стукнул ей...

На работе опять вернулись старые мысли. Какого, спрашивается, хрена я учила языки, если меня заставляют копаться в бумажках? Я, конечно, сама виновата — раз уж отучилась на курсах бухгалтеров, то и стала везде в резюме пихать это свое бухгалтерство... А то, что я Гейне, Рильке и Гете могу цитировать часами в оригинале — это никого не интересует. Да, иногда приходится писать что-нибудь на английском, типа деловых писем, но это ж ерунда. Немецкий — вот это сильно, поработать бы с ним... Но — увы. А английский я никогда не любила особо, и сейчас тем более не люблю.

Я иногда вспоминаю Марину. Вроде я и сама не очень обделена красотой, но Марина — просто за гранью. Высокая брюнетка, фигура — супер, а способности к языкам просто фантастические. Я даже ей не завидовала, и сейчас не завидую. Просто... ощущалась какая-то постоянная радость рядом с ней. Хотя она ничего не делала лично для меня. Мы вместе учились — и все. Мне казалось, что она овладевала новым языком каждые полгода. По крайней мере, я точно видела у нее в руках учебники французского, итальянского и португальского. При том, что английский она и так в совершенстве знала и им она не занималась... Хватит о ней. Лучше спать пойду.

012.

Вчерашние письменные размышления снова меня поставили в идиотское положение перед самой собой. Что я делаю в этой тупой конторе? Почему я постоянно должна терпеть взбрыки Ляпиной? Почему я не могу просто уволиться?

Сходила чай попила. А я знаю почему. Я жду, что Паша сделает мне предложение. И нам будут нужны деньги. Он же фига с два устроится на работу. Я вообще удивляюсь, почему он не просит у меня денег взаймы или насовсем. Вот написала сейчас про это и почувствовала что-то неладное. Господи, как же я устала.

016.

Позвонил Павлов. Тихо из мрака. Я смеялась. Хорошо хоть, что у меня остались в телефоне их номера — Елисеева, Павлова и кучи других придурков. А то неудобно как-то — отвечать на эти страстные признания «прости, а ты кто?» Всем этим козлам надо только поставить меня в коленно-локтевую. Почистить бы телефонную книжку и затем просто не отвечать на незнакомые номера, но лень.

Лень. Ничего не хочу. И Пашу не хочу. И замуж не хочу. И писать это не хочу. Спать хочу. И съесть банан. А идти за ним на кухню не хочу. Сейчас закрою ноутбук и засну.

019.

Вчера ходили с Пашей гулять в парк. Опять молчали. Я внезапно осознала, что не знаю, сколько точно ему лет. Он совершенно несетевой человек, нигде

никакой информации о нем нет. За компьютером его вообще ни разу не видела. А сам он тогда сказал, что он «конечно, старше» меня. Спросила — не ответил. Гуляли-ходили, а потом он меня вдруг повалил в снег, в сугроб. Я даже растерялась — не поняла, что это было. Вот правда, первые секунды не понимала, то ли бояться, то ли сердиться, то ли смеяться. Потом вижу, что он, вроде, тоже не знает. Ну, я жалобно ему говорю — мне же холодно, я и так кашляю! Он протянул мне руку, помог подняться.

С ним я всегда себя чувствую странным образом. Он не гипнотизер и не волшебник никакой. Но я ощущаю в себе полную, полнейшую готовность делать совершенно все, что он пожелает. Непонятное чувство. Я никогда не видела в себе никаких признаков подчинения. Но, наверное, так происходит со всеми женщинами до встречи с кем надо. А когда встреча происходит, начинается подчинение. Но это ведь какой-то архетип получается — женщина подчиняется мужчине. Или что-то наподобие архетипа.

Пока думала об этом, уже полночь. А завтра, между прочим, к врачу к 8 утра.

020.

М-да, Пирожкова общупала мне шею, наговорила каких-то кошмаров про мое дыхание, выругала, что не приходила раньше, направила на флюорографию. Вообще с ума сошла. Я кашляю-то раз в час, а она меня рентгеном облучать хочет. И ведь потребовала явиться прям послезавтра. Хорошо хоть, что я сразу рассказала об этом Паше. Он что-то буркнул и обещал завтра «разобраться». Вообще он такой хороший. Я очень рада, что он пришел сегодня.

А еще я сегодня опять промочила ноги — не заметила большую лужу и ступила в нее. Бедные мои ноги! Ругалась я очень громко. Зато мимо меня шел какой-то мужчина, он услышал мои стоны и сказал: «Девушка, ведь весна, зачем же вы так ругаетесь». Я подняла голову, посмотрела на небо — и правда весна.

021.

Павлик принес липовую справку о прохождении флюорографии, я так смеялась — оказывается, именно это он и имел в виду, когда говорил, что хочет «разобраться». Отнесла Пирожковой — пусть подавится. Ни на какую флюю я сама не пойду.

Работа по-прежнему бесит, но я учусь не обращать на нее внимания. Точнее, бесит не работа, а Ляпина. И даже не она, а то, как она трясется надо всем. Ей тычут в нос арбитражной практикой, а она...

Бог мой! Я в очередной раз сейчас изумилась, как же все поменялось. Еще несколько лет назад я с лупой в руках изучала Рильке, почитывала англичан, а сейчас? Арбитражная практика... Все меняется незаметно, но быстро. Длинные вещи жизни оборачиваются короткими, но от этого менее важными не становятся. Я тут переводила деловое письмо и чуть не разрыдалась, так тяжело дались тупые три абзаца. А все растренировка.

Хочу в Германию. Не была там уже пять лет. Пожалуй, надо изучить вопрос.

024.

Кажется, Паша готовится сделать мне предложение. Он какой-то совсем нервный стал, а сегодня спросил, могу ли я пойти с ним вечером завтра. Я

спросила: куда? Он пробормотал «Потом скажу». Он забавный, он мне очень нравится. Но мне что-то холодно сейчас.

025.

Не судьба: я заболела. Слабость жуткая, встать не могу. И дышать почему-то сложно. Странно — простуда-то давно прошла. Пойду лягу, нет сил.

030.

Сегодня самый замечательный день. Расскажу о нем. Я проснулась почти здоровой и сразу позвонила Паше. Он очень обрадовался и сразу же мне назначил свидание. Потом я открыла окно и проветрила комнату. Свежий воздух весной — это же так замечательно! Градусник показывал плюс двенадцать. Я впервые решила надеть платье. Сомневалась — то ли короткое, то ли длинное. Ну, конечно, остановилась на коротком — кого я хотела обмануть, ха-ха. Пришла в обед на работу, Ляпина тоже обрадовалась, ну а о девчонках и говорить не стоит. Немного поработала, разгребла часть бумажек. Часов в пять звонит Паша — дескать, ты уже свободна? А я еще копаюсь. Ну, пошла к Ляпиной, сказала, что слабая и отпросилась. Вышла, а Пашка сидит в машине, но не в такси. Откуда-то надыбал лимузин напрокат, и это в нашем-то городе... Села к нему, поехали. Привез меня в ресторан, я в нем никогда не ела. Конечно же, он мне сделал предложение в первую же минуту, как мы сели. Достал колечко. Наговорил мне кучу радостей. Я даже не пыталась ломаться — сразу согласилась. Потом мы танцевали. Он так смешно топтался. Мороженое на десерт. Я была довольна.

Вот задумалась сейчас, почему я не пишу, что была счастлива. Потому что я вообще давно не была счастлива, хотя бы минуту. Безусловно, когда-то я испытывала это чувство. А сейчас — нет. Забыла, что такое счастье. И так быстро, за один вечер, пусть и чудесный, вспомнить не смогла. Хотя, кажется, подсознательно пыталась.

Под конец случилось неожиданное. Павлик кое в чем признался. Вероятно, я тогда отреагировала слишком легкомысленно — под влиянием шампанского и музыки. Паша сказал, что он не безработный вовсе. У него бизнес, но что важно — не самый белый. Он якобы все организовал, и контора пашет без него. Поэтому он может со мной шлаться целый день или сидеть вечерами у меня в комнате. Главное, чтобы он мог в любой момент говорить по телефону. А я еще удивлялась, почему он никогда не ругается, когда звонит телефон, даже если он нам мешает? Недоумеваю к тому же, как это он сумел наладить целое дело, с его-то замкнутостью и нелюдимостью? Я уж про деньги не думаю, иначе вообще ничего не пойму.

Я ему задала вопрос: не убьют ли тебя? Он сказал, что нет, и даже посадить не должны. Фиг я ему поверила, конечно. Но, полагаю, если бы риск был побольше, он бы не стал этого скрывать от меня...

Но главное то, что мы сможем сыграть настоящую свадьбу. Я еще не знаю, чего именно я хочу, но Паша обещал, что исполнит любое мое желание. Он сказал, что лично ему ничего не надо, он будет доволен даже простой росписью и ужином в фастфуде. Ну, тут уж, конечно, я его щелкнула по носу, хоть и в шутку. Он меня даже подвел к банкомату и распечатал баланс своей карты. Там реально тьма денег. На свадьбу точно хватит. И это, он говорит, только то, что он может

потратить в эту секунду, а в бизнесе крутятся еще деньги. Кстати, я еще вот подумала сейчас, что даже не узнала, чем занимается его контора... Ну, еще успеется спросить. А еще он весь вечер гладил мои колени — боже, как мне это нравится. Не зря я выбрала короткое платье утром.

031.

Утонула в работе, но на обед выбежала в «Тюльпанчик» — Павлик там сидел. Из двадцати минут процеловались пятнадцать, еще пять заняло обсуждение даты свадьбы, в результате к кофе оба не притронулись. Очень смеялись по этому поводу. Жениться решили вот в ближайшую же дату, когда разрешат. Платье сшить мне успеют, а в загранку никуда не поедем — паспортов у нас нет, у меня как раз закончился, а он и не получал никогда. Пока оформим — весь медовый месяц кончится. Ну, вот потом и полетим куда-нибудь. Я-то хочу в Германию, но там не отдохнешь. А Павлика надо запереть в номере гостиницы и изредка выгуливать на пляже.

Померила температуру — 37,1. Мама сделала чаю.

034.

Ходила на день рождения к Халиловой. Приперлись все — и Савостина, и Щербинкина, и Сошкина и остальные. В результате все напились и стали обсуждать — кого? Конечно, меня. Я вообще молчала! А они трындели и трындели. И это я еще не стала говорить про свадьбу — тогда бы точно про Халилову все забыли, а так нехорошо, все-таки ее день. Я смотрела на девок и изумлялась, как же они резко... постарели, что ли. Но не лицом. Кожа у всех еще на загляденье. А вот интересы у всех уже совершенно иные. Попыталась спросить, а что, мол, читаете? Семь лет назад этот вопрос вызвал бы такое оживление, а сейчас... Щербинкина так и вовсе с гордостью сказала, что после диплома читает только Донцову. Гордится этим, правда! Одна Саркисова что-то буркнула про Лермонтова, но я так и не поняла, зачем он ей... Ребенок, вроде, пока совсем маленький, там Бианки только-только... Ну, хоть Лермонтов. А Халилова спросила, что читаю я, ну и когда я сказала про Пилчер на английском, так она, похоже, задыхнулась от зависти. И понеслось... Вечером я рассказала об этом маме. Она меня поддержала.

035.

Температура по вечерам устойчиво поднимается. Я поняла, что главное: не говорить об этом никому. Мне надо, чтобы просто меня пожалели, а все начинают суетиться, даже П. Собирались в загс, но мне заглохло на работе, я попросила отложить до завтра. Он согласился, я ему минут пять подряд в телефон говорила, как я его люблю. Потом положила трубку и подумала: а ведь не соврала ни в одном слове.

036.

Назначили дату!!!

Вокруг по-прежнему сплошная мерзость, но зато у меня теперь есть эти цифирки, и даже когда на меня орет Ляпина или скулит тупая Шанина, я просто думаю: тридцатое апреля, тридцатое апреля. Говорила с кем-то по телефону, так потом поймала себя на том, что во время разговора ручкой писала на

бумажке: 30.04. И так много раз. Между прочим, ровно через месяц я буду замужем. Раньше, сказали, нельзя, а взятку давать Паша не захотел, да и не надо.

040.

Мы прямо-таки каждый день принимаем поздравления. Вначале сообщили моей маме. Потом его родителям. Везде все было так мило. Сегодня он созвал своих приятелей в бар и сказал им. Я чуть не помирала от любопытства, с кем же он дружит — но в результате я так ничего и не поняла. Пришли какие-то унылые невнятные личности, сидели тихо, говорили мало, хотя каждый выпил литра по три пива. Подозреваю, что они меня слегка стеснялись, а может и не слегка. И имена-то у них совершенно безликие — Саша, Леша, Сережа... Хоть бы ради интереса какой-нибудь Федя или Вася объявился. А завтра ко мне придут девки — мы долго решали, и в итоге будет именно так — они придут, и мы поговорим с ними дома. Пашкиным-то друзьям все равно, я так поняла. Ну, порадовались, ну, поздравили, но им явно нет до нашей свадьбы такого дела, как девкам. Что будет, когда они узнают, страшно представить! Но сказать-то надо, поэтому я и решила, что лучше им это объявить на своей территории. Позвонила всем, пригласила якобы в гости, но придут только Щербинкина, Тихоненко и Овсепьян — у всех остальных какие-то дела, но это и хорошо. Нас двое с П., и их трое — силы почти равны. Хорошо, что Халиловой не будет.

041.

Давно не писала — но, если честно, вообще не знаю, о чем. По утрам ненавижу всех, ничего не хочу. Наверное, если бы мы жили с Пашей, ему бы тоже доставалось. А так он появляется к концу дня, когда все уже хорошо. Бегаем по магазинам и прочим ресторанам, выбираем мне платье и разную лабуду. Недавно прочитала фразу: «Я девочка. Я ничего не хочу решать. Я хочу платье». Фиг-то там — ничего не решать. Кто ж решит за меня, какое платье мне нужно? А ближе к ночи мне становится плохо, и я прошу Павлика оставить меня, но о причине молчу.

042.

Осталось две недели, как говорит мама, все идет как положено, но я не очень в порядке. И никак не могу понять, что именно. Вроде, не болею (температура по ощущениям не поднимается, а мерить не меряю — боюсь), вроде, Паша себя ведет просто как шелковый, да и замуж-то я хочу, на работе затишье, а все равно задница не на месте. Пытаюсь понять — не понимаю. Слушаю внутренний голос — он, сволочь, молчит.

Вчера с П. говорили о том, где нам жить после свадьбы. Он прямо сказал, что ему все равно. Мне иногда кажется, что ему вообще на все плевать, лишь бы я никуда не делась от него. А я еще недавно об архетипах думала... Удивительно. Как-то резко это контрастирует со всем остальным, что со мной происходило раньше. Поэтому решать мне — кошмар! К вопросу о платье... А я думаю, что, конечно, отдельно это хорошо, благо деньги-то есть, но вот тут внутренний голос включается и говорит, что никуда не надо дергаться из дома. Почему — не знаю. Сказала об этом Паше, он пожал плечами — если, мол, ты точно этого хочешь, я не против. И подмигнул: а у тебя мама хорошо слышит? Я, конечно, понимала, что этот вопрос встанет, но почему-то оказалась не готова к нему и

покраснела ужасно. Сейчас-то что, наши игры, от которых у меня уже крыша едет, проходят всегда под музыку, да и вообще все беззвучно. А потом? Что-то я размечталась.

043.

Вчера приходила Халилова. Проболтали с ней часа четыре, аж до полуночи, такси пришлось ей вызывать. Тет-а-тет она показалась совсем другой. А точнее, как раз наоборот, той, которую я помню. Когда мы поступали вместе. Такая тоненькая была. Ну, сейчас, конечно, тоже не толстая, но все-таки крупнее. То, что называется «раздалась». Жаловалась на мужа, на отца, на любовника, на сына. На всех мужиков, короче. Я пыталась ее выслушать с пониманием, но от ее речей мне становится дурно. Наверное, я излишне эмоциональная, но когда она подробно описывает, как утром — муж, в обед — любовник, вечером гуляет с сыном, который капризничает, а поздно вечером она звонит отцу, и тот тоже что-то не то ей говорит, меня просто тошнит. Хотя в лицо я стараюсь ей сочувствовать. Неужели меня ждет то же самое? Я думаю, что все предзамужние задаются такими вопросами, общаясь с теми, кто замужем неудачно. Но от того, что вопрос вечен, он не перестает мучить.

Напоила ее вином и отправила на такси. Утром она написала, сдержанно так, что добралась нормально.

044.

Опять долго не писала. А между прочим уже послезавтра...

Успела снова немного поболеть и выздороветь. Не знаю уже, что делать, чтобы не простужаться. На работе убегаю, как только открывают окна. Сплю в пижаме и с закрытыми окнами. Но где-то все же продувает.

Еще месяц назад мы с П. составили список дел, которые надо сделать. Пару дней назад в очередной раз просмотрели его — все сделано. Вот буквально все. За все заплатили, всех позвали, все купили, все заказали и везде все подтвердили. Скучно даже! Я даже вчера пошутила — надо теперь все отменить, кроме получения свидетельства о браке, вот все посмеются! П. так посмотрел на меня, я аж осеклась. Но он ничего не сказал.

Вероятно, я тут уже больше ничего не напишу в девичестве, завтра будет некогда, надо будет ездить по делам. Кстати, от девичника я отказалась, нечего тратить деньги, я не хочу ничего, лучше завтра просто с мамой посижу поговорю. Все девки и так придут. Так вот, я, вроде, должна подводить итоги, а не хочу. И перечитывать ранее написанное-напечатанное не хочу. Незачем перечитывать и нечего подводить. Выучила два языка, окончила один универ, три раза ездила в Германию, один раз в Сеул. Вот, пожалуй, и все. Но это не считая Паши, а лучше Паши нет ничего и никого в жизни. И при этом, если вдруг ко мне явится какой-нибудь бес, мелкий или крупный, я с удовольствием все прочее отдам, если так надо будет ради Паши или наших отношений.

Что-то я себе не нравлюсь.

046.

Утром в день свадьбы я проснулась и пошла умываться. Почистила зубы, потом сплюнула, опустила глаза... а там все красное. От крови. Я прополоскала рот и снова выплюнула — и снова кровь. Я выключила воду и стояла минут пять,

глядя на красные следы. Это что, какой-то символ? Потом включила и стала умываться дальше.

047.

Не знаю, нужно ли вообще что-то описывать? Это же, в конце концов, не летопись. Все было как будто за занавеской. Я все слышала и в целом представляла, что происходит, но никаких подробностей рассмотреть не могла. Потом мне сказали, что все прошло «хорошо», все довольны, особенно родители с обеих сторон. Хорошо — и хорошо. Вроде бы никто не упился, не подрался, а подарки уместились в один конвертик. Паша попросил, чтобы я его положила к себе в сумку, и пока он о них не вспомнил. Я их спрятала в секретер.

Я спросила, когда будут фотографии, и тут-то выяснилось, что их не будет вообще, потому что фотограф по дороге к нам упал и сломал себе то ли руку, то ли ногу. Поэтому нас не фотографировали. Да и фиг с ним. А вечером мама сказала: «Ты не против, если я поеду ночевать к тете Тане?» Такая смешная. Но я не захотела ставить ее в еще более неудобное положение и сделала озабоченное лицо: «А тебе там точно будет удобно?» Мама сказала, что да, ну и мы ее «отпустили». Как это грустно — мы обе понимали, зачем она уезжает, но вида не подали, а если бы я сказала, что, мол, мама, ты никому не помешаешь, она бы смутилась, потому что поняла бы, что я в курсе ее намерений — и почему простая открытость может так смутить?

А вечером Паша велел мне снять платье, лечь на спину, поднять ноги вверх и вытянуть их вдоль стены. Потом он выключил свет и стал вести пальцем по левой ноге от самого паха вниз (или вверх? ноги-то я задрала) и шептать: «Направо и вверх, потом легкий изгиб, колени почти смыкаются, потом налево и сразу же направо, теперь еле ощутимое возвышение и медленно, но уверенно врозь...» И что-то еще шептал, но я все-таки устала и была чуть подшофе, поэтому скоро уснула, хотя мне все это ужасно нравилось. Мама могла бы и не уходить никуда. А может я просто ничего не помню.

049.

Получила новый загранпаспорт!!! А Паша почему-то отказался его делать.

050.

Столько дел — вообще некогда писать. Уже месяц, как мы женаты. Все очень хорошо, но я так устаю, просто безумие какое-то. Не хватает сил ни на готовку, ни на уборку, ни, тем более, на дневник. Хорошо, что Паша всегда дома, помогает. Он никуда не ходит, но деньги дает исправно. Мама, наверное, вообще ничего не понимает. Как и я, впрочем. Вчера П. предложил провести в квартире интернет. Я замахала на него руками — совсем, мол, ополоумел? Я и так дома все время лежу, хорошо, если просто лежу, не сплю. А общаться нам когда? Он, кажется, даже слегка испугался моей реакции. Мне-то, говорит, и не надо, я о тебе думал. А мне всего этого мельтешения в глазах выше крыши хватает на работе. Если что-то срочно надо — как всегда возьму ноутбук и пойду в кафе.

051.

На следующий же день после предыдущей записи пришла домой вообще никакая, померила температуру — 38,5. Улеглась и сказала, что никуда не пойду

больше. Паша вызвал врача. Пришла Пирожкова — боже, как я надеялась, что придет кто-то другой. Она меня запомнила и опять долго ругалась, что я так себя «запускаю». Снова щупала мне шею, больно. Она сказала, что у меня могут быть настоящие проблемы. Я попросила ее ничего не говорить маме и Паше. Она с недовольной физиономией обещала. Сказала обязательно мне сходить на общий анализ крови. Я ответила, что когда поправлюсь, сразу схожу. Она погладила меня по руке. Хорошая такая. Я же вижу — переживает за меня, а не просто кобра. Да и лет ей немного, когда она мне выписывала направление на анализ, я от нечего делать рассматривала ее лицо. Совсем еще молодое. Шея красивая. Я спросила: «А вы замужем?» Она аж вздрогнула. Нет, говорит, никогда, а сейчас уже поздно. Я говорю: «Вы такая красивая, что ж поздно-то?» Она: «Замуж-то как раз давно опоздала. Это вот для любовников не поздно, вот у меня их и...» — тут она осеклась и улыбнулась. «А я вот два месяца как замужем. Со мной же ничего не будет?» — спросила я. Пирожкова усмехнулась и ответила: «Вот анализ сдашь, и поговорим».

А когда она ушла, в комнату зашел Павлик и сказал очень, очень, очень странную вещь. Он сказал: «Я тебя вообще ни о чем спрашивать не буду. Никогда». Но тон его был совсем не злым. Думаю, он имел в виду, что я сама ему должна буду рассказывать обо всем, что сочту нужным. Но неужели он знает что-то, чего не знаю я?

053.

Сегодня очередная годовщина папиной смерти. Ездили на кладбище с самого утра — благо погода хорошая, солнце светит, Паша вызвал такси и мы довольно быстро смотались туда-сюда, я даже на работу не опоздала. У могилы мама держалась бодренько, только повторяла, как заклинание: «Девять лет, девять лет, девять лет», и на обратном пути молчала, ни звука не проронила. В тот день все было совсем иначе — лил дождь, и папа еще сказал что-то типа «ну вот, на футбол не пойдем, раз такой ливень». А потом упал, и... И все кончилось, и футбол, и песни, и вообще все на свете. Не понимаю, как мама это смогла пережить. Одно дело, если бы долго болел, а то вот так мгновенно... Ну, потом выяснилось, к каким врачам и как часто он ходил. Но выглядел-то он здоровым и могучим. И как раз вскоре после папы я читала у Набокова, как отец главного героя наклонился в каком-то магазине, а когда поднялся, в его голову уже летела ревущая красная масса — инсульт то есть. Шок, я сутки не могла прийти в себя. С тех пор вообще не могу читать Набокова. Блокировка.

054.

Утром написала заявление на отпуск, но у Ляпиной сразу не подписала. А днем ошиблась в платежке. Ляпина вызвала меня к себе и занудно рассказывала, какая я невнимательная и как плохо, что за мной часто надо все проверять. А потом внезапно сказала: «Я же не хочу тебя увольнять, мы тебя все любим. Пожалуйста, попробуй быть повнимательнее». Встала, обогнула стол, подошла ко мне и провела рукой по моим волосам. Я чуть не заплакала там, так неожиданно это было. Стала сбивчиво объяснять, что все время болею, вот иногда и не могу сосредоточиться. В итоге все же разревелась. Ляпина смотрела на меня, и в ее глазах читалось, как же ей все осточертело. А мне вот чем дальше, тем больше хочется быть полезной. Обещала, что постараюсь все делать хоро-

шо. Подсунула заявление. Ужасно не вовремя, конечно. Но Ляпина только вздохнула — отпустила.

055.

Такие прекрасные недели! Дача, река — просто чудесно. Паше, правда, дважды приходилось возвращаться в город, но оба раза он возвращался на такси в районе часа ночи. Я говорила — зачем, переночевал бы дома, наутро бы приехал. А он — нет, я не хочу спать без тебя. Хочется похвастаться таким мужем, но некому.

А на даче, правда, замечательно. Сделала столько фотографий! Даже писать тут ничего не буду, через три года, через пять посмотрю фотки — и все сразу само вспомнится.

058.

Вчера наводила порядок на столе, взяла стопку разных бумажек, стала их разбирать — и нашла направление от Пирожковой. Вот блин! Так и не сходила. А сегодня пошла. Ну, кровь-то сдала, а Пирожкова сама в отпуске. Теперь до августа. Хорошо хоть, что медсестра обещала вложить анализ в мою карту. Кстати, еще о здоровье — странные синяки у меня на теле. Точно не из-за Павлика, те места, где синяки, у нас никак не задействованы. Хотя Павлик знает свое дело, это факт...

059.

Внезапно поднялась тема детей. На меня устроили облаву — мама и Паша. Стали спрашивать, что я об «этом» думаю и когда они могут «рассчитывать». Странно! Как будто Паша тут ни при чем. Очень, очень меня разозлили. «Решайся уже», — кто-то из них сказал, а кто — не помню. Почему я должна все решать? Я девочка. Я ничего не хочу решать. Я хочу в Берлин.

060.

С прошлой поездки у меня осталось совсем немного фотографий. Только что в очередной раз посмотрела их. Это волшебный город. Его красота неопишима, а его атмосфера неуловима. Пока ты там, то летишь и просто упиваешься счастьем, а когда уезжаешь, то ощущаешь себя кучей игральных карт, которая только что была красивым домиком. Надо обязательно на этой же неделе сходить в турагентство. Павлик обещал исполнить любой мой каприз — вот тут я его и поймаю на слове. Пусть дает деньги и отпускает меня.

062.

Я почему-то проснулась очень рано, еще шести нет. Настроение — отличное! Я даже вытащила ноутбук на кухню, чтобы сразу написать об этом. А то вдруг к вечеру забуду! Сейчас сварю кофе и, наверное, пойду пешком на работу, уж больно хорошее утро, надо размяться.

064.

Сажу на работе, сажу, никого не трогаю, вдруг орет мой мобильный. Никто не должен звонить. Я перепугалась, беру трубку. А это Пирожкова. Оказывается, она вышла из отпуска, почему-то вспомнила обо мне, посмотрела мою карту и

нашла там анализ. И вот вызывает к себе. Я спрашиваю — когда? Она — завтра в 7:45 утра, у меня с восьми прием, уже все занято-расписано, но ради тебя приду пораньше. Я спрашиваю — а откуда у вас мой номер, на карте-то сотовый вряд ли записан? Она чуть не матом — да уж пришлось проявить смекалку и полезть в интернет, я же хорошая девочка (так и сказала) и помню, что ты просила не сообщать ничего твоей матери и мужу, вот и не стала звонить домой. Стыдно, стыдно ужасно.

А Шанина беременна! Сегодня объявила, мы все почему-то обрадовались очень. Не знаю, кто как, а я — действительно искренне. Она, конечно, иногда невыносима, но ведь все мы порой такие. Зато у нее доброе сердце и она вообще замечательная мама, дочка ее просто обожает, а как они похожи мимикой — ужас! Бывает же такое!

065.

Пирожкова была вялая и потухшая. Не выспалась, наверное. Сказала, что у меня очень мало тромбоцитов и эритроцитов, а лейкоцитов наоборот много. Я спросила, чем это грозит, она проворчала, ничем, мол, хорошим, но потом внятно ответила, что надо пойти к гематологу и там все будет ясно. Только, говорит, не тяни три месяца, как с этим анализом. Спрашивает, взвешивалась ли я за последние пару месяцев. Я — нет, но я и так знаю, что похудела. Пирожкова аж глаза закрыла, но ничего по этому поводу не сказала. Иди, говорит, срочно, можно к платному, чтобы поскорее. Я спросила, есть ли у нее номер телефона — ответила, что да. Я прямо из ее кабинета позвонила и записалась. Послезавтра пойду.

Почему-то неплохое настроение было после Пирожковой (да и сейчас такое же). Равновесие не нарушено. Верю, что все будет так, как надо. А еще оказалось, что клиника и турфирма на соседних улицах — ура, прямо от врача зайду и все разузнаю про Берлин.

066.

Не знаю, что теперь будет и как себя вести.

067.

Уже несколько дней в голове вертится одно и то же слово. Страшно его написать, а надо. Я его уже слышала, произносила вслух и читала на бумаге. А вот писать пока не писала нигде.

Лейкоз. Какая-то лейка. Или коза.

Каждый день хожу к врачам, хорошо хоть, что все принимают по утрам и никто ни о чем не догадывается. Каждый день узнаю что-то новое. Теперь ясно, что и синяки, и утомляемость и прочее — все оттуда.

Это что же получается, я доигралась? А почему тогда я спокойна и практически расслаблена? Нет, такого быть не может.

Никакого отчаяния.

068.

Теперь мы с Павликом просыпаемся одновременно. Не знаю, как так получается. Раньше он всегда спал, когда я уходила на работу. А сейчас я просыпаюсь — а он уже на меня смотрит. Молча смотрит. Кажется, он все знает и все

понимает. Только верен данному слову ни о чем меня не спрашивать. А я вывалить наружу это не могу. И не смогу.

069.

Господи, какая же красота на улице! Мне так нравится. Кажется, еще никогда не получала столько удовольствия от простого бабьего лета. Жаль только сил все меньше — физических, самых обычных. А еще люди вокруг хорошие. Улыбаются мне. Неужели я только сейчас стала замечать, как часто люди улыбаются? Или сейчас что-то переменялось?

070.

Действовать надо быстро. Это совершенно ясно.

071.

Сегодня получила анализы. Это кажется невероятным, но, похоже, все. Врач удивился, что при терминальной стадии я так хорошо выгляжу. Я порадовалась.

072.

Павлик спит, мама спит. Я специально дождалась, когда они оба уснут, хотя это было и непросто. Хочу расписать свой план, чтобы понять, есть ли слабые места. От лечения здесь отказалась. С работы уволилась. Для Германии все есть — виза, билеты, бронирования хостелов. До Москвы, к счастью, удалось взять самый дешевый билет. Вылет послезавтра. На Берлин дешевых не продавали, пришлось купить до Дюссельдорфа, ну да ладно. Поживу пару дней в Дюсселе, потом поеду в Берлин. Погуляю там неделю, сяду в поезд и через Польшу и Белоруссию вернусь в Россию. Правда, из Бреста до Москвы билета на поезд нет, но, думаю, это не проблема, лишь бы деньги остались. Потом в самолет — и до Томска. Там уже ждут, с кадрами у них всегда проблема, как говорят. Денег на съём комнаты отложила месяца на четыре, а дольше и не понадобится. Постараюсь назваться чужим именем — написала мужу Халиловой, он давно заглядывался на мои ноги, попросила в «Фотошопе» вставить мою фотографию в чужой паспорт. Он сделал, вчера прислал, обещал молчать. Вывела на печать, получилось достоверно — будто ксерокопия. Ха-ха, я теперь Людмила Анатольевна Чижевская, Люся. Жаль, что не Люстра. При устройстве в Томске сделаю морду кирпичом и скажу, что оригинал паспорта принесу завтра, а там, глядишь, и забудется. А когда мне станет совсем плохо, куда ж они денутся — положат, хотя говорят, что свободных мест никогда нет. Ну, мне все равно, хоть в коридор пусть кладут.

Самое главное — не растерять силы до Томска. Просто молюсь за это. Я и так из последних сил не падала на работе. Но на адреналине, наверное, выдержу. Вчера, например, я даже не прочь была потанцевать. А еще я замазываю все синяки, чтобы мама не увидела. От Паши-то бесполезно скрывать, он все видит.

Я постоянно думаю, правильно ли я поступаю, обрекая маму и Пашу на такое. Они же ничего не будут знать. И очень вряд ли узнают — по крайней мере, пока я жива. А что потом — мне все равно. И все-таки мне кажется, что я права. Мама вряд ли выдержит, если будет наблюдать за мной, так сказать, в режиме онлайн. Да и вообще, после папы-то... Лучше уж потом как-нибудь. Может, кто-

то обнаружит эти записки. Я для нее пропаду, поначалу она будет надеяться, что я вернусь, потом надежда угаснет, и даже если кто-то отыщет меня, это не станет для нее ударом — она будет морально к нему готова. Но лучше, если никто меня никогда не найдет.

А Павлик... Он делает для меня абсолютно все. Такую кучу денег мне отвалил в последнее время, с ума сойти. Вначале на эту поездку, потом на лекарства. И ничего не спрашивает — что, зачем. Ну, я-то отчитываюсь, конечно. Показала все билеты: до Москвы в одну сторону, до Дюсселя в обе. Могла бы взять до Дюсселя тоже в один конец, но я вовремя додумалась так не делать — взяла в оба, слегка запутываю следы, да и подозрений меньше. Он спросил, где, мол, билет домой из Москвы. Я сказала, что проблем не будет, возьму перед отъездом, так как может еще там погуляю. Павлик мрачно спросил: «А хочешь я за тобой прилечу в Москву?» Я сказала, что это отличная мысль, а дату определим потом. Он вроде успокоился. Деньги на лекарства пока удастся тратить втихаря.

Почему я не могу ему сказать правду? Потому что он меня не оставит. Отговаривать не будет, но и не оставит. Попрется со мной в Томск и будет сидеть на лавочке у входа до конца. А я буду мучиться совестью, что он страдает. И не смогу сосредоточиться.

Вроде, все в целом хорошо. Вопрос лишь с Томском, но там уж как пойдет. В конце концов, вернуться домой я всегда смогу, а так хотя бы сделаю попытку не возвращаться.

Это удивительное ощущение. Послезавтра вылет. Послезавтра, как я думаю, я в последний раз увижу маму и Павлика. А на душе спокойно. Наверное, именно поэтому я и сбегаю от них. Не только от мамы и П. От всех. Я наконец-то научилась радоваться. Мне нравится жить. Я счастлива. Я просыпаюсь — и я счастлива. Я счастлива, что меня много раз в день целует любимый муж. Я счастлива, что мама жива и здорова. Я счастлива, когда читаю хорошую книгу. Я счастлива, что Шанина скоро родит — она этого так ждет. Я не хочу это терять.

Это, конечно, полнейший бред, но лишь сейчас, на фактическом рубеже, я не только узнала, как это все здорово и замечательно, но и научилась применять новые знания на практике. Я оглядываюсь — как же мало людей способны на это же. Но я не могу всех начать убеждать личным примером — кто же поверит, что я могу быть абсолютно счастливой и довольной жизнью с таким диагнозом. А просто твердить всем подряд «жить — хорошо!» глупо. Мне начнут рассказывать о своих проблемах, из-за которых якобы невозможно сполна радоваться жизни.

В Томске, конечно, все пойдет иначе — там начнутся боли и несчастья. Но это будет совсем другая реальность. Трудная, но временная. А моя постоянная реальность навсегда останется солнечной и улыбающейся. Никто не будет плакать и жалеть меня. Я уйду, а перед глазами пусть стоят не опухшие от слез лица, а радостные и счастливые, как и я сама. И пускай радость останется лишь в воспоминаниях, а не будет меня окружать на самом деле — пускай. Обойдусь. Да и им легче — запомнят меня веселой и беззаботной, а не высохшей, плачущей и попросту мертвой.

Сегодня шла домой и почему-то вспомнилось стихотворение Рильке, которое когда-то учили и переводили:

Daruber hangt der Himmel brach und breit.
Es blinkt das Schloß Und langs den weiß en Wänden

hilft sich die Sehnsucht fort mit irren Händen...

Die Uhren stehn im Schloß: es starb die Zeit¹.

Вот я и сбегая из этого замка. Мое время еще не умерло.

7.

Переводчица встала из-за стола. Спина ныла, ноги затекли, глаза слезились.

За окном еще было совсем темно. Глянула на правый нижний угол монитора — три часа до официального подъема. Конечно, маловато, но лучше три, чем ничего. Переводчица пошла умываться.

Вика. Вот так Вика. Вот так красное не очень стильное платье.

В ванной комнате Переводчица посмотрела на себя в зеркало и вслух обратилась к Вике: «Молодец! Ты просто мо-ло-дец!»

Скользнула в комнату, нырнула под одеяло, муж, еле слышно сопящий, мгновенно обнял ее, как будто ждал наизготове.

Сон не приходил. Мысли не исчезали.

То, что Вера Антоновна и Павел ничего не узнали, мало о чем говорит. Удалось ли ей доехать до Берлина, а потом на поездах до Москвы? А до Томска долетела? Взяли ли ее на работу без оригинала паспорта? Если да, как сложилось у нее там?

Переводчица незаметно уснула. А пробудилась с железной уверенностью: у нее все получилось. Вика, *такая* Вика, не могла сдать и отступить от плана.

Муж ушел на работу. Дочка вела себя тихо. Промаявшись в сомнениях пару часов, Переводчица под села к компьютеру и стала искать адрес и телефон того самого учреждения в Томске. Нашла.

«Добрый день». — «Здравствуйте». — «Можно ли пообщаться с кем-нибудь из администрации?» — «А кто спрашивает?» — «Это... э-э... двоюродная сестра Людмилы Чижевской. Вроде, такая работала у вас». — «Вы можете поговорить со старшей медсестрой, но она сейчас занята. Перезвоните через полчаса». — «А она точно будет? Как ее зовут?» — «Да, она обязательно будет. Я скажу, по какому поводу вы звоните. Ее зовут Ольга Владимировна». — «Может быть, вы сможете ответить...» — «Нет, нет. Лучше с Ольгой Владимировной». Гудки.

Мучительно прошли тридцать минут.

«Здравствуйте, Ольгу Владимировну, будьте добры...» — «Я слушаю». — «Здравствуйте, это родственница Людмилы Чижевской. Она собиралась устроиться к вам на работу. Было такое?» — «А в связи с чем вы спрашиваете?» — «Дело в том, что мы, ее семья, ничего о ней не знаем. Тут почти детективная история получается. Да и звать ее на самом деле не Людмилой...»

Далее говорила одна Ольга Владимировна. Переводчица слушала, изредка угукая и зачем-то кивая головой. Наконец разговор завершился.

Цепь замкнулась. Никаких мало-мальски значимых тайн не осталось.

Оставалось решить, как ей, Переводчице, следует поступить.

Вика не хотела, чтобы ее находили. Она сделала все, чтобы сбежать, скрыться, пропасть без вести. Наверное, если бы она хотела порвать абсолютно все

¹ Сверху нависает небо, невозделанное и широкое.

Замок мерцает. Вдоль белых стен

тоска помогает себе двигаться дальше с помощью безумных рук.

Часы в замке стоят: время умерло (*нем.*).

нити, она бы удалила из компьютера папку «Nacht fur Nacht». Так что не исключено, что это все-таки зацепка. А может она просто-напросто не предполагала, что кто-то всерьез будет копаться в ее ноутбуке, запрятала-то она все очень глубоко.

С другой стороны, разве Вера Антоновна не имеет право знать, что же на самом деле произошло с ее дочерью? Разве ее не утешит, в каком настроении Вика уезжала — с какой любовью к миру и к людям, с какой заботой о ней и о моральном состоянии своей мамы? Как отреагирует на такие вести незнакомый Павел, Переводчица не могла вообразить. Он, очевидно, очень своеобразный человек, но ведь он очень любил (наверное, и по сей день любит) Вику. Будет ли правильно оставить его в неведении?

И, как бы то ни было, должна ли она рассказывать все это своему мужу?

Переводчица взяла в руки мобильный телефон, нашла в списке последних вызовов номер Веры Антоновны, подошла к окну и снова задумалась.

1.

Сумка оттягивала руки, и Вика кляла себя за то, что пожалела денег и не купила чемодан на колесиках. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...» — в этот момент Вика отвлеклась на какую-то свою мысль и прослушала, какая же станция следующая. Пришлось обращаться с этим вопросом к рядом стоящему парню. Тот, хотя ничего не читал и не слушал музыку, как оказалось, не был готов к ответу. Пришлось повторять. «Станция... Не знаю. А что?» — с туповатым видом сказал парень. Вика сердито хмыкнула и замолчала. Оказалось, что именно на следующей, на «Охотном ряду», ей надо выходить, чтобы сделать пересадку. Очутившись на «Театральной» и встав на нужную платформу в ожидании поезда, она снова обнаружила рядом с собой этого молодого человека. Он, как видно, немного вернулся в действительность — по крайней мере, на Вику поглядел очень осмысленно, пусть и весьма мрачно. Они вместе зашли в вагон и встали друг рядом с другом. Поезд тронулся.

Молчание не могло не нарушиться, однако это случилось далеко не сразу — прошло минут пятнадцать. Состав стремительно вылетел из тоннеля и заскользил по наземному участку, и лишь тогда Вика решилась заговорить с ним. За это время ее случайный спутник пару раз закрывал глаза и немного покачивался — сам, не от вагонной тряски. «Что с вами?» — спросила Вика. Он ответил, не поднимая глаз от пола: «Все». — «Что — все?» — «Я все потерял». — «Расскажите?» — «Не могу. Невыносимо об этом думать». — «И что вы теперь будете делать?» — «Не представляю».

Поезд снова въехал в тоннель, слышимость резко ухудшилась. «Но ведь вы живы», — прокричала Вика. «А какой смысл, если уже ку-ку?» — парень поднял бровь. — «Вы не понимаете! У вас же есть... вы!» Он махнул рукой. «Я тоже все потерял! Но я, в отличие от вас...» — «А у вас-то что?» — едва ли не насмешливо спросил он. — «Все, — молвила она, не заметив, как разговор пошел по второму кругу. — У меня по-настоящему ку-ку». Вика больше ничего ему не сказала, и лишь выходя на «Домодедовской» (парень остался в вагоне), бросила едко: «Бедняжка». Он вздрогнул и уехал в небытие.

Вика остановилась в центре платформы, стала всматриваться в указатели, чтобы не ошибиться с выходом в город.

Евгений Шкловский

Дорога к дому

Рассказы

Где живет Иисус

Человек должен кого-то любить. Ну хоть кого-то... А ведь далеко не всегда и не каждому это удается. Особенно если это относится к другим людям, а не, положим, к кошечкам или собачкам. М., в то время студент-медик, сам признавался, что не испытывает ни к кому ничего даже похожего. При этом он высоко поднимал густые темные брови, сам как бы удивляясь странному казусу, или иронически кривил губы, демонстрируя тем самым свое недоверие вообще к данному феномену. Впрочем, наверное, и в этом отношении есть одаренные люди, допускал он, особенно женщины (в литературе много примеров), но и здесь человек скорее выдает желаемое за возможное.

Вот и выходило по всему, что едва ли не основная среди человеческих ценностей, — не более чем миф, порожденный глубинной потребностью тоскующей души и тем не менее остающийся неким недостижимым идеалом. Если угодно, миражом. Разговоры на эту тему завязывались у М. в основном с женщинами, которым, вероятно, не хватало в нем чего-то именно такого, романтического. Он, впрочем, и не думал этого скрывать, то есть был по-своему честен. Женщины же подозревали фальшь, лицемерие, иные обижались, иные пытались его разубедить.

Казалось бы, нет и нет, что ж поделать? В конце концов, вовсе и не обязательно именно любить, можно и просто делать людям добро, приносить пользу, без всяких обоснований. М., между прочим, и в медицину подался, чтобы доказать это себе (а может, и не только). Однако хотелось большего. Чтобы непременно и любовь — и в отношениях с женщинами, и к пациентам, и вообще. Так его во всяком случае воспитали: непременно должно быть некое идеальное начало, которое, собственно, и делает человека человеком.

Временами потребность в этом настолько обострялась в душе М., что он начинал метаться от женщины к женщине. И все равно не получалось. Увлечение, страсть, жалость, все что угодно, но только не любовь. Было от чего впасть в отчаяние.

Шкловский Евгений Александрович (р. 1954) — прозаик, критик. Автор нескольких книг прозы. Живет в Москве. Последняя публикация в «ДН» — № 6, 2012.

М. то впадал, то смирялся. А то с ним случались и совсем иного рода странности.

Как-то зашли с приятельницей, большой любительницей живописи, в Третьяковскую галерею в Лаврушинском, даже не на какую-нибудь модную выставку, а просто так, приобщиться к культуре. Бродили, смотрели на знакомые с детства полотна, и вдруг...

Иисус сидел на камне, сцепив перед собой бледные кисти, длинноволосый, с заостренными чертами худого, обросшего бородой аскетичного лица, в темном рубище, полы которого касались земли, глаза опущены долу. Усталый путник присел отдохнуть, в скорбном лице усталость и печаль...

И так эта сгорбленная фигура, это изможденное лицо тронули М., что он надолго застрял перед картиной, тогда как спутница его давно уже перешла в другие залы.

Он стоял и смотрел. Багровеющее закатное небо на горизонте вселяло в сердце тревогу, однако душа наполнялась совсем иным — каким-то живым горячим чувством. То ли настроение было такое, то ли еще что, но какие-то затаенные струны вдруг в нем запели. Нет, верующим М. не был, хотя Новый Завет читал, история эта была ему известна.

Теперь он видел перед собой того, про кого там было написано. И его тянуло к нему, как если бы то был родной ему, очень близкий, страдающий человек, хотелось дотронуться, положить руку на плечо...

С тем он и удалился, даже не предупредив спутницу. Прощмыгнул через залы к выходу, стараясь остаться незамеченным, — лишь бы не расплескать, не растерять внезапно запавший в душу образ. Была ли это сила искусства или так называемое откровение — сказать трудно, только душа его трепетала, и были в ней нежность, сострадание и еще много всего, а самое удивительное — какая-то радостная надежда. Надежда на что? Этого он бы и сам не смог сказать, но так ему было хорошо, так приятно волнительно, что нужно было непременно остаться одному.

Исчезновение его, естественно, незамеченным не осталось. Тем же вечером он отвечал по телефону приятельнице, что прихватило живот и он вынужден был уйти. Почему он ссылаясь на недомогание, а не рассказал все честно — тоже вопрос. Только ведь как об этом рассказывать? Что вот увидел и что-то такое вдруг почувствовал, небывалое (что?). Да и поняли ли бы его, если он сам пока не понимал?

И не то чтобы М. сомневался в своей приятельнице. А может, даже и сомневался, никогда они столь призрачные материи не обсуждали, это ведь не про фильм какой-нибудь и даже не про стихи. Ведь и посмеяться могут.

Впрочем, его это не очень беспокоило. Приятно было, что теперь у него есть нечто свое, заветное. Стоило вспомнить картину, как на душе сразу становилось теплее. Вот ведь как, оказывается. И Христос на картине как бы вовсе не на картине, а в реальности, и скалы вокруг, и закат (или заря?) — все жило в душе М. своей самостоятельной жизнью, и он чувствовал себя так, словно в нем родился совсем другой, новый человек.

Нет, М. не думал ни про Новый Завет, ни про апостолов, ни про Понтия Пилата, ни про Голгофу... Ничего *оттуда* до него не доносилось, никаких отзву-

ков, только Иисус, сидящий на камне, крепко сцепленные худые пальцы, спадающие длинные волосы, бледно-смуглое изможденное лицо...

С тех пор как это случилось, воды утекло достаточно. М. работал в клинике и считался хорошим, знающим, внимательным врачом, что, согласимся, большая редкость. Он по-прежнему жил один, поскольку так и не нашел той, которая бы пробудила в нем чувство с большой буквы. Нет, ничто его насчет любви так и не переубедило.

«Ты просто максималист, — пытались с ним спорить. — Ты ждешь пожара, а на самом деле это может быть всего лишь маленький, совсем крошечный огонек, который, однако, все равно согревает и освещает. Между прочим, любовь может быть почти не отличима от обычной привязанности или простой симпатии, но так ведь и это немало».

М. кивал головой, как бы соглашаясь, однако оставался при своем: ему это чувство недоступно. Ну обделила природа, ну инвалид, хотя кто может точно сказать, где здесь норма. Многие только имитируют, выдают желаемое за реальное, а он не хочет себя обманывать. И жить с другим человеком без этого тоже не рискнул бы, потому как ни к чему хорошему такое сожителство не приводит.

Между тем он все больше и больше становился анахоретом. С родственниками он почти не встречался, женщины у него появлялись редко и быстро исчезали, друзья расплзлись... Его это, впрочем, нимало не удручало, поскольку хватало коллег и пациентов. Конечно, не дружеское общение, но все равно. Так уж все складывалось по жизни, ну и ладно. А в общем все у него было — работа, музыка, спорт, кино... Не прочь он и выпить был уединенно, причем с нескрываемой самоиронией называл эти одинокие возлияния общением с умным человеком. Да и прогуливаться он предпочитал в одиночестве.

В какой-то момент М. вдруг вспомнил, что забыл поздравить с днем рождения давнего школьного приятеля, с которым они в свое время были довольно близки, вместе путешествовали, выпивали, кадрили девчонок... Постепенно встречи становились все реже, у приятеля появилась семья, сын, свободное время он посвящал в основном им. С М. они довольно часто перезванивались, обменивались новостями, обсуждали всякие события. Ну а в дни рождения поздравительный звонок был просто неотменим, им как бы подтверждались проверенные годами отношения. Так было, и предполагалось, что так и будет.

Забыл и забыл, позвонит чуть позже. Но и позже М. не позвонил, потому что... да вот не позвонил и все. Закрутился. Больные, то-се. Вроде как проехали. Да и приятель тоже давно не объявлялся.

Сначала М. удивился, что все так странно, а, поразмыслив, сделал вывод, что, значит, и нужды в этом нет, а ценность общения, как и любовь, в значительной мере тоже идеализирована, тот же миф, каких человек наплодил множество. Общение с приятелем, по телефону или даже при встрече — не более чем ритуал, обряд, в действительности ничего им — ни ему самому, ни приятелю не дающий. Ну что бы они могли рассказать друг другу? Все то же, что и обычно. Рутинная пустяковая информация, какой, собственно, и обмениваются обычно люди по телефону или даже при встречах. Быт, политика (сколько можно?), здоровье... Это отнюдь не значило, что их отношения изменились, вовсе нет, просто у каждого своя жизнь... Ну и зачем тогда?

Придя к такому выводу, М. взгрустнул, хотя и не сильно. Чего-чего, а одиноким он себя не чувствовал. Да и телефонных звонков все равно было достаточно. Звонили разные люди, знакомые и незнакомые, но по наводке знакомых, из числа пациентов и совершенно посторонние, спрашивали совета по медицинской части, просились на консультацию, ну и так далее. М. не отказывал, хотя прекрасно сознавал, что никакой он не светило, а самый обычный эскулап с достаточно ограниченными возможностями. Впрочем, если было очень нужно, садился в свой издавший виды лимузин и отправлялся на другой конец Москвы, чтобы осмотреть больного. Плату он если и брал, то по ситуации, в зависимости от того, насколько, по его мнению, человек был состоятелен. Бывало, что и отказывался, нимало, впрочем, себе в заслугу это не ставя. На то он и врач, чтобы помогать.

Все бы действительно ничего, если бы не время от времени наваливающееся ощущение пустоты. Клиника, пациенты, консультации — замечательно, но... В конечном счете и это постепенно становилось рутинной, от всего начинало веять скукой, проблемы утомляли и досаждали, больные начинали раздражать, к тому же они, увы, не всегда выздоравливали. Медицина хоть и продвинулась далеко, однако не всеильна, да и он не волшебник. В иные минуты усталости хотелось все бросить, на приеме он сидел сумрачный, мог и сказать пациенту что-нибудь резкое, после чего винил себя и мрачнел еще больше. Что ж, и он живой человек, и он подвержен слабости, а с годами это становилось все чаще, усталость накапливалась, и что хуже всего, даже не только его работа, но и вообще жизнь начинали казаться некоторым бременем. Он стал уклоняться, не брал телефонную трубку, а если и брал, то разговаривал неохотно, раздражался и все чаще просителям отказывал, ссылаясь на занятость или собственное нездоровье.

Когда ему предложили возглавить вновь созданную частную клинику, М. неожиданно для всех отказался. Чуть бы раньше... А теперь ему это было не нужно — ни престиж, ни высокий оклад не привлекали. На жизнь более чем хватало, а вот драйва, увы, уже не было. Наверное, с его опытом и знаниями можно было бы наладить приличную работу, но стоило представить, сколько подводных камней надо преодолеть, сколько проблем решить, как он тут же эту мысль отбрасывал.

Нет, не готов он был. Да и, полага руку на сердце, скучно.

В выходные дни М. для своих одиноких прогулок выбрал Донской монастырь, от которого жил не очень далеко. Вокруг — многомиллионный грохочущий мегаполис, а здесь, за древними из красного потемневшего кирпича стенами, тихо, изредка, стяхивая снежные шапки с ветвей высоченных елей, вспархивали вороны, низкое линияное небо создавало ощущение замкнутого пространства... М. бродил вдоль стены по одной и той же директории, навёрчивая круг за кругом, рассматривал попадавшиеся на пути надгробные памятники, надписи на которых он уже знал почти наизусть, мощные скульптуры, словно выходящие из стены, крепостные башни и все такое. Просто бродить было скучновато, и он всякий раз придумывал себе какую-нибудь цель: два круга, три круга, четыре круга...

Такое кружение, впрочем, тоже наскучивало, и тогда он воображал какую-

нибудь романтическую историю, ну вроде как если бы он встретился здесь с незнакомкой и между ними что-нибудь завязалось, они бы встречались, разговаривали про жизнь, обменивались впечатлениями, и ей бы тоже нравились тишина, навевающие грусть камни некрополя, имена знаменитых покойников... Иногда, впрочем, затевалось что-то детективно-шпионское, киношное вроде тайника для передачи секретной информации или еще что-нибудь столь же детское, наивное, стыдноватое для человека его возраста и положения. Место, однако, вполне подходящее, вечерами пустынное, особенно в той части, где громоздились старые камни.

Все это, конечно, чепуха, ему же хотелось чего-то другого, более соответствующего духу этого места. Чего-то не просто романтического, а, так сказать, возвышенного. Все-таки в этом месте было что-то особенное (помимо тишины и уединения), древностью веяло, тленом и в то же время как бы вечностью. В конце концов, что-то же влекло его именно сюда, а не в какой-нибудь парк. И даже нисколько не смущало, что по соседству находился действующий крематорий, из трубы которого временами поднимался серый дымок и было件нятно, что это за дымок.

Memento mori... Для философских размышлений самое оно.

Но было в одиноких прогулках М. кое-что еще. Всякий раз, наворачивая круги вдоль монастырской стены, он проходил мимо ниши с вылитой из бронзы темной, почти черной скульптуры Христа на фоне большого широкого креста. Невысокая фигура на постаменте из гранита, длинные полы одежды, руки опущены и как бы прилепились к телу, лицо скорбное, сумрачное, напоминавшее лицо Христа на картине Крамского. Хотелось задержаться возле, постоять, вглядываясь в аскетичные черты. Почти как живой был этот печальный Иисус, и даже почудилось в какое-то мгновение, что блеснул влажный, словно омытый слезой зрачок.

Постоял, посмотрел и побрел дальше.

Но заворачивая на следующий круг уже догадывался, куда идет и зачем. Черный Иисус его ждал. Ему нужно было к нему, чтобы снова задержаться возле, постоять лицом к лицу. Как-то странно действовала на него эта скульптура, вроде как звала к себе негромким голосом. То, что была она не очень большой, даже меньше его ростом, вызывало что-то вроде сострадания, а может, и жалости. И уже уходя понимал, что оставляет здесь нечто очень близкое, очень важное. Даже бормотал что-то на прощание, ласковое. Он еще вернется — вроде как утешал напоследок.

Однажды, после очередного фиаско с одним из пациентов, симпатичным веселым дядькой, который, несмотря на довольно тщательное и вроде бы правильное лечение, взял да и помер, М. впал в депрессию. Лечишь их лечишь, а они... Дома он сел за стол, вырвал из блокнота чистый листок и, покусав кончик шариковой ручки, попытался начать писать. Он еще не знал, что хочет написать. Помаевшись некоторое время, неловко вывел: «Господи Иисусе, помилуй нас!» И так несколько раз, крупно, заполнив листок почти до половины. Не оригинально, но другого ничего в голову не пришло.

Через неделю он снова направился в монастырь и, как обычно, войдя в ворота, повернул налево, чтобы двинуть по своему привычному круговому мар-

шруту. По инерции он глазел на горельефы библейских сцен, перекочевавшие сюда с разрушенного Храма Христа Спасителя, на мощные фигуры воинов, на Сергия Радонежского, благословляющего на битву Дмитрия Донского, но сердце его уже учащенно билось в предчувствии близкой встречи. Шаги ускорялись помимо его воли. И вот он уже видел темнеющую возле стены небольшую фигуру, возвышающийся за ней крест... А между тем шел снег, покрывал белыми стежками надгробные камни и черное на белом виделось особенно отчетливо. Чем ближе он подходил, тем энергичней билось сердце, даже дыхание перехватывало.

И вот он уже рядом, стоит напротив скульптуры, которая меньше его ростом, и вроде как даже здороваается с ней. «Привет! — говорит он мысленно. — Я пришел».

Он оглядывается вокруг, нет ли каких случайных прохожих, быстро наклоняется и, пачкая руки, заталкивает приготовленную записку под край постамента. Вроде как тайник.

Дело сделано, он быстро выпрямляется, чуть наклоняет голову, как бы кивнув, поворачивается и медленно шагает дальше, оставляя темные мокрые следы на только что выпавшей белой пороше.

В последующие дни он ходит на работу, занимается обычными делами. Но при этом отчетливо ощущает присутствие в себе (понятно, про что речь) и знает, что в воскресенье снова наведается в монастырь. С нарастающим нетерпением он ждет этой минуты.

И вот он снова за монастырской краснокирпичной стеной, снова начинает свой уже ставший привычным маршрут вдоль нее, скользит взглядом по выступающим из стен фигурам, по заснеженным ветвям елей, золотящимся куполам церкви... Он уже совсем близко к цели, сердце учащенно бьется. Он волнуется, словно идет на свидание к возлюбленной, и пытается понять, что с ним происходит. Нет, мистика тут ни при чем, просто ему хочется увидеть этот памятник. Для чего-то это нужно ему. Интересно, для чего?

На этот вопрос определенного ответа у него нет. С трепетом приближается он к сумрачному Иисусу и долго стоит перед ним, молча, чуть опустив лицо и сцепив руки перед грудью, — такая почти молитвенная поза, делающая его самого похожим на статую.

Так они и пребывают некоторое время друг против друга, и он чувствует, как душа его наполняется чем-то хорошим, каким-то совсем другим ощущением жизни. Он уже не думает ни про записку, оставленную в прошлый раз, ни про игру, ни про земные обычные заботы. Он вообще ни о чем не думает, а только вслушивается в эту удивительную тишину внутри себя, которую не нарушают никакие внешние звуки — ни отдаленный шум машин за стенами, где раскинулся огромный многомиллионный город, ни грай ворон на вершинах елей, с которых сыплется снежная пыль...

Но и это еще не финал. Во время очередной своей воскресной вечерней прогулки по монастырю М. встречает на протоптанной дорожке вдоль стены незнакомого мужчину в темном драповом, несколько старомодном пальто и не менее старомодной шляпе с широкими полями. Поравнявшись с М., человек неожиданно останавливается, поворачивается к нему и, чуть приподняв шляпу в знак приветствия, говорит:

— Мне кажется, мы можем познакомиться. Я — Петр. — И тут же, не дожидаясь ответа, добавляет: — Мы за вами давно наблюдаем. И сигнал ваш тоже приняли... простите, записку. Ну да, ту самую, которую вы положили. Собственно, вы уже можете считаться нашим. Если, конечно, пожелаете.

— Простите, я не очень понимаю, — в некоторой растерянности бормочет М., пытаясь получше разглядеть в сумерках чужое лицо.

— А что тут понимать? — говорит назвавшийся Петром. — Мы ведь давно догадались, почему вы здесь, мы, собственно, все здесь по той же причине. — Он помолчал. — Впрочем, главное не это. Главное, что мы с ним... — и он кивает в ту сторону, куда, собственно, и направлялся М. — Вы ведь тоже с ним? — спрашивает он немного смущенно.

На это М. только пожимает плечами.

— С ним, с ним... — убежденно говорит собеседник. — Тут стесняться нечего. Да мы вам ничего такого и не собираемся предлагать. Уже то, что вы приходите сюда, достаточно. Мы ведь тоже не часто собираемся вместе, хотя у нас и место есть. Вон там, — и он показал на ближнюю к черному Иисусу крепостную башню. — Там и вход есть. Кстати, если что, имейте в виду. Мы вам будем рады.

— Спасибо. — М. вполне искренен, оценив деликатность нового знакомого и не желая его обижать. — Может, как-нибудь и зайду, если позовете.

— Позовем непременно, — говорит Петр. — Да вот уже и зову. Впрочем, вы и сами захотите. Нас как раз двенадцать и будет. Ну, до скорого. — Петр снова приподнимает шляпу и не спеша удаляется, оставив М. в глубокой задумчивости. Через минуту его фигуру уже не разглядеть.

М. продолжает свой путь и, как обычно, чуть замедляет шаг возле Иисуса, останавливается на мгновение, пытаясь понять, наблюдают за ним или нет, и тут же снова трогается. Проходя мимо башни, он внимательно поглядывает в ее сторону, но ничего особенного не замечает — все как обычно, на снегу перед ней никаких следов, а узкий низкий проход внутрь заколочен досками.

М. часто можно было увидеть там поздними воскресными вечерами. Охрана уже не обращала на него внимание и даже позволяла оставаться на территории дольше, чем другим, несмотря на время закрытия. Прогуливается человек и пусть прогуливается, к тому же одному из охранников он спас жизнь, когда у того вдруг случился сильный сердечный приступ. Не окажись он рядом, все могло бы кончиться плачевно.

В жизни М. ничего не изменилось: клиника, пациенты, несколько запущенная холостяцкая квартира... Он же все ждет новой встречи, да, с тем самым человеком в плаще и шляпе, который обещал, что его позовут. Ему надо кое о чем расспросить его. Правда, теперь он не очень уверен, что та встреча действительно была, а не пригрезилась ему. Но черный бронзовый Иисус по-прежнему так же близок и, если он вдруг долго не видит его, то жизнь как бы теряет смысл.

А однажды М. приносит с собой клещи и начинает вытаскивать гвозди, которыми прибиты доски, закрывающие проход внутрь башни, расположенной неподалеку от памятника. Гвозди толстые, ржавые, перегнутые, выдираются с трудом и неприятным громким скрежетом. Когда все-таки удастся отодрать несколько досок и пробраться внутрь, он видит пустое холодное помещение, в

ноздри ударяет подвальный запах затхлости и заброшенности, узенькие ступеньки, ведущие наверх, на стену, покрыты наледью, так что и ступать на них боязно.

М., опираясь рукой о стену, зачем-то все-таки ступает осторожно на первую, потом на вторую, на третью, на четвертую, но на пятой (а может, и на шестой) подошва соскальзывает, и он, судорожно взмахнув руками, падает, ударяясь затылком сначала о стену, а потом и о ступеньку. Видит же он в последнюю минуту скорбные черты бронзового черного Иисуса, хотя, возможно, это черты Иисуса с картины Крамского, но, не исключено, что лицо с Туринской плащаницы, и не скорбное, а просветленное...

Дорога к дому

Дорога к морю синела, как и само море. Рыжела. Коричневела. Голубела. Краснела. То же самое происходило и с морем на горизонте. С красками в мире что-то было не так.

После того случая многое в мире кажется Эле другим.

Племянник Петр возил ее к морю на своем потрепанном рыдване какой-то малоизвестной итальянской марки, хотя, по его словам, это была супердорогая машина из числа раритетов, такую еще поискать, а цена ее, как он, усмехнувшись, добавил (ох уж эти молодые деловые люди!), со временем не только не падает, но, напротив, возрастает. Она так и не поняла, как это может быть, да и никогда не понимала всех этих коммерческих тонкостей. Но парень не только не обиделся на нее, наоборот, только обрадовался возможности поговорить о своем двухдверном лимузине, в котором Эля теперь занимала почетное место (других просто не было) рядом с водителем.

Племянник Петр был славным, немного странным парнем, взявшимся — по поручению Ольги, ее двоюродной сестры и его матери, — опекать тетку. По виду совсем мальчишка — худой, гибкий, руки и ноги как на шарнирах, но очень подвижный, ловкий и довольно сильный, если судить по тому, как легко он вскинул и запихнул в багажник ее увесистый чемодан на колесиках. Собственно, он и был мальчишка, недавно закончивший колледж и теперь учившийся на биолога в неапольском университете. Красавцем его назвать было трудно, но и уродливым он тоже не был, тонкие черты лица придавали ему что-то аристократическое, карие глаза смотрели приветливо и доброжелательно. Говорил он с легким акцентом, но русский был правильный, даже слишком, как бывает у детей эмигрантов. Впрочем, он больше молчал, да и какие у них с Элей могли быть общие темы? Они уже переговорили обо всем, о чем можно, и теперь больше молчали, что, кажется, устраивало обоих.

Летние каникулы он пока проводил дома, но вроде бы собирался куда-то в Альпы исследовать тамошнюю флору.

Дом, где жила сестра с мужем, находился в окрестностях Неаполя, и Петр специально приехал за ней в Рим. Ей, впрочем, было все равно, кто и куда ее везет. После случившегося ее не оставляла депрессия — ничего не хотелось, но и киснуть в пусть и недорогом римском отельчике на задворках великого горо-

да тоже было глупо, и она поддалась на уговоры кузины, которая позвала ее к себе, а затем прислала Петра.

У Эли была забинтована голова и рука на перевязи, она прихрамывала на правую ногу, и боль отдавалась в разных местах тела. Идея куда-то ехать сперва показалась бредовой — настолько убогой и беспомощной она себя чувствовала. Однако возвращаться в таком виде в Москву тоже претило, мысль о самолете не просто внушала страх, но повергала в панику. Понятно, что стресс, истерика, но какое это имело значение?

Да, ей не повезло, в самом начале так замечательно начинавшегося отпуска совсем недалеко от Колизея ее сбил мотоциклист. Она совершенно не помнила, как это произошло, не помнила мотоциклиста, не помнила даже, что у нее было в рюкзаке, который, к счастью, остался при ней, хотя, не исключено, именно он и был целью мотоциклиста. Она слышала, что этот промысел довольно распространен в некоторых европейских городах, но было ли это ДТП случайностью или специальным наездом, сказать трудно, тем более что мотоциклист тут же исчез, оставив ее в почти бессознательном состоянии на древней римской брусчатке.

Пляж был на удивление пустынен. Петр тут же бросился в воду и поплыл, рассекая волны сильными взмахами. Тело у него было смуглое, как у настоящего итальянца. Да ведь он и был фактически итальянцем, как и его отец, которого Эля видела только на фотографии в доме. Сейчас тот был в отъезде и непонятно, встретятся ли они вообще.

Между тем Эля в очередной раз загляделась на Петра, пока он входил в море. Ее тело по сравнению с его было бледным и жалким. Такой она и чувствовала себя после всего случившегося, иногда ей даже казалось, что это вовсе не ее тело, во всяком случае не то, каким оно было прежде.

Раньше она чувствовала себя сильной и ловкой, даром что в юности немного занималась художественной гимнастикой, немного танцами, немного плаванием, в общем, любила физические нагрузки и это удивительное ощущение легкости и гибкости, когда все части тела послушны тебе, а каждое движение свободно и даже доставляет удовольствие.

Теперь тело она ощущала в основном через боль, которая возникала в самых разных местах — то в пояснице, то в коленке, то в плече или в руке. Она старалась не делать лишних движений и сама себе казалась немного роботом, немного манекеном. Об удовольствии не было и речи, и вот теперь, глядя на мелькающую в волнах голову Петра, вдруг вспомнилась радость от прежних заплывов.

Не то чтобы она раньше так уж пестовала свое тело, просто никогда особенно не задумывалась об этом, поскольку они были единым целым. Конечно, о нем надо было заботиться, но это настолько стало органикой, что почти не требовало усилий. Впрочем, бывало, что в определенные дни эта гармония нарушалась, однако не настолько, чтобы пенять на это. И вообще природа ее не обделила — ни красивыми стройными ногами с круглыми коленками, на которые заглядывались мужчины, ни станом, ни густыми, слегка кудрявящимися каштановыми волосами.

Ее тело было самодостаточным, не обременя никакими особыми желаниями, оно было как растение, как цветок, который цвел сам по себе. Томление,

которое она чувствовала временами, не было таким острым, чтобы испытать потребность еще в каких-то, более сильных ощущениях.

Теперь же все стало по-другому, разладилось, скукожилось. В свои неполные тридцать пять она вдруг почувствовала себя старой. И мысли стали появляться, каких раньше не было, — про конец жизни, одиночество, грустные такие мысли, тем более неуместные здесь, на этой осиянной ласковым солнцем, щедрой земле.

Здесь, у сестры, она пристрастилась к местному молодому красному вину и в день уговаривала больше литра, благо никто не ограничивал и далеко не надо было ходить — в подвале стояли три больших бочки, сестра делала его сама. Фиолетово-синие лозы крупного сочного винограда росли не только в небольшом винограднике возле дома, но и свисали по бокам веранды, откуда открывался замечательный вид на море. Вино было легкое, вкусное и приятно хмелило.

Эля пила вино, закусывала тем же виноградом и смотрела вдаль на синеющий простор. От легкого хмеля в голове становилось туманно и гулко, она могла сидеть так часами, не произнося ни слова, отхлебывая волшебный нектар из емкого фужера и время от времени наполняя его вновь. Дошло до того, что она обзавелась пол-литровой пластиковой фляжкой из-под виски, племейски наполняла ее через воронку вином и утаскивала к себе в комнату. Сестра ее возлияниям не препятствовала, да и себе тоже не отказывала, хотя на Элю тем не менее поглядывала иной раз вопросительно. Ольга вообще была мягким, покладистым человеком, ни разу Эля не слышала, чтобы она повысила голос. Впрочем, что ж удивительного, когда живешь в таком Эдеме? Неудивительно, но и не очень понятно — ведь в стороне от мира, почти в одиночестве. Нет, Эля бы так не смогла.

От вина действительно становилось легче, даже боль, гнездившаяся в самых разных частях тела, стихала, а главное, улучшалось настроение, и она чувствовала, что жизни в ней еще достаточно, а мысли о старости — только морок, последствия шока, тут и психоаналитик не нужен.

Петр плавал подолгу, а она сидела на прибрежном сером, выщербленном камне и смотрела на море, на мелькающую в волнах голову Петра, на седые барашки подкатывающих к самым ногам волн и думала, что вскоре эта идиллия закончится, надо будет возвращаться. Она чувствовала себя лучше, тело вроде бы понемногу обретало прежнюю форму, а вот душа, душа все равно была не на месте. Что ее ждало в Москве? Все та же работа. Она любила дизайн, любила свой «мак», который давал столько возможностей, да и вообще все у нее было, что нужно человеку, если он не стремится к невозможному и не балуется излишествами. Друзья, выставки, клубы... Но сейчас все это отдалилось настолько, что мысль о возвращении не особенно вдохновляла.

А ведь прежде она всегда радовалась возвращению, радовалась возможности снова включиться в работу, обзвонить друзей, узнать как кто поживает, то есть восстановить обычную среду и привычный ландшафт. Теперь же возвращение не то чтобы пугало, нет, настораживало другое — снова беспокоили мысли о том, что теперь она не сможет быть такой как раньше. И что хуже всего — она не могла избавиться от них, сколько бы ни пыталась. Увы, ни море, ни вся эта волшебная голубизна не помогали.

Когда Петр выходил из моря, узкое тело его в лучах солнца светилось каким-то необычным светом, чуть ли не искрилось. Эля смотрела на него сквозь полуприкрытые ресницы, и от этого все начинало казаться чуть размытым и каким-то невзаправдашним.

Петр присаживался неподалеку от нее и тоже молча смотрел в морскую даль. Это было хорошо, что он ничего не говорил. Эле хотелось сейчас именно тишины, плеска волн, дремы и солнечной неги. В какое-то мгновение происходило странное: ее тело, постоянно напоминавшее о себе то менее, то более сильной тянущей болью, вдруг словно исчезало и совершенно переставало ей досаждать. Она вообще переставала чувствовать его, словно у нее не было ни рук, ни ног, ни шеи, вообще ничего, только восхитительное ощущение парения. И случалось это, как правило, именно тогда, когда Петр оказывался в непосредственной близости. От него исходило мягкое обволакивающее тепло, так что в Эле пробуждалось что-то зыбкое, забытое, едва ли не младенческое, как если бы она покоилась в колыбели или на руках у матери. Хорошо и уютно ей становилось, мысли исчезали вслед за телом, блаженство да и только. Она закрывала глаза и как будто засыпала, вот так, сидя, наслаждаясь своей бестелесностью и проникающим сквозь закрытые веки солнечным светом.

Потом они садились в лимузин Петра и ехали по вьющейся среди гор дороге домой, где расходились по своим комнатам. И все возвращалось на круги своя — и боль, и мысли... Иногда Эля задерживалась на веранде, если сестра была там, но обычные досужие разговоры ей быстро наскучивали и она ретировалась к себе. Сестра не обижалась, понимая, что для Эли сейчас важнее покой, да и дел у нее было достаточно. Элю она к хозяйству не привлекала, только если полить из пластмассовой синей лейки розы на большой красивой, обложенной специально отобранными камнями клумбе. Она вообще старалась лишний раз не беспокоить кузину, за что Эля была ей крайне признательна.

У себя Эля ложилась, раскрывала какую-нибудь книгу и... не могла читать, вспоминая недавно испытанное у моря блаженство. Эх, если бы удалось удержать это волшебное состояние подольше, унести с собой. Увы, оно испарялось едва они вылезали из машины и на его месте снова были боль и грустное ощущение потерянности, причем иногда прихватывало так остро, что она снова выходила из комнаты и шла на кухню налить вина, потом садилась на веранде и пила мелкими глотками, задерживая во рту, чтобы полнее ощутить его терпкость. Становилось лучше, но совсем не так, как рядом с Петром у моря.

Ах, Петр, Петр... Однако при чем здесь Петр? А вот и притом, что испытанное ей состояние, как ни крути, было связано именно с ним, с его присутствием рядом, с исходящим от него теплом. Сомнений в этом у нее не было, но и дальше ничего не домысливалось. Юноша, молодой человек... родственник... Добрый, близкий, чужой... Нет, ничего такого она к нему не испытывала (еще не хватало, тем более в ее состоянии), никакого влечения и тем более увлеченности... Ровным счетом. И все-таки... Что-то в ней тем не менее происходило. Это было даже любопытно — такой своего рода бестелесный контакт, чего Эля никогда раньше за собой не замечала.

Она вообще многое раньше не замечала, стараясь жить легко и естественно, не создавая ни себе, ни окружающим проблем. А теперь мысли сами лезли в

голову, непривычные, тоскливые, по большей части мрачные. Это, впрочем, не касалось Петра и Ольги. Им она была страшно благодарна за опеку и, главное, за непринужденность этой опеки. Они все делали так, будто она всегда жила с ними и нисколько их не стесняла, они не выражали ни особой радости, ни чрезмерного внимания, которое могло ее только смущать и вызывать чувство неловкости. Живет — и ладно. Такая вот милая, как бы стесняющаяся сама себя деликатность.

Так и было: поездки с Петром к морю становились для Эли не просто приятным времяпрепровождением, но чем-то гораздо большим. Если у Петра не получалось по какой-то причине, она впадала в уныние, вино лилось рекой, но опьянение получалось тяжелым и безрадостным, а однажды ей даже стало дурно и пришлось принимать аспирин и еще какие-то таблетки, которые подсунула ей заботливая Ольга. Это была уже своего рода зависимость, природу которой Эля не могла понять. И все из-за каких-то минут вблизи Петра на берегу моря: молчание, небо, волны, забытье... А главное — полная бестелесность, пусть и недолгое, но все-таки освобождение от своей плоти.

Когда-то девчонкой, в которой только-только начинала пробуждаться женственность, она мечтала об этом. Ей не нравилось собственное тело, тогда еще угловатое, длинные руки, набухающие выпуклости... Все было несоразмерно, неуклюже и к тому же доставляло всяческие заботы: гигиена, подбор одежды, которая всякий раз оказывалась то великоватой, то, наоборот, жмущей и ко всему прочему старомодной. Принять себя такой, какая есть, было непросто, но потом, к большому облегчению, недовольство постепенно исчезло. А вот ощущение ущемленности все равно где-то сидело, в самой глубине, хотя и не слишком допекало.

Теперь же она знала: избавление возможно, она ждала этого избавления, ждала возможности оказаться рядом с Петром на берегу моря, краем глаза видеть испаряющиеся капли на его смуглой блестящей коже и потом... вдруг растворяться в нирване, возникающей неведомо откуда.

Любопытно, чувствовал ли Петр ее состояние? Иногда казалось, что да, что ее близость не оставляет его безразличным. Они сидели или лежали рядом, а вокруг не было ни души, волны с легким шумом разбивались о прибрежные скалы, и под шум прибоя хорошо и беззаботно дремалось. А дальше все произошло само собой, в каком-то полусомнамбулическом состоянии. Тело этого юноши уже не было чужим, больше того — оно не было только его, а было и ее, их общим телом, она ощущала не просто его тепло, но, казалось, трепет каждой его жилки, ток крови, удары сердца... Его, ее...

По пути домой Петр гнал машину как заправский гонщик. Баранку он держал левой рукой, правая лежала на колене Эли. Иногда он искоса поглядывал на нее, и по лицу его скользила улыбка. Когда он закладывал очередной вираж, душа у нее уходила в пятки, она крепко зажмурилась и наклонялась вперед, упираясь руками в торпеду, а иногда наоборот — откидывала голову, и тогда ей чудилось, что машина взлетает. Удивительно, но боли в теле нигде больше не было, а было давно забытое ощущение легкости, как бы невесомости.

Во время очередного крутого поворота навстречу им из-за склона неожиданно выскочил мотоциклист в черном шлеме, весь сверкающий в лучах заходя-

щего солнца своей амуницией, как древний рыцарь, Эля испуганно вскрикнула и, валясь от резкого рывка на Петра, неловко схватилась за руль. Вероятно, это и стало тем роковым движением, которое подняло их на воздух и понесло, крутя, дальше, в зияющую бездну.

Несогласный

Он не ждал этого приглашения. Или все-таки ждал?

Никогда он не мог ответить однозначно ни на один вопрос, который сам же себе задавал. Разумеется, это была слабость, изъян, но в то же время можно взглянуть и по-другому. Если человек говорит «я не знаю», то он и ответственно-сти на себя не берет, во всяком случае в той мере, в какой это делает тот, кто твердо и категорически заявляет о своем знании. Хотя опять же ни от чего это не избавляет, и если ты что-то совершаешь, даже не будучи уверенным, что поступишь правильно, лучше не становится.

Впрочем, К. слишком рано начал оправдываться, ничего еще не произошло, даже если он и получит приглашение, еще не факт, что примет его (или все-таки пойдет?).

Другой вопрос, хотелось ли ему пойти? И вот тут он мог ответить вполне определенно: хотелось. Начать хотя бы с того, что ему хотелось получить приглашение, не так чтоб очень сильно, и тем не менее: это бы означало, что о нем помнили и что отношения, несмотря на то, что много воды с тех пор утекло, еще сохранились. Впрочем, скорей всего это была иллюзия — какие отношения? Никаких отношений! Их и раньше не было, так, обычное знакомство, ну, может, чуть больше, просто товарищеские отношения, так и не перешедшие в дружбу. Но ведь и это немало, особенно по нынешним временам чисто виртуальных связей, больше имитирующих, нежели реальных. Да, что-то вроде симпатии присутствовало, причем с обеих сторон, хотя и несколько отстраненно, с прохладцей и настороженностью, не производящих никакого особого скрепляющего фермента.

Да, разные. Но дело даже не в этом. Н. обладал тем самым качеством, какого не было в К.: он *знал* и нисколько не сомневался в истинности своего знания. Суждения его были категоричны и окончательны, нередко резки, как обычно и бывает. По-своему очень даже неплохо, если человек обладает определенными взглядами на мир, а не скользит по нему с недоумением и сомнением. А если он к тому же наделен недюжинной волей и энергией, то и вовсе.

Неудивительно, что Н. быстро продвинулся в плане карьеры и к сорока пяти был в самом верхнем эшелоне власти. Или, как теперь говорят, входил в правящую элиту. Не о каждом, даже если он реально во власти, согласишься, можно сказать, что он — элита. А про Н. вполне — серьезный, энергичный, эрудированный...

Собственно, свело их во время учебы Н. на курсах английского, где преподавал К.: тот готовился к продвижению по службе, язык ему был нужен позарез,

а К. считался одним из лучших тьюторов. Английский, считай, у него был как родной, родители позаботились, за что он им был крайне признателен. В институте, где он тоже преподавал, платили мало, курсы и частные уроки в этом отношении не просто выручали, но и позволяли жить не особенно ужимаясь. У него уже была семья, дочь, надо было кормить, одевать, ну и так далее.

Курсы Н. посещал исправно, занимался старательно, хотя особых способностей к языкам у него не наблюдалось. Это компенсировалось усердием и пониманием, зачем это нужно, так что к концу курсов он попросил К. о дополнительных индивидуальных занятиях. В средствах он тогда был достаточно стеснен, поскольку тоже был обременен семьей (первой), к тому же только что родился второй ребенок, однако это его не останавливало. К., впрочем, учитывая его домашнюю ситуацию и то, что Н. посещал их курсы, расценки снизил.

Занимались они по вечерам в его институте в какой-нибудь пустой аудитории, где пахло мелом, влажной тряпкой, которой К. стирал с доски только что написанные фразы, и еще чем-то специфически институтским, всегда волновавшим его, стоило войти в знакомую аудиторию. Даже будучи сильно уставшим в конце рабочего дня, он все равно подтягивался, воодушевлялся и уроки проводил на подъеме, что, несомненно, сказывалось на успехах учеников.

Н. очень ценил занятия с К., они разговаривали на разные темы, в том числе и о политике, причем большей частью на английском, хотя Н. часто забывался и норовил, особенно в запале, перейти на родной. К. сердился, останавливал его, но в конце концов пасовал перед натиском и горячностью ученика, которому явно недоставало лексики, он путался во временах, сбивался и перемежал речь русскими словами. Видно было, что ему страшно хочется убедить собеседника в своей правоте, он начинал размахивать руками, выкрикивать и в конце концов почти забывал, что это всего лишь занятие, а не митинг.

Нередко К. призывал Н. строить фразу не столь прямолинейно, включать в нее обороты типа «in my opinion» и «if you don't mind», «I agree with you» или «I don't agree with you» и так далее. Поймите, говорил он, как всегда называя собеседника на «вы», это — не просто этикет, это — многовековая культура политеса, вошедшая в кровь и плоть не только англосаксов, но и вообще европейцев. С японцами и китайцами все еще сложнее и тоньше, там свои нюансы. Мы же рубим с плеча и рвемся учить других, невзирая на их взгляды и убеждения, для русского человека общение все равно что бои без правил, тогда как любой разговор — это дипломатия, в основе которой даже не стремление победить противника, а прежде всего уважение к его личности, как бы вы к нему ни относились.

Н. соглашался, кивал стриженной бобриком головой с ранними крупными залысинами, но от этого ничего не менялось. Увлекаясь, он буквально впадал в раж, захлебывался или, наоборот, четко чеканил каждое слово, не важно, английское или русское (с русским получалось несравнимо лучше), сопровождая его обрывным взмахом руки. Надо признаться, его речь завораживала, несмотря на сбивы с языком и весьма несовершенное произношение (если на английском), настолько убежденно и самозабвенно он говорил. К., который не любил и стеснялся какого бы то ни было пафоса, поддавался, смолкал и оставлял свои возражения на потом, которое почти никогда не наступало, потому что урок кончался и они разбегались каждый по своим делам.

Тем не менее К. иногда все-таки удавалось на английском высказать свое мнение по той или иной проблеме, пусть и с некоторым запозданием, и он вдруг замечал, что Н., который в прошлый раз говорил одно, в этот раз говорит совсем другое, пусть и не совершенно противоположное, однако все-таки сильно отличающееся. Он будто не помнил того, что утверждал в прошлый раз, но натиск тем не менее был столь же мощен и неудержим. Если же К. напоминал ему о прошлой его позиции, тот нисколько не смущался, а нетерпеливо дергал плечом и говорил, что, возможно, не так был понят из-за своего недостаточного английского (хотя большая часть высказанного была произнесена на русском).

Иногда К. даже начинал сомневаться, а действительно ли они говорили именно об этом. Впрочем, какая разница, если уклон Н. все равно был в одну сторону — он страстно бичевал современное общество за его стремление слепо следовать за Западом, между тем как тот сам в глубоком кризисе и вряд ли из него скоро выберется. У России свой путь, они должны это понять и смотреть не на Запад, а, скорее, на Восток, с которым их связывает очень много общего. К. возражал, что эту банальность пора сдать в архив, а если уж говорить о главной тенденции, то это, конечно же, глобализация, и все развитые и развивающиеся страны, к которым подтягиваются страны третьего мира, движутся в одном направлении.

Однажды К. не выдержал и с некоторым вызовом спросил Н., почему тот учит все-таки английский, а не, скажем, китайский или японский, или даже арабский, на что К. поморщился и сказал, что всему свое время, английский нужен при любом раскладе, а кроме того, он с детства очень любит книгу Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и, когда будет время, с удовольствием прочитает ее в оригинале. Вторая половина ответа была неожиданной, так что К. даже растерялся и только улыбнулся, показывая, что вполне оценил юмор собеседника. И лишь потом понял, что никакого юмора здесь не было.

А потом Н. неожиданно исчез, почти буквально. Года три или четыре К. о нем ничего не слышал. И вдруг в очередных теленовостях промелькнуло знакомое лицо, фамилия, какие-то дипломатические дела, точно, это был Н., ошибиться К. не мог. И потом все чаще и чаще, тот же натиск, та же категоричность, правда, чуть закамуфлированные словами типа «нам кажется», «мы считаем». Понятно, что теперь он занимал весьма высокую должность, так что выступал не только от своего имени — уверенность в жестах, поза, все как полагается. Всякие международные форумы, заседания... Круто он взмыл, что говорить. К. невольно следил за ним, за его появлениями, выхватывая из новостей именно то, что касалось его бывшего студента.

Правда, далеко не всегда его радовало то, что говорил Н., а вернее, даже вовсе не радовало. К. морщился, глядя на хорошо знакомое лицо на экране. С каждым разом его безапелляционность в оценках тех или иных событий все больше входила в явное противоречие с его положением. При этом Н. чувствовал себя абсолютно уверенным и ничуть не смущался, если встречал абсолютно резонные возражения. В риторике он мог заткнуть за пояс любого, этого у него было не отнять. Но ведь по сути все было вовсе не так, поэтому К. сначала раздражался, потом начинал всерьез сердиться и кончалось все это едва ли не настоящей злостью.

Странное, однако, дело: как бы ни досадовал К. на своего бывшего ученика, сколько бы ни спорил с ним мысленно, никак он не мог освободиться от ощущения связанности с ним. Это действительно было загадочно: ну учил он того английскому, ну беседовали они на разные, в том числе и политические темы, даже и тогда расходясь, можно сказать, кардинально, какая же тут связь?

Тем более что и не виделись они с тех пор, не общались и вообще жили в совершенно разных измерениях. Ну не совсем, впрочем, разных. Как-никак, а страна у них была одна, а значит, и все остальное касалось К. тоже непосредственно. Только от К. фактически ничего не зависело, а от Н. при его теперешнем положении зависело многое. И это сильнее всего угнетало К., причем все больше и больше, как будто и его вина была в том, что Н. так, а не иначе смотрит на вещи. Иногда он ловил себя на том, что готов выйти на площадь и громогласно заявить о своем несогласии или хотя бы написать Н. разгневанное письмо, полное обличительного пафоса.

Тем более странно, что он при всем том, однако, ждал. Ждал письма или звонка с приглашением на юбилей Н. Что-то подсказывало, что бывший ученик не только помнит о нем, но и в каком-то смысле чувствует себя обязанным ему — как ни крути, а беседы с К. не прошли для него даром, это чувствовалось в стиле его речей, несмотря на их абсолютно неприемлемый для К. характер.

В последние дни К. дергался при каждом звонке мобильного, нервничал по пустякам, так что это даже стало заметно близким. «Что-нибудь произошло?» — обеспокоенно спрашивала жена, однако вразумительного ответа не получала. Да и что определенного он мог ей сказать, если сам не понимал до конца, что с ним? Чем больше раздражали и даже бесили выступления Н., заметно активизировавшегося накануне собственного юбилея, тем напряженней становилось ожидание. Вспомнит или не вспомнит? Позовет или не позовет?

«Неужели причина только в том, что Н. — птица высокого полета, известный человек?» — спрашивал себя К., никогда не страдавший комплексом неполноценности и не стремившийся приобщиться к миру высокопоставленных особ. Если б это было так, то он просто перестал бы себя уважать, настолько это было ему чуждо, тем более если учесть полное несовпадение во взглядах.

Но ведь отчего-то это все-таки происходило? Да, тогда они были моложе, ну и что? При чем здесь это? В сущности, они были по разную сторону баррикад и тогда, и теперь, и еще неизвестно, готов ли он был бы при случайной встрече пожать Н. руку — вот даже как.

Нет, это тоже было слишком. Но если бы они все-таки встретились, К. мог бы ему открыто, без обиняков, выплеснуть все накопившееся, всю горечь и несогласие, которые, вероятно, разделяли с ним очень многие. Это было бы с его стороны не просто правильно — использовать такую возможность, но своего рода гражданским поступком, пусть даже и не требующим особого мужества. Он мог бы донести до бывшего ученика мнение сотен тысяч, если не миллионов, попытаться объяснить его заблуждения. Ведь именно теперь, находясь близко к самой вершине власти, уверенный в собственной непогрешимости, Н. меньше всего мог услышать другие мнения.

Идея эта так захватила К., что он время от времени даже начинал бормотать вслух, причем не только ночью во сне, но и днем, вызывая тревогу жены. Он

должен был, просто обязан был сказать, что нельзя тянуть страну в смуту безвременья, нельзя навязывать ей ложную модель развития только потому, что она якобы не приспособлена для демократии, ну и так далее. Все это казалось ему настолько очевидным, что вовсе не требовало особого велеречия.

Слова должны быть простыми и ясными, как и те смыслы, которые стояли за ними. Так же просто и ясно они могли бы прозвучать на любом языке, будь то хоть английский, хоть китайский, хоть какой. Может, на английском это прозвучало бы даже доходчивее, но и на мове родных осин, уверен был К., они не менее убедительны. Нужно только, чтобы человек был открыт для них и не упирался в собственные ограниченные или даже превратные представления.

В общем, он готов был к встрече, теперь даже и цель была, очень важная. Может, его миссия (или даже предназначение) в этом и состояла: что в полной мере не удалось совершить когда-то на их занятиях английским, необходимо было завершить теперь. Дело оставалось за малым — за приглашением или хотя бы звонком.

Когда звонок наконец-таки раздался и в трубке послышался хорошо знакомый, почти привычный по многочисленным радио- и телевыступлениям голос (сам позвонил!), К. несколько не удивился. Волнение, да, было, но ни удивления, ни особой радости. Раз предназначение, значит, так и должно быть, все закономерно и неизбежно. Н. же буднично, как будто они только вчера расстались, с теплотой в хорошо поставленном голосе сказал, что всегда о нем помнил и хотел бы видеть на своем юбилее, причем даже не официальном, а в кругу самых близких людей. К. ведь очень много для него сделал, он, наверное, даже не знает, насколько много, так что Н. ему чрезвычайно признателен и хотел бы лично эту признательность выразить.

Господи, подумал К., значит, он и вправду связан с Н. некими тайными узами, значит, их общение на тех, давних занятиях действительно не прошло даром. Правда, это, на первый взгляд, мало что изменило в представлениях Н., однако кто знает, может, если бы не их занятия, все было бы намного хуже. А теперь у него появился еще и шанс кое-что изменить к лучшему, подкорректировать, подправить. Верил он в это или нет — Бог знает. Но что он хотел этого — сомнений не было. И когда голос Н. в трубке смолк в ожидании его ответа, К. прокашлялся, освобождаясь от стянувшего связки волнения, и, выдержав некоторую паузу, заговорил. «In my opinion, — сказал он твердо, — you are not right...»

И дальше он к своему собственному удивлению почему-то продолжал говорить по-английски, с чувством, с толком, с расстановкой, как если бы говорил со своим студентом, пытаясь донести до него не только смысл фразы, но и особенности произношения, он говорил все те фразы, которые собирался произнести по-русски, четко и внятно, говорил, говорил, говорил, а когда закончил, то услышал в трубке лишь громкие короткие гудки...

Ренат Беккин

Равиль Бухараев, каким я его знал

— С Бухараевым лучше не связывайся — предупредил меня коллега. — Втянет тебя в свои сектантские игры, потом не отмоешься.

Но коллега опоздал со своими предостережениями. Я уже успел «связаться» с человеком, которого все мои друзья и знакомые из числа мусульман иначе как «сектантом» не называли.

Первый раз мы встретились с ним в ЦДЛ на Большой Никитской в марте 2007-го. Ели, помнится, уху. Затем переместились в одну из кофеен поблизости. Поседевший джентльмен с ухоженной бородой, с раскрасневшимся веснушчатым лицом, он подтверждал популярный тезис о том, что человек, долго живущий в какой-либо стране, вскоре начинает обликом своим походить на ее жителей. Я подумал о годах, проведенных Бухараевым в Англии, и поделился с ним своим наблюдением.

— Вы знаете, у меня есть целая теория, что татары в России — это как шотландцы в Англии, — с энтузиазмом подхватил он. — Немыслимо представить Великобританию без шотландцев. И Россию без татар попробуйте представить. Мы и по духу близки: гордые, независимые, решительные. Немного сумасшедшие.

— В самом деле, — охотно согласился я.

Мне как татарину льстило это сравнение. Я любил шотландцев.

— Не возражаете, если я закурю? — Бухараев достал свою знаменитую трубку.

— Конечно, нет.

— Никак не могу избавиться от этой вредной привычки, Ренат-эфенди.

Он был не первым, кто называл меня так, но в его устах вежливое, воскресшее из прошлого обращение «эфенди» звучало по-особенному, словно разговор наш происходил не в начале XXI века, а столетием раньше. И не в столице России, а где-нибудь на берегах Босфора. Я отвечал ему взаимностью, называя: Равиль-эфенди. В письмах же он обращался ко мне просто: Ренат или Ринат.

Поводом для нашей первой встречи послужил журнал «Четки», задуманный и начатый в том же 2007-м году. Я был главным редактором этого издания. Молодой, никому пока не известный журнал нуждался в авторитетных друзьях из

Беккин Ренат Ирикович — ученый-исламовед, писатель и общественный деятель, профессор Казанского федерального университета. Публикации в «ДН»: «Русские мусульмане: заблудшая секта или авангард российской уммы?» (№10, 2012).

среды русских писателей и поэтов, и наш спонсор настойчиво рекомендовал мне обратиться к Бухараеву. Я написал поэту письмо, и в один из его приездов в Москву мы встретились.

— Вы не представляете, какую замечательную вещь вы затеяли, — сказал Равиль-эфенди после того, как я подробно изложил ему идею журнала. — Я готов помогать чем могу.

— Напишите что-нибудь для журнала? — спросил я.

— Конечно. Что вас интересует?

— У нас проблема со стихами. Нет хороших стихов, которые бы отвечали и критериям художественности, и целям журнала.

— Проблема в том, что те из моих стихов, которые могли бы подойти, в основном уже опубликованы. Если вас это не смущает, Ренат-эфенди, то я сегодня же вечером пришлю их.

— Нет, не смущает. Я, по правде говоря, до сегодняшнего дня не читал ваших стихов. Наверное, я не один такой невежда. Вот мы и познакомим таких же, как я, с вашим творчеством.

— Хорошо. В следующий раз обязательно подарю вам свою книгу.

— Спасибо, буду очень рад.

Я с удовольствием отметил для себя: он несколько не удивился и не обиделся на то, что обратившийся к нему с просьбой о сотрудничестве человек не удосужился прочесть что-нибудь из его стихов хотя бы из вежливости.

С первого номера Бухараев стал постоянным и самым дисциплинированным автором «Четок». Он никогда не подводил нас, всегда предоставлял тексты в назначенные сроки.

На следующий год, когда стало ясно, что журнал будет жить, я стал всерьез думать над формированием редакционного совета «Четок». Были начаты осторожные переговоры с Чингизом Айтматовым, Риммой Казаковой. Согласие Бухараева было получено еще в середине прошлого года. Но в мае умерла Казакова, а в июне пришли вести о тяжелой болезни Айтматова.

Услышав о критическом состоянии Чингиза Торекуловича, я в тот же день написал Бухараеву письмо:

«Добрый день, Равиль-эфенди! Как Ваше самочувствие? Я уже боюсь поднимать вопрос о редсовете — что-то роковое в этом получается. Как только Вы согласились быть членом совета, легли на операцию в Лондоне. Вот теперь Чингиз Торекулович, которого мы тоже наметили, болеет. Римму Казакову тоже собирались...» (10.06.2008)

В тот же вечер стало известно, что Айтматов умер.

На следующий день от Бухараева пришел бодрый ответ:

«Насчет редколлегии, пожалуйста, не берите в голову. Никакой мистики здесь нет — все в порядке. Просто время приходит всему на свете» (11.06.2008).

Слова эти несколько успокоили меня, но ненадолго. Через месяц умер Анатолий Игнатьевич Приставкин, с которым у меня сложились добрые отношения и которого я тоже предполагал пригласить в редакционный совет. Я увидел в этом «последнее китайское предупреждение» Свыше и решил больше не искушать судьбу. Вопрос о редсовете «Четок» был закрыт. Раз и навсегда...

В вышедшем вскоре номере «Четок» была опубликована рецензия на последний роман Айтматова «Когда падают горы (Вечная невеста)». Бухараев писал свой отклик на роман в 2006 году. Он не мог знать тогда, что это письмо станет последним в их переписке с Чингизом Торекуловичем. В своем письме-рецензии Бухараев обращается к Айтматову как к подлинному духовному лидеру

своей нации: «...В отличие от многих других писателей, которых смутило нынешнее безумие мира, Вы по-прежнему обеими ногами стоите на родной почве, но видите до края мира, и это потому, что видите не только разумом, но и сердцем, душой».

Когда Равиль Раисович умер, я не раз вспоминал эти его слова. У самого Бухараева, как ни у кого другого, были наилучшие шансы стать духовным лидером нации, своего рода татарским академиком Лихачевым.

Но духовным лидером татар Бухараев так и не стал. По вполне понятным причинам. Для того, чтобы претендовать на эту роль, требовалось одно из двух: либо быть светским интеллигентом с незапятнанной репутацией и мировым именем, как Айтматов, либо религиозным мыслителем, мусульманским подвижником. Бухараев же не был ни тем, ни другим.

Удачно сочетая в себе черты настоящего советского интеллигента эпохи упадка и западного интеллектуала высшей пробы, он не был при этом человеком светским, снисходительно признающим существование абстрактного Высшего Разума. Бухараев представлял собой тип глубоко верующего человека, мыслителя, вся проза которого после прихода к вере была пропитана исламскими мотивами. Но выступать религиозным лидером Бухараев также не мог, поскольку был приверженцем движения ахмадия, которое, по мнению подавляющего большинства мусульманских ученых, вышло за границы ислама. Человек, принадлежащий к данному движению и тем более активно пропагандирующий взгляды его лидеров, едва ли мог претендовать на сколько-нибудь значимую роль в умах и сердцах соплеменников даже в толерантном Татарстане.

Понимал ли это Бухараев? Думаю, да. Понимал, но не хотел изменять своим убеждениям. Он был искренен в том, о чем говорил и писал, в неизмеримо большей степени, чем некоторые из тех, кто, недолго думая, приклеивал к нему ярлык «сектант». Так было угодно Всевышнему, что именно представителей ахмадийского движения он повстречал на пути в непростой период своей жизни. В период исканий. Так получилось, что именно они помогли ему выкарабкаться из охватившего его кризиса, обрести себя вновь. И он верил, не мог не верить как самому себе людям, переменившим его судьбу.

В разговорах со мной он искренне удивлялся, почему другие не считают его мусульманином.

— Разве я так же, как они, не молюсь пять раз в день? Не плачу закят? Мы отличаемся от других мусульман только тем, что не верим во второе пришествие пророка Исы. Его не будет, потому что к человечеству явился обещанный мессия в лице Его святейшества Мирзы Гуляма.

— Видите ли, Равиль-эфенди, — отвечал я, тщательно подбирая слова. — Это принципиальный вопрос. Вы же западный человек и прекрасно понимаете, что обряды в наши дни — это личное дело каждого человека. А вот то, что ахмадиты фактически опровергают основной тезис ислама о Мухаммаде как печати пророков — штука серьезная. Что касается меня лично, то я считаю мусульманином любого человека, если он сам называет себя таковым.

Подобных разговоров с расставлением всех точек над «i» между нами больше не было. Но исламские вопросы всплывали в нашей переписке гораздо чаще, чем литературные сюжеты. В этом нет ничего удивительного, если обратить внимание на названия и содержание публикаций Бухараева за последние годы. Во многих из них тема ислама проходит красной нитью.

В 2008-м году он поведал мне, что работает над книгой «Ислам и наука в современной России». Он не раз обращался ко мне с различными вопросами,

связанными с исламом. В первую очередь, его волновали проблемы гуманизма в мусульманском мире в контексте провозглашенной Кораном справедливости Аллаха.

В одном из писем он писал:

«Насколько я понимаю, практическое толкование шариата настолько же основано на прецеденте, как римское право. Но, в свете справедливости Аллаха, применение закона требует точности его понимания. Например, наказание за прелюбодеяние — удары плетьюми. Встает вопрос — какими плетьюми, насколько сильные удары, прилюдно или тайно, и прочее, и прочее. Если не указано, какая плеть, то, строго говоря, я не могу применить этот закон: слишком жесткой плетью можно ведь и убить, а за это — ответ перед Аллахом. Отсюда следует, что шариат применим как нравственный закон, но его применение как, скажем, уголовного закона — под вопросом. Что вы об этом думаете?» (26 ноября 2007)

Я обстоятельно ответил ему и вскоре получил новое письмо от человека, погруженного в сладостный поиск истины:

«Дорогой Ренат! Огромное спасибо за ваши мысли — я непременно использую их в том виде, в котором вы их прислали. Я сейчас раздумываю над одним из главных для моей работы хадисов — об области сомнительного между Халал и Харам, о сомнении как двигателе научного мышления. О месте сомнения в исламе (огромное количество ортодоксов полагает — в том числе и в русских источниках — любое сомнение равным вероотступничеству — неудивительно, что мы уже дожили до призывов к смертной казни за плюшевых медвежат. То ли еще будет на этой дорожке...). Читаю также вновь Ибн Рушда, судьба которого так показательна для истории ислама: он — последний великий рационалист мусульманства и одновременно первый великий рационалист Запада. Буду признателен вам, если вы посоветуете мне что-то почитать, посмотреть или с кем-то поговорить по тематике моей книги. С уважением, Ваш Равиль» (1 декабря 2007).

Наше общение с Бухараевым было обменом суждениями. После вышеприведенного разговора мы не стремились переубедить друг друга. Наверное, потому мы так легко находили общий язык. Каждый из нас уважал мнение другого, даже если не разделял его. Я был одним из немногих в России мусульман-неахмадитов, кто не считал его сектантом, заблудшим, принимал его не как современного татарского поэта номер один, а как мусульманина. Мусульманская же общественность игнорировала его. Это сильно расстраивало Бухараева.

Возможно, поэтому он не в последнюю очередь видел в мусульманском литературно-философском журнале «Четки» ту самую трибуну, с которой он мог бы обратиться к правоверным России — нет, не с проповедью, а скорее с изложением и разъяснением тех взглядов, которых он придерживался.

Каждый текст Бухараева я подвергал незначительной правке — удаляя те места, которые вступали в диссонанс с общепринятой среди суннитского большинства точкой зрения. Он понимал и принимал это, соглашаясь с тем, что подлинный диалог возможен лишь там, где собеседники намеренно притупляют остроту своей мысли.

Я чувствовал, не мог не чувствовать, что его чудовищно огорчает моя сдержанность в отношении ахмадитов.

— Я хочу, чтобы вы увидели все своими глазами, — однажды сказал Бухараев. — Хочу пригласить вас на съезд движения. Они оплачивают дорогу, визу и проживание. Вам это интересно?

Я отвечал, что да.

Через некоторое время по почте пришло приглашение и анкета. Я бегло ознакомился с приглашением и принялся заполнять анкету. Дошел до последнего пункта... и замер. Там, где должна была стоять моя подпись, было напечатано: член ахмадийской общины такой-то... Иными словами, подписывая эту бумагу, я как бы становился ахмадитом.

Я отложил в сторону ручку и бумагу. Несколько дней ходил, обдумывая, что написать Бухараеву. Мне не хотелось огорчать его, но и принять условия игры я не мог.

Наконец я сел за компьютер и написал ему пространное письмо, сопровождаемое извинениями. Я сожалел, что несмотря на сильное желание, не смогу приехать. Ссылался на то, что организаторами съезда была изменена первоначально озвученная дата, а у меня в это время дела в институте. Я безбожно лукавил, но если бы я тогда сказал правду, это бы во сто крат более огорчило его.

Последний раз мы встретились случайно. В Казани, на Астрономической улице. Дело было в октябре 2011-го. Я шел от университета в сторону Баумана. Равиль-эфенди поднимался в гору, тяжело дыша.

Он обнял меня.

— Вы не были в Москве на моем юбилейном концерте? — в те дни он отмечал свое шестидесятилетие.

— К сожалению, нет.

— Обязательно приходите. Это будет в Консерватории, завтра, в шесть часов.

Но я так и не пришел. Ей-богу, не помню почему...

Мы еще успели написать друг другу несколько коротких писем. В издательстве, где выходил журнал, наступил жесткий кризис. Спонсор вознамерился существенно сократить тираж «Четок» — с 1000 до 150 экземпляров — и обещать журналу: сделать его черно-белым. Мне эта идея показалась невозможной, даже кошунственной. Я написал Бухараеву, что подумываю о том, чтобы отказаться от должности главного редактора. Он, не скрывая своего огорчения, посоветовал не торопиться. Обещал написать письмо спонсору. Я отвечал, что лишь делюсь с ним своими сомнениями, но окончательное решение еще не принял.

Потом он пропал. Я написал ему письмо. Потом еще одно. Но ответа уже не получил...

А от «Четок» я все-таки отказался. Конечно, если бы Равиль-эфенди был жив, он бы ни за что не позволил мне сделать это. Я в этом просто уверен...

Равиль Бухараев

Красный лотос, или Прекращение желаний

Рассказ

Господи Боже — вот Волга.

Вот берега ее — вот стремнина — вот небо над нею — и у меня нет больше желаний.

Лишь одно — пусть продолжится это течение, пусть несет-уносит меня эта блистающая ширь в сознании единства со всем окружающим туда, куда надо Тебе.

Пусть прекратится боль, и пусть остановится память о боли, и пусть перестанет она, и пусть не отнимется чистое зрелище сей земной реки, текущей, утекающей, с ее прозрачным, сильным, промывающим душу ветром и опрятными, утешными ее берегами, с ее белыми чайками и цаплями, и песчаными отмелями, и заливами, и бьющей на плесах рыбой...

Ведь подступающий возраст и неукротимость жизни опять — вот уже опять отнимают это действительное осязание счастья, как будто совсем уж нельзя быть счастливым, как будто это запрещено, как будто человек и вправду рожден лишь для горечи и сожалений, а не для того, чтобы плыть и плыть под солнцем и звездами в зеркальной протоке жизни наедине — наедине с Тобой и всем в Твоем отражении сущим...

Прибыв в родную, по-августовски жаркую, еще в молодости *навсегда* брошенную Астрахань на туристическом теплоходе, кадровый дипломат Тимур Валеевич Кормаков первым делом увидел с прогулочной палубы все ту же типовую, серо-белую, бетонно-решетчатую гостиницу «Лотос», за которой, на кремлевском возвышении, проглядывали по-над крышами и купами деревьев зеленые купола массивного Успенского собора.

И он на мгновение закручинился — в предчувствии обязательных земных разочарований.

Год был две тысячи третий, и небо было высокое, очень высокое, бледно-голубое, в перистых облаках. Было жарко, но от воды еще помавало, веяло

Равиль Раисович Бухараев (1951—2012) — поэт, переводчик, прозаик, публицист. Родился в Казани, по образованию математик. Автор многих книг стихов и прозы на русском, татарском, английском, венгерском языках. С 1992 года жил в Англии, работал на русской службе Би-би-си. Награжден орденом Единения ООН «За деяния на благо народов». Был постоянным автором «Дружбы народов». Последняя крупная публикация в нашем журнале — повесть «Таежный виноград», № 11, 2011.

прохладной утренней свежестью. Покуда туристический теплоход обыденно швартовался у причала старинной волжской набережной напротив одного из множества покрытых зеленью городских островов, жалко, до щемления сердечного жалко стало Кормакову прожитой, а вернее — той, так и не прожитой в вечной спешке жизни.

Чересчур ведь быстро промелькнула она, та жизнь, когда был он, Кормаков, молодым, темно-русым, чуть по-татарски раскосым, но чрезвычайно зорким и крепкозубым — в кругу стройотрядовских приятелей пивные бутылки этими самыми зубами открывал, чем всегда вызывал негодование единственного своего друга Артема. Артем считал подобные выкрутасы дурацким лихачеством — он вообще со многим в поступках и стремлениях Кормакова не соглашался: потому, наверное, впоследствии они и перестали общаться. Но это случилось много позднее тех лет, когда они с молодецким задором строили овечьи загоны в Калмыкии и коровники в Саратовской области, а потом, к осени, оставались на шабашку, перехватывая работу у кочевых армянских бригад. Артем относился к делу заработка много серьезнее Кормакова и часто оставался на шабашке до белых мух: «А что — зимой зубы на полке прикажешь держать?» — огрызнулся он на призывы Кормакова наплевать, уехать вместе с ним домой и предаться свойственным беспечному студенческому времени городским развлечениям. В ответ Кормаков обзывал его куркулем — и уматывал в город.

Да, прижимист был его друг и не по годам рассудочен, но зато с ним было хорошо рыбачить вдвоем в волжских пойменных протоках, смотреть на воду и молчать — от полноты чувств.

Вообще, с самого начала своего отпускного путешествия Кормаков с какой-то страшной ясностью все вспоминал и вспоминал те полные чудных чаяний годы, особенно когда по утрам в буквальном смысле брал зубы с полки и, бреясь, поневоле смотрел в зеркало своей одноместной каюты. Без надетого по служебной надобности лица и официального, разорительного, синего в красную нитку костюма далек — невыносимо далек был он, уже разменявший полтинник, пепельно-серый и постный, от себя — добра молодца, полного всяческих чувств, стремлений и обещаний.

И не сказать ведь, что обещаний, данных себе в молодости, он не исполнил. Решительно уйдя с третьего курса юридического факультета, куда так стремилась вся честолюбивая астраханская молодежь, он потряс всех, или почти всех, и поступил в МГИМО, причем безо всякой там пролетарской разрядки, блата и даже особенной комсомольской активности. Не обошлось, конечно, без наглости отчаяния — сумел, будучи в Москве, подсунуть заготовленную рекомендацию в канцелярию бога американистики тех лет Валентина Зорина, а тот, не глядя, среди прочих подмахнул и этот ловко подложенный на стол листок. Кормаков было подумал тогда, что ухватил жар-птицу за хвост, однако номенклатурная действительность после института оказалась куда занозистей и противней, чем он предполагал. Ему бы пойти по линии госбезопасности или жениться на посольской дочке, чтобы выправить изъяны происхождения, а он женился по нечаянному влечению — и кругом прогадал.

Нынче, честно утруждаясь в невысоком по годам ранге *первого секретаря второго класса* в российском представительстве при одной из высокомерных европейских структур, он проживал с женой в занудном, как сама бюрократия,

Брюсселе, давно уже махнув рукой на дальнейшую мидовскую карьеру. Неведомо, справедливо ли суждение, что всякого некорыстного российского человека за граница рано или поздно замучит до смертной тоски, но Кормакову его фальшивое брюссельское бытование уже и вправду успело опротиветь — временами до полнейшего душевного озверения. Взял бы и бросил все к чертям собачьим, но куда было служивому податься — не в московскую же двухкомнатную кооперативную квартиру на Новозаводской улице в Филях, которую его, можно сказать, заставили купить на валютные чеки много лет назад?

Все реже вспоминался ему тот начальный восторг, когда, не в пример другим советским людям, занятым посильным укреплением развитого социализма, он, отрубив свое в братской Индии и еще более братской Анголе, начал свободно колесить по Европе и, зарабатывая те недоступные другим чеки, дивиться ее благопорядку и ответственности, вкушать зимой землянику и пить пиво, когда захочется, а не когда привезут... Лишь одно памятное осознание той некогда примнившейся ему свободы иногда возвращалось к нему в печалях бессмысленных будней: вот он опять стоит у окна аккуратного поезда, везущего его из Кельна в Остенде, а снаружи — по долам и холмам — цветет, светится, сияет чистым белопенным цветением невозвратная весна первого открытия Европы...

Островерхие церкви и опрятные домики рядком и по отдельности стояли в этом повсеместном, бушующем светоносной кипенью земном раю; до блеска отмытые иномарки сосредоточенно мчались по широким или узким, но всегда безупречным шоссе, и это поступательное перемещение, сродни движению отлаженного часового механизма, исполнено было тысячелетнего смысла, в котором и изначальная просчитанность цели, и парковая правильность окружающей красоты работали, как положено, на достижение зажиточного довольства, которое только и обеспечивало там расчетливый покой человеческого существования.

Много с тех пор воды утекло — и в Волге, и в Рейне: Кормаков уже давно знал цену этому купленному в рассрочку, под большие проценты, европейскому спокойствию, высокомерного всезнайства которого не сумела поколебать даже катастрофическая гибель огромного соседнего государства — того самого, во имя которого он всю жизнь подчинялся вышестоящему начальству и на считанные деньги перемогался с семьей по казенным квартирам в разных концах света, всегда, даже *дома*, взвешивая каждое сказанное вслух слово.

Нынче, в Брюсселе, куда его заключила напоследок казенно-приказная судьба, Кормакова уже совсем достало унылое от многого знания одиночество, настагающее всякого обязательного и при том совестливого человека в конце профессиональной карьеры. Незаметно выросшие дети, досыта вкусившие заграничной реальности с ее красивой на вид, но восковой на вкус и совсем не сладкой земляникой, вовремя подались в кипящую всяческой новизной Москву и весьма неплохо устроились в новом порядке вещей; двужильная *татарская мама*, еще в советские времена перевезенная в столицу из Астрахани, все еще могла приглядывать из своих Филей за подрастающими внуками, — все, словом, оказалось схвачено, ловить вдруг стало нечего, и тогда выяснилось, что Кормакову надлежит отныне задумываться исключительно о собственной пенсии и навсегда позабыть о прежних заоблачных высотах.

Сломался он уже как-то незаметно и буднично. Выбиваться из подполков-

ников в генералы дипкорпуса было совсем уж поздно, тем более, что с нынешним начальством он как-то по-особенному не сработался. Мало того, что вышестоящий, из новых выскочек, своим спесивым хамством мало чем отличался от прежних обкомовских, наскоро проходивших дипломатическую академию и ни хрена не смысливших в работе. Новые рукоуси к тому же не только истаявшего в воздухе ЦК, но и Господа Бога не боялись, поскольку далеко не заглядывали, да и государственные интересы, глядеть за которыми они бывали приставлены, менялись чуть ли не ежедневно в зависимости от экономических прихотей новых хозяев жизни. Эти размытые, уже неразлично слившиеся с корпоративными и частными национальные интересы барственно озвучивались теперь разве что частыми делегациями, составленными все из тех же новоиспеченных скоробогачей и надутых чванством думцев, которых нужно было всячески обслуживать, а уж капризны были до чрезвычайности. Так что дипломатические обязанности Кормакова в бюрократической столице Европы свелись по большей части к «чего изволите» безо всякой уже надежды понять, где кончаются частные интересы и где, наконец, начинаются государственные.

После одного недавнего, особенно грубого и унижительного случая, едва не стоившего Кормакову давно заслуженного инсульта, рассудительная жена и вытолкала его в отпуск, причем присоветовала не какой-нибудь там давно уже скупленный отечественными скоробогачами Лазурный берег, где можно было легко столкнуться все с теми же новыми хозяевами жизни, а ностальгическое путешествие по Волге — в одиночной каюте. Стоило это дорого — но Кормаков не спорил. Он давно отвык спорить с женой, которая неизменно оказывалась права в пределах их собственного небольшого мира, каковой она сама же и обустроила, нечувствительно, но весьма настойчиво учредив в нем четкие правила покаянных послушаний. Иногда, по рассеянности или же от усталости Кормаков нарушал эти устойчивые правила, за что и бывал казним долгими, давно уже заученными наизусть назиданиями, но выручало то, что он очень скоро отключался и опять уходил в себя, воспринимая отчитывающий его голос жены, как нынче шум главного судового двигателя, — назойливый, но ведь и необходимый для необходимого продвижения вперед.

Уговорить его, стало быть, ей было легко. Был август 2003 года — мертвый сезон, европейские парламенты наслаждались каникулами, и дело с внеочередным отпуском сладилось без особо унижительных осложнений.

Так он вырвался на волю.

Это действительно оказалась воля, не тревожимая ничем, даже встречными и попутными теплоходами и баржами, которых было до обидного мало на низовой волжской струе. Река, вошедшая после всех шлюзов и водохранилищ в свои природные пределы, работала только на себя, но, имея природную совесть, вкупе с бесчисленными своими рукавами и протоками по-прежнему усердно орошала сухие окрестные степи.

Неспешно проходили перед глазами Кормакова пустынные, в кудрявых ольховых, тополевых, ивовых рощицах берега. Наискось перемежали реку чистые и безмятежные, как сознание ребенка, перекаты, отмели и белопесчаные косы; распахивались вдруг за очередным поворотом стремнины широкие речные рукава и утешно открывались взору побочные заводи и заливы в камышах, поспевшем рогозе и золотых августовских кувшинках.

И небо, небо, — высокое, очень высокое, бледно-голубое, в перистых облаках.

После Волгограда — ближе к Астрахани отрадная темная зелень густела уже разве только в прибрежных низинах, и редкие всхолмья, окаймленные по подошве бугра выгоревшими, остроугольными степными травами, напоминали Кормакову желтую лысину вышестоящего начальника. Несмотря на отдельные привходящие речки, только она, ветвистая и неустанная Волга, от века омывала, питала собой эти ровные, как стол, горючие и солянистые ногайские степи, когда-то с превеликими усилиями заселенные русскими переселенцами, а ныне снова пустые и первопричинные — как после первого сотворения мира.

Еще живые села, если и были вокруг, прятались в степи, и на всем нижнем течении обезлюдившей реки виднелись по обоим берегам под сенью приветных и заманчивых ольховых рощ разве что эфемерные палаточные городки и автомашины заезжих рыболовов.

Кормаков, однако, не сокрушался этим зримым запустением, сберегая неизвестно зачем последние душевные силы.

Качались в своих надувных и моторных лодках рыбаки, — пляжники и туристы-дикари по незабытой советской привычке махали проходящему теплоходу руками. Махонькие белые цапли стояли в воде, а некоторые и сидели на торчащих из воды серых сухих деревьях. Бурый степной орел поглядывал на мир с невысокого глинистого яра; выпархивали из черных норок ласточки и стрижи, чайки врассыпную белели на золотистых отмелях, и близ берега весело играла рыба, по природному своему безмыслию радуясь отсутствию судового движения на реке.

Очередной августовский день все длился, длился и длился, словно и не думая завершаться, но потом наступал и вечер. Предосеннее, все еще по-южному яркое солнце вдруг во всем ослепительном блеске своего белого каления на мгновение зависало над волжским правобережьем и тотчас начинало зримо погружаться за окоем. На это солнце уже можно было глядеть: небеса вокруг него наливались истовым калиновым светом, а затем становились пурпурными, малиновыми, сиреневыми, фиолетовыми и загустевали, угасая и остывая, но еще долго лучась остаточным свечением.

Милые сердцу яры-берега темнели, но тем светлее и просторнее начинала сиять и светиться закатным телом сама река, словно запоминая на ночь прощальные краски неба и земли. С берега на берег, растягиваясь и вновь воссоединяясь, перелетала в светлых от воды сумерках кучная, но по-вечернему молчаливая стая галок, похожих на фоне гаснущих небес на выпущенных из спичечного коробка черных мотыльков. Чайки, большие и малые, тоже сбивались в стайки перед наступлением ночи, и лишь одна случайная пара, словно опасаясь навсегда расстаться, летела куда-то низко-низко над самым плесом, чуть ли не сопрягаясь в тускнеющих водах с собственным двойным отражением.

Господи, да не в это ли закатное время так мается жалостью ко всему земному и так изливается неистраченной любовью глупое человеческое сердце, не в это ли время плачет оно по пустякам, как плакало только в юности от своего целомудренного и неразделенного чувства? Почему же наивная природа его, вопреки всей злобе мира, становится на закате так ясна и прозрачна, — да не потому ли, что и оно, сердце, на закате бытия отдает всем и никому в отдель-

ности накопленный за долгую жизнь свет, в последнем порыве живых чувств надеясь и уповая, что и завтра, о Господи, и завтра, и присно, и вовеки будет сочувственно согревать его это утешное возвратное свечение всеобщего и необратимого бытия, этот — несмотря на все неискупимые провинности наши — милостивый и милосердный, всепрощающий, вовеки негасимый свет...

И вставала на реке ночь: струящиеся широким потоком русельные воды становились совсем черными и лишь за кормой теплохода курчавились в бархатной живой тьме белой пеной, — красными и золотыми огоньками начинали мигать в ночи путеводные бакены. Небо, небо — оно все еще пыталось удержать на земле ускользающее свечение заката, отчетливо обозначая возвышенную линию правого берега зеленоватым сиянием, но над левым берегом вскорости высыпали во многом своем множестве звезды, и много их падало с небес в эти августовские ночи. И никогда при виде падающих звезд Кормаков не загадывал никаких скорых желаний, но всякую ночь выходил на верхнюю палубу, чтобы выкурить извлеченную из латунного с насечкой портсигара и неспешно вдетую в антикварный желтый мундштук крепкую, утешную сигаретку «Голуаз» и посмотреть в отрадном одиночестве на широкую, текучего серебра лунную дорожку, с которою в первичные часы ночи, вивясь, соперничало на широко и плавно струящейся антрацитово-голубой воде разве что свечение редких и одиноких причальных и судовых фонарей.

Журчала, пенилась за кормой черная вода, и Кормаков по заведшейся от неожиданной речной бессонницы привычке медленно прогуливался по палубе от носа к корме и обратно, а иногда останавливался у бортовых перил и вслушивался в окружающую тишь, — негромкий гул главного судового двигателя вскоре перестал раздражать его и сделался незаметен. Глядя без особенных мыслей в ночную темень, и он, Кормаков, подобно неустанной реке, посылно отдавался на волю времени и обретался в его созвучном и соцветном Волге течении, — никуда, как ни странно, не спеша и не торопясь. Густая речная тьма и звездная тишина становились в его слитных ощущениях как бы единым целым, и он, Тимур Валеевич Кормаков, и сам, хоть и ненадолго, словно бы становился неотменимой и даже, подумать только, необходимой частью этого неослабного единства, не вовсе и сознавая это, но всей безымянностью души отдаваясь безотчетному течению реки и сопутствующего всякой жизни времени.

Потом луна поднималась ввысь, в зенит, и принималась в подражание солнцу освещать широкую, шелковистую речную гладь. Четче обозначались в небе созвездия, и лунная дорожка, сокращаясь, как делает это в светлое время суток полуденная тень, поблескивала уже под самым бортом, и когда теплоход, ведомый сочувственным подмигиванием бакенов, притирался к берегу, различимы становились в безобманном лунном свете бледно-зеленые деревья, кусты и поросшие сухими травами песчаные барханы, и проносилась прямо над головой Кормакова серая летучая мышь, а в дальнейшей тьме звонко и громко, как у себя дома, перекликались какие-то безвестные ночные птицы.

И тогда Кормаков, завораживаясь тишиной и не умея уйти с палубы в замкнутую каюту, вдруг вспоминал подзабытые стихи о том, как пустыня вне-млет Богу и как звезда с звездой говорит, что означало, что жена опять оказалась права, и к нему действительно возвращается осязание себя изначального, почти уже и позабытого в чересполосных борениях жизни.

Так, тихо и молчаливо отсчитались дни и ночи от Москвы до Астрахани, и умаянный жизнью Кормаков, можно сказать, отдохнул и отдышался. Ему, вечному баловню судьбы, и тут повезло — никто не привязывался к нему с пьяненькой дружбой, никто не лез с сокровенными разговорами. Круиз был не всякому по карману, и днем у всех пассажиров были свои думы, а когда под назойливую музыку открывался бессмысленно дорогой бар, Кормаков, пережидая общее веселье, укрывался в своей каюте и читал захваченный в Москве томик Бунина, — так самозабвенно погружаться в книгу ему, за суетливой беготней с бумажками и поручениями, тоже давно не случалось.

Между тем настала, как сбывающийся сон, и Астрахань. Попутчики Кормакова по круизу, все больше парами, уже спускались по трапу на набережную, на которой в ожидании очередного теплохода, бок о бок с коробами знаменитых нижеволжских арбузов, а также продолговатых или круглых, желто-шершавых и глянцевых калмыцких дынь, были загодя расставлены раздвижные лотки с местными сувенирами — керамическими, цвета кофе с молоком осетрами, распластанными на лакированных дощечках, и забавными фигурками разномастных толстопузеньких котов, один из которых, в лихом кепарике, держал под мышкой полосатый арбуз, и по белому сытому животу его вилась надпись: «В Астрахани хорошо».

И кто бы спорил? От самой Казани все нижеволжские города издавна притязали на право именоваться «вратами Востока»: не отставала от них и старокупеческая Астрахань со своей крутой летней жарой и ногайскими ликами туземцев, но праздный турист или заезжий командировочный, которым несподручно заглядывать в какую-нибудь там всплошь населенную татарами городскую слободу Старокучергановку, не увидели бы в городе ничего сугубо азиатского. А ведь от Астрахани, как известно, и до Ирана рукой подать.

Но ведь и то известно, что Волга впадает в Каспийское море, однако увидеть это воочию не каждому в жизни доведется. Кормакову — доводилось, и он, по долгу службы знакомый и с корыстной дележкой Каспия, умел смотреть на мир не только с укромной Валдайской возвышенности, и если уж называл Астрахань вратами, то уж скорее входными — в саму Россию, куда и сегодня упорно, но безответно стучался разномастный глубинный Восток. Коренные астраханцы, к которым, несмотря на смешноватую, купленную когда-то в андалузской Малаге соломенную шляпу, белые брюки и цветную рубашку на выпуск причислял себя по праву рождения и Кормаков, знавали о старинном городе и его степных-речных окрестностях всякие разности, недоступные залетным гостям.

Нахлынувшее было тоскливое наваждение, как это бывало с Кормаковым, стало уступать место наивным чаяниям, и он, спускаясь по шатким деревянным сходням на набережную, уже заранее предвкушал свою собственную, тенистую, персиковую и виноградную, арбузную и дынную Астрахань с ее дивными двухэтажными и узорнокирпичными домами (у каждого ведь свой характер и свое лицо), белым-белым, слепящим глаза сквозь листья акаций и чинар солнцем и скважистыми мозаичными тенями, ярко и целительно мерцающими на тротуарах.

Наскоро отмахнувшись от сбжавшихся к трапу теплохода торговцев браконьерской икрой и еще более охочих до туристов цыганок, Кормаков бодрым шагом пересек небольшую, выложенную квадратными бетонными плитами пло-

щадь перед гостиницей «Лотос» и скрылся в прилегающих улицах, милосердно осененных нависающей тенистой листвой.

В единоличном распоряжении у него был целый день, и он в отличие от иных-прочих не нуждался в экскурсоводе. Ни Астраханский кремль с его Пыточной башней, помнящей предыдущие Смутные времена, и высоченным зеленоглавым Успенским собором, ни чудный маленький музей Велимира Хлебникова, ни знаменитая Астраханская картинная галерея с Кандинским, Малевичем и Борисовым-Мусатовым не интересовали Кормакова, вдруг заново возомнившего себя провинциальным старожилом.

Почему-то очень важно стало для него просто медленно пройтись по забытым улочкам Белого города, заглядываясь на старинные, увенчанные чеканными жестяными вазами водосточные трубы, на ажурные кованые парапеты и балконы, на фигурное чугунное литье балконных колонн и въездных ворот, важно стало навестить резной деревянный терем купца Тетюшинова, а потом выйти на волжский рукав Кутум, благодаря которому разбросанный по островам город со многими своими затонами, ериками и протоками честно заслуживал свое прозвание «Южной Пальмиры».

Он шел, Кормаков, и кружевные тени листвы, которую с осторожной предупредительностью трогали прозрачные струи ветра, мерцали и переливались под ногами. Грусть-печаль, с которой он вновь увидел родной город, где у него давно не осталось никакой близкой родни, скоро вовсе утомилась и сошла на нет от поминутно крепчающей жары и, всем существом припомнив эту сухую жарынь детства, Кормаков вдруг с удивлением ощутил в себе шевеление подзабытой за годы телесной радости существования.

— Что же за город, — говорил он себе, — что за пречудесный, оказывается, город! Ну жара, но ведь зато до самого ноября тепло, и с апреля, хоть и жуткий ветродуй, полнейшая ведь благодать. Снег сойдет — и зацветут в степи маки, целые моря пламенеющих маков, да каких же крупных, — или так только казалось по тогдашней малости? Рыба — осетр длиной в лодку или там белуга, голова не помещалась на корме, и все фотографировались рядом с нею. Когда шла селедка, в косяк можно было багор воткнуть, и двигаться вместе с рыбой, не падая; а крупная вобла с конца апреля по начало мая цеплялась по три штуки на самодур. И верблюды, как желтые холмы, на окраинах...

Ему вдруг вспомнилось, как было смешно, когда передвижной зоопарк привез в город такого привычного здесь верблюда, потом припомнилась поездка с родителями на соленое озеро Баскунчак с летящими над его сверкающим простором лебедями, и вспомнились розовые фламинго на отмели, и зачем-то возвратилось то давно уж не нужное знание, что для полива садов и огородов воду в Старокучергановку завозят в цистернах, потому что из тамошних артезианских колодцев идет только горько-соленая вода...

Кормакову стало хорошо — от воспоминаний и непривычной бездумной праздности, да и город, уютный, с его тенистыми скверами, повсеместными ресторанчиками и шашлычными *аль фреско*, шикарным кафе «Шарлау» на месте старой кондитерской и отреставрированными особняками прославленных своей благотворительностью русских, татарских и армянских купцов тешил и подогревал волшебными иллюзиями налетевшее на Кормакова благодущие — ему сызнова, как бывало в пасмурном Брюсселе, явилась настырная мысль о том, что неплохо было бы вернуться на родину и провести в теплой Астрахани оста-

ток дней, и Кормаков не тотчас и отогнал ее, как нечто несусветное и чересчур уж простосердечное. Главное, люди были как люди, не слишком хмурые и вовсе не злые, а некоторые даже и веселые: они шли мимо Кормакова по своим неизвестным, но, наверное, важным делам и побегушкам, сидели в открытых кафе и городских садах, покупали с уличных стендов дешевые, уж наверняка пиратские CD и DVD-диски, а одна светло-русовая девочка, лет десяти, в открывающей чистый лобик красной вязаной шапочке играла на флейте мелодию из фильма «Титаник».

То есть, это Кормакову показалось, что на флейте, а на деле оказалось, что на курае — татарской свирели, переливного журчания которой давно уже не слышивал загулявший за бугром Кормаков. Он, грешным делом, сначала подумал, что это прекрасное, но современное дитя, подобно бельгийским уличным лабухам, дудит в этом сквозном, выходящем на Кутум сквере за деньги и даже заранее нащупал в кармане своих белых штанов какую-то рублевую мелочь, однако тотчас же увидел, что девочка не одна: на серой скамейке рядом с ней сидела еще совсем не старая женщина в белом платье и тут же стояло на колесах высокое инвалидное креслице с еще одним удивительным существом. Это, догадался Кормаков, единое семейство, и Красная шапочка с татарской дудочкой, должно быть, была старшая сестренка той малышки, что сидела в коляске. Только подойдя ближе, он разглядел, что дело обстояло совсем наоборот: крохотное создание с невесомым кукольным тельцем и миниатюрными ручками оказалось как раз старшей сестрой... По обрамленному длинными прямыми волосами лицу, по ее страдательному лику с огромными влажно-черными глазами и по золотому перстню с зеленым камушком на крошечном безымянном пальчике Кормаков определил, что малышке в креслице не меньше семнадцати лет, да так оно и вышло, потому что ее матери явно захотелось поговорить со странным прохожим в широкой шляпе.

Он подсел на скамейку — разговорились.

— Она у нас даже на Эльбрус поднималась, — гордо рассказывала женщина. — Мы, знаете, каждый год ездим в Пятигорск, в санаторий, и вот один раз Земфира (мою старшую Земфирой зовут, а младшенькую — Айнур, а меня — Саня) увидела на закате двойную вершину Эльбруса и говорит: «Энием (это мама по-татарски), энием, хочу, говорит, туда!» А для меня что она ни захочет — уже давно закон. Думала-думала (я ведь сама врач, а ей сколько всего надо на всякий случай), но — решилась. Целый год готовились — все продумывали. Только когда поднималась на фуникулере, с нею на руках, посмотрела вниз, на ползучие эти кустики, цветущие рододендроны в камнях, и вдруг перепугалась насмерть: что же это я делаю, с ума что ли сошла совсем! Но знаете, когда добрались доверху, отпустило. Снег блестит кругом — а она так любит снег, у нас ведь его почти не бывает — видно далеко-далеко, горы, небо, солнце, такая красота! Для Земфиры это было как в космос слетать, правда, девочка?

— Чудесно было, правда... — еле слышно отозвалась Земфира. — Это была моя мечта. У меня вообще-то было три мечты — подняться на Эльбрус, послушать орган и в Англию съездить. Две уже исполнились...

— Она ведь у нас и стихи пишет, — вставила мать.

— Да? А про что? — предупредительно поинтересовался Кормаков.

— Про все. Про Айнур. Она мне так во всем помогает, — ответила крошечная Земфира и подняла на Кормакова бездонный, сокровенный свой взор.

Никак не ожидал он от нее такого взора, глубокого, доверчиво зовущего постичь себя и при этом уже полного печального достоинства напрасно пробуждающейся женственности. В ее огромных влажно-черных глазах сиял такой прекрасный и мученический восторг бытия, что покровительственная предупредительность Кормакова сразу улетучилась. Он сначала просто опешил, а затем, догадавшись, что когда-то уже встречал в жизни именно такой вопрошающий взгляд, вдруг по-настоящему опаматовался и вспомнил себя бывшего — и совсем не того, чей надуманный образ утешно берег в памяти все прошедшие годы.

Внезапная острая струя ветра с Кутума колыхнула листву над небуйной кормаковской головой, и вновь засквозила сквозь памятные осязания его пожилой плоти прозрачная, истовая горечь *того* — печального, неутолимого, первого и, как оказалось, главного душевного разочарования. Не таким ли взглядом однажды одарила его и Даша — то чудное создание шестнадцати лет, что регулярно таскала в школу квадратные и глянцевые журналы «Кругозор», где бумажные, с лаковым блеском страницы чередовались с пластмассовыми музыкальными пластинками, — та самая Даша, которая за все школьные и студенческие годы наверняка так и не догадалась о том, какую внушительную и, не побоимся сказать, драматическую роль довелось ей сыграть в повседневной душевной жизни еще не вовсе обеспамятвшего за границей Кормакова.

Благодаря ей — тому ее внезапному, долгому, из-под опущенных век взгляду — юный Кормаков впервые в жизни понял, что может кому-то нравиться, и вследствие этого открытия единолично решил и постановил для себя, что именно она и должна стать его избранницей. Решить-то он решил и даже, следуя сему решению, заставил себя насмерть влюбиться в нее, но разве что угодил в собственную ловушку. У нее, оказывается, были совсем другие планы, и она никак не хотела, да и не могла, по правде сказать, ответить взаимностью на его чувства, год от года все сильнее распляемые отчаянием полной невосребованности.

А он уже и думать не мог ни о чем другом, кроме взаимности: она стала его платоническим наваждением, утраченным отечеством, далекой родиной его души-беженки, единой подлинной и всеобъемлющей мечтой, вместившей в себя все другие мечты и надежды. При этом пронзительная, ноющая горечь этой так и не сбывшейся взаимности, которая секретно укоряла его всю жизнь и никуда, оказывается, не делась, опять и всенепременно сопряжена была с лотосом, цветком для Астрахани вполне обыкновенным, но в Индии, например, почитаемым как символ нравственной чистоты и невинности, поскольку, как однажды поведали Кормакову в Мадрасе, лотос, зарождаясь в топкой донной грязи, непременно является на свет сияюще-чистым, целомудренным и опрятным.

И вот — в единое мгновение явились к нему из тайной и несколько даже стыдной сокровенности памяти фламинговые, пеликановые, в белых лилиях и желтых кувшинках заводи, заливы, ильмени-старицы и тайные чистоструйные протоки волжской дельты, где в годы его юности на сильном и свежем течении произрастали в изобилии они, *астраханские розы*, — ярко-розовые в красное лотосы с плавающими, округлыми, а также и вознесенными над проточной струей воронковидными листьями, широкими, как иная столешница.

Таковые лotosовые листья отсвечивали восковым глянцем, и крупные конусовидные цветы, чуть покачиваясь на высоких прямых цветоножках, один за

другим раскрывались солнцу, предъявляя ему в обрамлении красных лепестков свою секретную сердцевину, все это нежное множество ярко-желтых тычинок, от которых, если приблизить, исходил неназойливый, несильный, но такой отрадный и теплый аромат. В несколько дней по очереди отцветая и уроняя в убегающую струю ладейные лепестки, лотосы сохраняли на своих стеблях твердые раструбы зеленых, в правильных дырках кубышек, так невозможно похожие на наконечник поливальной лейки или головку душа, что и в первоначальном московском существовании Кормаков всегда помнил о них, залезая в общежитии под душ. О Господи, как щедро сыпались на его сильное молодое тело *из той хромированной кубышки* обильные и упругие душевые струйки, как он задирает голову, лоя их запрокинутым лицом в той счастливой нескончаемости жизни, когда все еще, казалось, можно не только задумать и свершить, но и любую рану зализать — запросто. Он и тогда врал себе, тешаясь иллюзиями и миражами грядущих заморских странствий и веря, что когда-нибудь она увидит его свершившимся и повидавшим весь мир и тогда поймет, как ошибалась, и тогда-то, наконец, все будет так хорошо, как и должно было быть, ведь он не мог, просто не мог обмануться...

Разве могло оставить его в дураках это твердое предчувствие счастья, в невысказанности своей столь похожее на то, что Кормаков определял в свободное от дипломатической работы время как личную любовь к родине — тот стихийный восторг молчаливого узнавания и причастности к всеединству щемящего и очищающего сердце простора, после которого человеку везде одиноко и тесно; причастности и к небу, недостижимому, высокому, бледно-голубому или же синему, в перистых или кучевых, клубящихся, осязаемых облаках и к осенним, темно-прозрачным и пасмурным пространствам, всегда пронизанным сырой и острой тоской неосуществимости, не востребованности и неразгаданности, но ведь и истовой, глупой, бессмертной надеждой на то, что всякая подлинная любовь чревата взаимностью, что нужно просто смириться и подождать, и долгий, честный труд души скажется, наконец, таким ослепительным осязанием взаимности, что и он, Кормаков, как всякий земной человек, услышит отзыв на свое смертное, виноватое, прекрасное и все провинности искупающее отчаяние...

Сейчас, в Астрахани, самый исток этих мучений неразделенности, вызванный из небытия взором крошечной Земфиры и ответным порывом участливого кормаковского сострадания, вдруг явился ему, — и сопровождалась эта нечаянно ожившая память испуганным, вдребезги разбитым сверканием предзакатного солнца на плавных плесах и вполне равнодушным, но таким осиянно прекрасным зрелищем красных лотосов, цветущих над теми прозрачными, до самого дна прозрачными водами.

Ведя светскую беседу со словоохотливой, истомленной своим подвижническим одиночеством Саней, Кормаков осязательно вспомнил себя сидящим на ступенчатом песчаном берегу того *ильменя* — дельтового озера, обросшего по краям дремучими купами ив, кустами красного и желтого шиповника и всяким луговым разнотравьем. В тот, первый в его жизни момент истины человеческая отверженность его казалась такой странной и непостижимой среди живописной красоты и слаженности природного окружения. Первое подлинное отчаяние невозвратности и непоправимости болезненно звенело в нем, а он

сидел на траве, глядел на выброшенную в озерную воду охапку привядших лотосов и попирал босыми пятками белый песок прибрежной отмели.

По этой самой отмели еще накануне ночью нагишом входил он в теплое звездное озеро в безмятежном предосознании обязательного счастья, и потом плыл к лотосам по этой черной воде, облегающей, обволакивающей белеющее в струях тело, и слушал, как вода подается и журчит под сильными взмахами рук, переворачивался на спину, и смотрел на бриллиантовое мерцание семизвездной Большой Медведицы и на рассеянный меж звезд Млечный Путь, а еще потом по небу чиркнула, словно цветным мелком по школьной доске, комета, и долго еще радужное свечение этого внезапного небесного художества горело и угасало на его глазах в пронизанной звездной пылью тьме...

Господи, чего и хочется человеку, если не понимания, о возможности и даже обязательности которого все время говорят и шепчут ему книги, листья и травы, ветер в ивах и облака, плывущие в небе... Простого понимания, которое еще назовут сочувствием, состраданием, участием, отзывчивостью, а иные и жалостью, но это позже, позже, когда так ясно станет сердцу, что ни на что не годно оно, помимо жалости, да ни для чего другого и не предназначалось оно, так ярко и так всеу пламеневшее беспощадными и своекорыстными страстями. Почему же нет его, понимания, именно тогда, когда истово тоскует и плачет по нему душа человека? Все ему дай, ублажи все его попутные желания, но всегда и всюду вспомнит он о своей изначальной отвергнутости, и юное, нежное лицо с занесенными на него легким движением ветра прядями черных прямых волос будет являться ему в сновидениях, и влажные агатовые глаза будут, пока живешь, сиять сквозь эти мгновенные рассыпные пряди недостижимостью, неисполненностью, невозможностью и невозвратностью единственной и неповторимой жизни, в которой всякий вымысел жаждет понимания, но понимание, если и приходит, непременно и всегда оборачивается светлым расставанием, поскольку оно, понимание, ведь и есть прощение и прощание, отпущение и помилование, милосердие и милость. Так понимания мы ждали или же прощания, Господи?

Та ночь в дельте была так непорочна и совершенна, так чиста небесами и струящимися в черной воде созвездиями, что в лунной невинности своей насулила ему с три короба ликования и счастья, и он, как заколдованный, решился открыть Даше свои чувства («Emotions или feelings? — профессионально подумалось ему, — нет, все-таки emotions»). С целым пучком мокрых, волочащихся длинными стеблями по траве лотосов он отправился назад, к походному костру, отбрасывавшему на деревья и кусты вокруг себя багровые сполохи и громадные мятущиеся тени. Там, у двух нанизанных над костром на толстый ивовый сук ведер, в которых, оцепенело вращаясь и багровея в белесом кипятке, варились пойманные бреднем в ильмене раки, и стояла она в своем черном свитере и джинсах, тонкая, высокая и ладная, с длинными распущенными волосами и длинной поварешкой в оттянутой руке. Она, такая гибкая, оглянулась на него через плечо, и улыбнулась ему, потому что вокруг было весело, и потянувший с воды ветерок всколыхнул пламя костра, взметнув на лету ее темные, всегда ниспадавшие на спину волосы.

Все начиналось очень даже хорошо, а потом все стало очень плохо, и она

просто разозлилась на него за то, что он заставил-таки сказать ему немилую правду в тот чудный, но весь испорченный ненужными откровениями и зазря погубленными лотосами вечер.

Но ведь только такой она и помнилась ему, пока он ее помнил, — стройной, с сияющими глазами, улыбающейся через плечо и смахивающей с лица непрошенные пряди темных волос... Такой она даже приснилась ему однажды в Брюсселе — ни с того ни с сего. От странного взгляда ее он очнулся и долго не мог понять, где находится, а вернее, и не хотел этого понять. Высоченное, в дождливых каплях окно старинного бельгийского особняка, где располагалась его миссия, белело во всю раму туманным светом, и грузная ветка платана, нечаянно задетая сырым и пасмурным ветром чужих рассветов, качалась в нем, а он, как это часто бывало с ним в ускользящих полуснах, механически повторял про себя первые пришедшие с пробуждением слова — те прочитанные в лондонском русском альманахе и запавшие в память стихи:

Европа, видная отсель...
Ты явно к ней благоволишь...
Ну, вот еще один Брюссель.
Ну, вот еще один Париж.

Глядя на мерцающие вокруг астраханские тени и нечувствительно прозревая к прошлому, Кормаков вдруг окончательно проникся минувшим и стало ему предельно ясно, что он так никогда и не смирился со своей юношеской отверженностью, невероятная болезненность которой и сейчас отзывалась в его забывчивой душе долгим, угасающим, но таким явственным эхом... Все его жизненное существование, если вдуматься, обратилось в эту резкую, прозрачную, с превеликими трудами убаюканную боль нагрывшей нелюбимости, поселившую в нем тайное неверие в собственную желанность, от которого он потом долго избавлялся нарочитым ухарством и молодечеством (даже вот в МГИМО поступил), да так, видать, и не избавился.

«А ведь разлюбить, оказывается, нельзя!» — вдруг вступило в просветленный разум Кормакова, и он даже остановился от глубины и проникновенности этой невесть откуда взявшейся мысли. Потрясающая истина ее, среди непрочности и нарочитой надуманности остального существования, сжала сердце, и осязание подлинности внезапно возвратилось к нему, как будто он наконец-то, вот здесь и сейчас, окончательно понял, уразумел, уловил, постиг, осознал, усвоил и взял в толк, зачем вообще живет на свете и почему — из всех мест на Земле — сидит в скважистой тени высокой и ветвистой астраханской акации на краю очередного городского сквера и смотрит на слепящее сверкание Кутума, забранного в бетонные берега, и все же отороченного по линейному краю вод шелестящими по ветру зарослями зрелого рогоза.

Сергей Филатов

Один век — пять Конституций России

Четыре из них были декларативными

Впервые о конституции в России заговорили в начале 19 века. Понадобилось столетие, чтобы на пути к конституционной монархии появился Манифест от 6 августа 1905 года, который учреждал Государственную думу и провозглашал избирательные права российских подданных. Манифест от 17 октября 1905 года провозглашал неотъемлемые гражданские права: неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний. Эти Акты фактически учреждали в России конституционно-монархический строй. Но февраль и особенно октябрь 1917 года сделали несбыточным плавный переход от абсолютной монархии к конституционной монархии.

Первая же конституция в России была принята 10 июля 1918 года на Пятом Всероссийском съезде Советов. Она документально закрепила диктатуру пролетариата. Верховным носителем власти стало все рабочее население страны, объединенное в городских и сельских Советах. Равные права граждан признавались независимо от расовой и национальной принадлежности. Но очень зависели от классовой. Конституция 1918 года закрепила федеративное устройство России.

31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР принял первую Конституцию Советского Союза. Эта Конституция состояла из двух основных частей: Декларации об образовании Советского Союза и Договора об образовании СССР.

Филатов Сергей Александрович — писатель-публицист, политический и общественный деятель, родился в Москве (1936).

Народный депутат РСФСР (1990—1993), секретарь Президиума Верховного Совета (1991), первый зам. Председателя Верховного Совета, член Совета безопасности при Президенте РФ (1991—1993). Возглавлял Администрацию Президента РФ (1993—1996). В октябре 1993 г. инициировал созыв Конституционного совещания и возглавил рабочую группу по доработке проекта новой Конституции. Под его редакцией вышел многотомный сборник «Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы» (1995—1996). В 1996 году ушел с государственной службы.

С 1997 года Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Председатель (с 2005) СП Москвы. Член Союза журналистов России. Автор книг — «На пути к демократии» (1995), «Совершенно несекретно» (1999), «Политология» (2005), «По обе стороны...» (2006), испанский перевод которой издан на Кубе (2012).

Кандидат технических наук. Лауреат Государственной премии СССР.

Долгожительницей стала Конституция СССР 1936 года, принятая 5 декабря. По мнению Сталина, эта конституция была самой демократической в мире. Ограничения и неравенство в избирательных правах ликвидировались. Вводились всеобщее избирательное право и прямое тайное голосование. В отличие от предыдущей Конституции 1924 года, где не было ни слова о правах человека, здесь гарантировалась свобода совести, слова и печати, митингов и демонстраций, неприкосновенность личности и тайна переписки. Все судебные заседания должны были стать открытыми. Но... эта сталинская конституция была чистой декларацией, ширмой, прикрывающей жестокий произвол тоталитаризма. Масса благих пожеланий просто не могла быть реализована. Дело в том, что ни одна ее норма не действовала напрямую. Для этого нужны были законы и подзаконные акты, которые отсутствовали.

Брежневская конституция 1977 года (Российская была принята в 1978 г.) была принята 7 октября. К тому времени, как утверждалось, было построено новое государство «развитого социализма» и нужна была новая конституция. Эта конституция назвала Советский Союз общенародным государством. Тем не менее, основная часть брежневской конституции была взята из сталинской. Только по сравнению с предыдущими тремя, брежневская более четко утверждала ведущую роль коммунистической партии. КПСС — по новой конституции — руководящая и направляющая сила советского общества, ядро его политической системы, государственных и общественных организаций. Она определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа. Попросту говоря, была узаконена монополия власти одной партии — КПСС.

Как видно из этого короткого экскурса, все предыдущие конституции носили декларативный характер, их положения требовалось подкреплять законодательными актами, которых не было, и никто не инициировал их принятие.

Преобразования в России и поправки к Конституции

В 1985 году Михаил Горбачев объявил курс на перестройку. В Российской Федерации (тогда еще РСФСР) впервые были проведены свободные выборы народных депутатов и на первом Съезде в 1990 году была принята Декларация о суверенитете, провозгласившая демократические и экономические преобразования в России. Преобразования требовали новых подходов к законодательству, изменений действующей конституции 1978 года.

Пожалуй, впервые в истории России конституция вызвала живой интерес общественности. Люди не отрывались от телевизоров и следили за дебатами на заседаниях Съезда народных депутатов. В конечном счете за период 1990—1993 годов было принято более 400 поправок к конституции. С учетом поправок конституция совершенно преобразилась. Из официального названия страны и республик в составе РФ были исключены определения «советская» и «социалистическая». Бывшие автономные республики добились статуса республик в составе РФ. Повысился статус краев, областей, городов федерального значения, Москвы и Санкт-Петербурга. Изменилась государственная символика России. После распада СССР в Конституции подтверждалась полная международ-

ная правосубъектность России, самостоятельность ее внешней и оборонной политики. Особая борьба на съезде разгорелась вокруг шестой статьи конституции о направляющей и руководящей роли КПСС. Ведь новую политическую систему было невозможно построить при всеобъемлющей власти одной партии, которая монополизировала все сферы деятельности государства и общественных институтов. Статья шестая была изъята. Были узаконены политический плюрализм, множественность и равноправие форм собственности, в том числе частной. В 1991 году были учреждены институты Президента и Конституционный суд.

Идея создать Конституционный суд, наверное, витала в воздухе, потому что теория уже давно считала, что разделение властей до конца никогда не может быть осуществлено, если судебная власть не уравнивает законодательную власть, не проверяет ее акты на соответствие Конституции. До 1991 года в России эта идея никогда не получала должного развития. Считалось, что контроль за содержанием законов — это функция парламента. Общеизвестная модель требует, чтобы это делала судебная власть. Поэтому в России в 1991 году был создан Конституционный суд, который следил за тем, чтобы законодательные и другие нормативные акты соответствовали положениям Конституции РФ.

Множественность поправок к конституции привела к тому, что в стране практически установилась монополия на власть Съезда народных депутатов, который сковывал действия президента и правительства, не давал возможность эффективно проводить реформу и управлять страной. Съезд народных депутатов, обладающий неограниченными полномочиями, мог принять к рассмотрению любые вопросы, в том числе и те, что находились в непосредственном ведении Президента. По Конституции главой государства и исполнительной власти, высшим должностным лицом являлся президент, но съезд народных депутатов оставался всесильной структурой и мог объявить импичмент президенту, отправить в отставку правительство, мог объявить референдум. Ничего подобного не мог президент РФ. Этим воспользовались противники экономических реформ и политических преобразований в России — они последовательно, начиная с 1992 года, вплоть до роспуска Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ в соответствии с указом президента Ельцина Б.Н. №1400 от 21 сентября 1993 года, сопротивлялись и мешали проведению реформ.

Я до сих пор не могу понять, что толкнуло Хасбулатова 13 января 1992 года в самом начале гайдаровских реформ резко выступить против них. Ведь до этого мы вместе встречались с Борисом Николаевичем и согласовали все вопросы, связанные с началом реформ. Это выступление дало толчок развитию сопротивления Верховного Совета и съезда гайдаровским реформам. Углублялся и внутренний конфликт между Ельциным и Хасбулатовым. Росли недоверие друг к другу, подозрительность, нежелание работать вместе. Хасбулатов все сделал для того, чтобы на 6-м съезде была принята резолюция, осуждающая реформы. Но что-то толкнуло его к примирению. Он попросил меня предложить Борису Николаевичу вместе пообедать и обсудить сложившуюся ситуацию. Я передал наш разговор Ельцину. Президент ответил быстро и резко, что не хочет иметь с ним никакого дела, что тот врет на каждом шагу, что ему нельзя ни в чем верить. И выступил на съезде, сказав, что не может работать с этим человеком.

После этого выступления Ельцин ушел из зала, призвав своих сторонников тоже покинуть съезд. Но его сторонников оказалось настолько мало, что у съезда хватило кворума проголосовать за доверие Хасбулатову. Мне тогда удалось собрать (с согласия Хасбулатова, но сам Хасбулатов отказался присутствовать на президиуме) президиум Верховного Совета вместе с членами правительства и обсудить создавшуюся ситуацию. Мы предложили съезду Декларацию, которая фактически предписывала продолжить реформы в стране. Вот так появилось два документа, один из которых осуждал реформы, другой — предписывал их продолжить. Это лишний раз показывает, насколько напряженной и взрывоопасной складывалась тогда обстановка в руководстве страны. И все-таки, на 7-м съезде номенклатурная оппозиция, поддержанная Хасбулатовым, добилась освобождения Егора Гайдара с поста руководителя правительства. Председателем правительства по предложению Ельцина Б.Н. был назначен Виктор Степанович Черномырдин.

Должность президента вводилась в России с целью усиления исполнительной власти — это было особенно важно в период проведения сложных и болезненных экономических преобразований. Но излишняя опека президента и правительства, ограничение их полномочий при отсутствии необходимых законов и дефиците времени для проведения реформ не давали возможности исполнительной власти действовать эффективно. Не утвердив Егора Гайдара председателем правительства, Съезд народных депутатов вынудил Ельцина Б.Н. самому возглавить правительство. Он постоянно ощущал дефицит своих возможностей из-за недостатка полномочий, для чего каждый раз вынужден был обращаться в Верховный Совет, враждебно относившийся к реформам, и проводить там тяжелые переговоры, теряя драгоценное время. После освобождения Егора Гайдара противостояние между Хасбулатовым и Ельциным не уменьшилось. В начале 1993 года на 8-м и 9-м Съездах начались прямые атаки на президента Ельцина Б.Н., которые чуть было не закончились импичментом (не хватило 62 голосов из 1060 народных депутатов).

Конфликт недопустимо затянулся, и дело шло к тяжелой развязке с непредсказуемыми последствиями. Монополия власти опасна как в исполнительной, так и в законодательной власти. Особенно, когда верхушка теряет голову и разум.

Было такое впечатление, что Хасбулатов, Зорькин и Руцкой, к тому времени ушедший в оппозицию к Ельцину, провоцируют президента на необдуманные шаги и поджидают, чтобы начать процедуру импичмента. Такой эпизод не заставил себя долго ждать.

Президент делает попытку в марте 1993 года указом об особых условиях управления вырваться из паутины, которой его окружил Верховный Совет. В это же время началось обострение отношений между президентом Борисом Ельциным и вице-президентом Александром Руцким. Поэтому, когда в середине марта 1993 года был подготовлен проект указа об особом управлении, я попросил Бориса Николаевича дать мне некоторое время для согласования проекта с Александром Руцким и Юрием Скоковым, который был тогда секретарем Совета Безопасности. Мне казалось, что всякое отстранение их от общих проблем могло привести к еще большему обострению отношений. Борис Николаевич засомневался, что из этой затеи что-либо получится, однако, подумав, сказал:

— Хорошо, действуйте, но времени у вас — до 14 часов.

В 14 часов должна была закончиться запись его выступления для телевидения. Я прошел к Руцкому в кабинет, объяснил ситуацию, попросил посмотреть проект указа и поставить свою визу. Сергей Шахрай такую же операцию проводил у Юрия Скокова. Руцкой взял текст, ворча и матюгаясь, начал читать. По прочтении заметил, что такой бред он визировать не будет, что здесь сплошные нарушения конституции и законов, но при этом признал, что делать все-таки что-то надо. Я пожал плечами, сказал, что раз он так считает, пусть внесет свои поправки. Он и вправду взял карандаш и начал править текст. При этом мы изредка перебрасывались фразами, когда возникали вопросы по тексту или по поводу правок. В конце концов, работа была закончена и я, взяв текст, вернулся к себе, дав задание напечатать его на бланке указа. Позвонил Борис Николаевич, спросил, где указ. Я ответил, что мы еще работаем, но к 14 часам не успеваем. Он огорчился и попросил по окончании работы над текстом прислать проект указа ему на дачу.

Второй раз к Руцкому мы пошли с Сергеем Шахраем. Обстановка около кабинета сильно изменилась — стало больше охраны, атмосфера словно потяжелела. В кабинет нас сразу не пустили, сказали, что там посетитель.

— Кто? — спросил я.

— Посетитель, — повторил секретарь, а у двери на страже уже стоял охранник.

— Доложите Александру Владимировичу, что мы с готовым проектом указа.

Нас, наконец, пустили, и мы увидели за общим столом Юрия Скокова, как всегда, молчаливого, но на этот раз еще и очень покрасневшего. Так и не сказав нам ни слова, он удалился. Руцкой почему-то взял черновик, который сам правил, и резинкой начал стирать написанное ранее. Когда закончил, обратился к нам:

— Ничего я визировать не буду и вам не советую этим делом заниматься.

Ничего не понимая, мы с Шахраем направились ко мне в кабинет. По пути он обратил мое внимание на то, что около некоторых охранников, а их он насчитал 12 человек, стояли чемоданчики. В таких чемоданчиках обычно размещались гранатометы. Сергей Михайлович предположил, что мы чудом избежали задержания, так как очевидно что-то затевалось. И действительно, вечером мы увидели по телевизору настоящее шоу в Верховном Совете с участием Руцкого, Хасбулатова и Зорькина, которое началось сразу же после телевыступления президента России. Указ так и не был подписан, хотя мы направили текст Борису Николаевичу поздно вечером. Страна была свидетелем только его выступления, но и этого оказалось достаточным для шума в Верховном Совете и созыва внеочередного съезда народных депутатов для импичмента президенту. Весь шум базировался не только на выступлении Бориса Николаевича, но и на неподписанном указе, копию которого отвез в Верховный Совет Руцкой в тот же день, после нашей встречи.

Перед началом съезда в Кремле собрались главы администраций и председатели Советов. Мы с Владимиром Шумейко, тогда уже заместителем председателя правительства, разговаривали в коридоре, когда появился Хасбулатов. С присущей ему задиристостью он бросил:

— Что, доигрались, сукины дети?

Владимир Филиппович резко повернулся к нему:

— Ну, ты, сморчок, помолчи, а то я тебя размажу по этой стенке. Что ты себе позволяешь? Всю страну вздыбил!

Хасбулатов втянул голову в плечи и пошел дальше, в Малый зал.

А на улице кипели страсти и со стороны демократов, и со стороны коммунистов.

...С участием Конституционного суда, на одном из этапов конфликта, удалось выйти на всенародный референдум с голосованием по четырем вопросам: «Доверяете ли Вы президенту Ельцину Б.Н.?» Ответ — «да». «Доверяете ли Вы экономическим реформам, проводимым правительством?» Ответ — «да». «Считаете ли Вы, что нужно досрочно переизбрать президента РФ?» Ответ — «нет». «Считаете ли Вы, что нужно досрочно переизбрать Верховный Совет РФ?» Ответ — «да». Это были так ожидаемые в те дни ответы «да» — «да» — «нет» — «да», в которых Б.Н. Ельцин получил всенародную поддержку и которые давали надежду на стабилизацию в стране. Это было особенно важно, потому что стало совершенно очевидно: расстановка политических сил на Съезде народных депутатов не соответствует политическим предпочтениям в обществе. После этого образовался какой-то политический тупик. Референдум стали толковать и так и сяк. Вмешательство Конституционного суда представило итоги референдума как опрос общественного мнения. И все-таки, несмотря на такую позицию Конституционного суда, после референдума нужно было распустить Съезд и назначить новые выборы для обновления депутатского корпуса. С позиций сегодняшнего дня это очевидно, но тогда Борис Николаевич решил не торопиться и сделал еще один шаг к урегулированию ситуации — он собрал Конституционное совещание для подготовки проекта новой конституции. На него он пригласил представителей всех государственных структур власти, местного самоуправления, политических и общественных сил, предпринимателей и бизнеса, СМИ. Проект конституции, над которым работало Конституционное совещание, подготовили юристы С.С. Алексеев, А.А. Собчак и С.М. Шахрай.

Горячий октябрь 1993 года

Каждый год на пути ко Дню Конституции 12 декабря мы проходим через октябрь 1993 года, когда конфликт между Верховным Советом и президентом достиг своего трагического апогея. Меня часто спрашивают, а можно ли было урегулировать конфликт между Ельциным и Хасбулатовым мирным путем. Я всегда перед ответом погружаюсь в размышления. С одной стороны, мы все были выходцами из советской системы, где никогда вопросы не решались путем переговоров, главное было — применить силу, и этим решить проблему. Так было в Тбилиси, в Баку, в Вильнюсе, Фергане. Так было в Москве в августе 1991 года. И этот фактор, может быть, был решающим при подписании Ельциным указа №1400. Размышления приводили к мысли, что в стране не нашлось такой авторитетной нравственной силы, которая смогла бы заставить обе стороны найти примирение. Конфликт зашел слишком далеко. Если бы в стране тогда было сильное гражданское общество, институты которого в других странах представляют собой сдержки и противовесы и уравнивают систему разделения властей, наверняка мы бы имели другое развитие событий. Патриарх Алексей II хорошо это понимал, когда говорил «...Каждой из политических сил надо отказаться от стремления к монополии на души людей, от самой идеи такой монополии. Нужно сделать это ради России, ради блага живущих в ней».

людей. Иначе мы никогда не придем к гражданскому миру в нашей Отчизне». Но его усилий оказалось недостаточно, когда он собрал на переговоры в Свято-Даниловом монастыре представителей обеих сторон.

...Как оказалось, шаг примирения Ельцина Б.Н. в виде Конституционного совещания успеха не имел, напротив, он почему-то вызвал обратную реакцию. На первом же заседании Конституционного совещания Хасбулатов устроил скандал и покинул его вместе со своими сторонниками. Несмотря на это, Конституционное совещание доработало проект новой конституции и одобрило его 12 июля 1993 года. Но доработанный на Конституционном совещании проект новой конституции был заблокирован в регионах. Верховный Совет, используя вертикаль власти, отправил всех депутатов региональных Советов в отпуск, тем самым лишив их возможности рассматривать проект Конституции. Начались еженедельные сборища в Парламентском центре противников президента и реформ, где выступавшие открыто дискредитировали реформы. Многие, включая председателя Верховного Совета РФ, перешли на публичные персональные оскорбления президента и его окружения. Одновременно Верховный Совет начал активную подготовку к очередному Съезду народных депутатов со сценарием импичмента президенту и сокращения его полномочий. Вот тогда, не ожидая очередного Съезда, Ельцин Б.Н. подписал указ №1400 о роспуске депутатского корпуса и выборах 12 декабря 1993 года нового органа законодательной власти — Государственной Думы.

Разразился кризис власти. Ночью с 21 на 22 сентября, после заседания Конституционного суда, Зорькин направился в Белый дом и торжественно зачитал с трибуны решение Конституционного суда, которое признавало действия президента неконституционными и недостаточными для отрешения его от должности. Поскольку у собравшихся в Белом доме народных избранников не было кворума для такого решения, они лишили депутатских полномочий не явившихся на созванный ими X съезд 100 депутатов, и тут же назначили исполняющим обязанности президента Руцкого. Этого нарушения конституции Конституционный суд почему-то не заметил. А решение Конституционного суда стало правовым основанием для всего последующего действия, завершившегося трагедией 3 и 4 октября. Поэтому вина или значительная доля участия Конституционного суда во всей этой истории чрезвычайно велика.

Закончилось все печально — 3 октября 1993 года заблокированная в Белом доме часть распущенного Верховного Совета при поддержке баркашовцев и молодчиков, очень похожих на тех, кто устроил драку с ОМОНОм на площади Гагарина 1 мая 1993 года, подняли мятеж. Они прорвали кольцо милиции у Белого дома, захватили мэрию Москвы, на автотранспорте с оружием и флагами переместились в Останкино и попытались захватить телецентр. И это все происходило, когда шли переговоры в Свято-Даниловом монастыре между представителями Белого дома и президента РФ под патронажем Патриарха Алексия II. Значит, они использовали переговоры, чтобы потянуть время и успеть подготовить мятеж к субботе, к выходному дню. Ситуация складывалась критическая, президенту РФ пришлось вызвать армейские части, которые подавили мятеж, а остатки мятежников на следующий день были выведены из Белого дома и арестованы. В эти дни погибло 165 человек.

После октябрьских событий 1993 года стало понятно, что России нужна

новая конституция. Так открылась дорога к окончательной редакции и принятию на всенародном голосовании ныне действующей Конституции РФ.

Новая Конституция России 1993 года

Уже после подавления вооруженного мятежа Белого дома, 5 октября 1993 года раздался звонок из Парижа — звонил посол Юрий Алексеевич Рыжов. Он внимательно следил за всем, что происходило на родине, переживал, подсказывал, советовал и, как правило, делал это вовремя и удачно. И на этот раз, поинтересовавшись обстановкой, поделился такой идеей:

— Сергей Александрович, я так понимаю — положение дрянь. Особенно трудно будет потом. У меня был профессор Мишель Лиеш, французский правовед и специалист по законодательству России, он сделал интересное предложение — за оставшееся до выборов в Госдуму время подготовить проект конституции и принять ее всенародно.

Предложение мне сразу понравилось. Я снял трубку прямой связи с президентом:

— Борис Николаевич, позвонил из Парижа Юрий Алексеевич Рыжов с очень дельным, по-моему, предложением — совместить выборы в Госдуму с голосованием за новую конституцию.

— Это действительно интересная идея. А успеем подготовить текст?

— Думаю, успеем, ведь у нас для этого почти все готово. Есть Общественная палата, которая создана Вашим указом, есть проект конституции, одобренный 12 июля на Конституционном совещании, есть предложения по Конституции, разработанной Верховным Советом, и есть, наконец, замечания некоторых регионов. Нам нужно успеть опубликовать проект до 12 ноября, за месяц до референдума. По-моему, успеем.

— Хорошо, действуйте. Если какая-либо моя помощь будет нужна — обращайтесь! И готовьте указ.

Идти на голосование с проектом конституции, одобренным Конституционным совещанием, было уже нельзя — слишком много было в нем компромиссов в сторону бывшего Верховного Совета РФ. Это хорошо выразил один из авторов проекта Конституции РФ, блестящий юрист Сергей Сергеевич Алексеев: *«Последний текст проекта Конституции, принятый Конституционным совещанием, является результатом того времени, когда мы максимально стремились к компромиссам, к компромиссу с Верховным Советом, с той идеологией, которую он отстаивал. И наряду с добрыми позитивными положениями, которые в результате таких компромиссов были восприняты — наряду со всем этим, все же последний текст проекта Конституции носит характер таких значительных уступок по сравнению с первоначальным замыслом, такого сочетания несовместимых вещей, которые очевидно позволили сказать, что оба проекта — парламентский и Конституционного совещания — это близнецы-братья».*

Вновь собравшееся Конституционное совещание устранило эти компромиссы. 8 ноября я представил президенту проект конституции для отправки его в печать. Борис Николаевич откуда-то вытащил бумажку и, читая ее, начал вносить свои замечания в проект конституции. Их оказалось 16. Существенными из них были, пожалуй, 3: указы президента стали носить нормативный характер,

президент мог председательствовать на заседаниях правительства и, третье, — Совет Федерации стал формироваться из двух представителей от каждого региона: по одному от исполнительной и законодательной власти. Тут же со своей правкой Борис Николаевич написал на первом листе проекта конституции: «В печать и на Всенародное голосование 12 декабря 1993 года. Б. Ельцин, 8 ноября 1993 г., 15 час.15 мин».

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации.

19 сентября 1994 года Президент России Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым 12 декабря объявлялся государственным праздником, а законодатели включили этот день в календарь нерабочих дней. К сожалению, по непонятным причинам, с приходом нового президента РФ этот день опять стал рабочим.

Ныне действующая Конституция — пятая в истории России, но первая, принятая всенародным голосованием и первая — прямого действия.

За время существования, вернее, бездействия прежних конституций люди перестали верить в то, что она может защитить их права и свободы, что она поможет установить в стране справедливость. Так и жили все годы XX столетия: конституция была, но элита, владевшая властью, не особо старалась выполнять ее положения, решая проблемы страны по своим понятиям.

Конституция — это достаточно емкий нормативно-правовой акт высшей юридической силы. Но только по конституции, не имея системы законодательства, регулирующего и контролирующего те же права и свободы человека и гражданина, организацию власти, экономические основы жизни, политическое устройство, — жить невозможно. Поэтому любое государство имеет систему законов.

Была надежда, что с этой конституцией мы перестанем жить по понятиям нашей властной элиты, хотя бы потому, что она прямого действия, что в ней особо выделены ссылки на 12 конституционных и на 46 федеральных законов, регулирующих проблемы в сферах государственного устройства, экономики и социальной защиты, которые должны быть приняты Федеральным собранием. Конституционные законы отличаются от федеральных тем, что принимаются квалифицированным большинством, и президент не может наложить на них «вето». Их введение обуславливалось не только тем, чтобы сделать жизненными положения конституции, но и тем, что многие положения зависели от экономического и политического состояния государства и должны были меняться в лучшую сторону от достигнутого, по мере развития демократии, экономики, самого общества.

И все-таки, некоторые законы так и не появились, хотя прошло 20 лет. Например, нет конституционного закона о Конституционном собрании и федерального закона, преследующего за присвоение власти в Российской Федерации.

Первая и вторая из девяти глав — об основах конституционного строя, и о правах и свободах человека и гражданина. Высшей ценностью по Конституции-93 является человек, его права и свободы, их незыблемость и неотчуждаемость. Это самые важные статьи конституции, определившие суть нашего государства как демократического многонационального и социального, где государство обязано защищать права и свободы человека и гражданина.

Раньше права государство даровало гражданам, а в новой конституции —

провозглашается приоритет прав и свобод человека, примат их, и только потом государства. И в этом суть государства — признать эти права и защищать, обеспечивать их. Сначала человек появился на земле, а потом государство.

Права и свободы человека и гражданина, изложенные в конституции, полностью соответствуют Европейской Хартии о правах человека, подписанной еще Брежневым Л.И., что дало возможность России быть принятой в 1996—1997 гг. в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), а позже и в Европейский суд по правам человека. Это расширило возможности нашего гражданина защитить себя от неправомερных решений наших судов, которые, работая еще по старинке, зачастую выполняют негласный заказ власти.

Положения этих глав не могут быть изменены Федеральным собранием. В случае необходимости внесения изменений в эти основополагающие главы конституции должно собраться Конституционное собрание, которое обязано подготовить и принять новую Конституцию РФ. В остальные главы конституции могут быть внесены поправки, но делается это не только голосованием Госдумы и Совета Федерации, но и с одобрения двух третей регионов. Таким образом, в отличие от прежней, нынешняя Конституция от спешных поправок защищена надежно.

Меня часто ругают за то, что эта Конституция делалась под Ельцина, чтобы наделить его максимально возможными (некоторые даже говорят — диктаторскими) полномочиями. Это не так. Мы ушли от президентской и парламентской республики, чтобы осуществить основной принцип демократии — разделение властей. Все три ветви власти — исполнительная, законодательная и судебная — по конституции самостоятельны и в обязанности президента не входит руководить ими или одной из них. Он обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, разрешает споры или путем согласительных процедур или через судебные органы. В этом состоит искусство управления государством и этому еще нужно научиться нашим президентам.

В жизни не все происходит в точном соответствии с буквой и духом конституции. До сих пор не приняты предписанные конституцией некоторые конституционные и федеральные законы. Кремль переходит в авторитарный режим управления страной и по своему вкусу начинает строить политическую и избирательную системы, вводит ограничения на информацию, митинги, на свободу слова... Это все недопустимо.

Некоторые, критикуя Конституцию-93, говорят об отсутствии в ней сдержек и противовесов, контрольных функций, которые не позволяли бы власти отступать от конституции. Но я убежден, что нарушения конституции становятся возможными в отсутствие сильных институтов гражданского общества, независимых судов, ныне еще подыгрывающих власти.

Поскольку в нашей стране институты гражданского общества работают слабо, у нас пока не получается создать политическую систему с сильными противовесами. То есть президент и исполнительная власть очень сильны, а противовеса в виде законодательной власти, судебной и независимых СМИ — нет...

Такое положение вещей основную массу наших людей почему-то не шокирует. Наверное, потому, что архетип исторически сложившегося русского национального самосознания приветствует наличие сильного главного исполните-

ля, который по собственной воле распространяет благо и милость на народ. И это одно из наших отличий от основных мировых тенденций, когда очень сильные сдержки и противовесы встроены в систему государство—общество. И если при этом вдруг создается ощущение, что какая-то часть хочет перетянуть на себя одеяло, то общество бьет тревогу. Например, кризис, который мы наблюдали последние несколько недель, связанный с американским бюджетом и с потолком госдолга, кому-то может показаться свидетельством неэффективности этой системы. На деле же — это подтверждение того, что современная политическая жизнь, общественная жизнь во многом заключается в поиске компромисса. Ни одна сторона не может ударить кулаком по столу и сказать «будет так». Ведь из столкновения различных позиций рождается более разумный вектор развития.

Конечно, в такой большой стране, как Россия, президент должен обладать сильной властью, но его действия должны находиться под контролем, прежде всего, судебной и законодательной властей, а также институтов гражданского общества и СМИ. Без такого контроля президент становится опасным для государства и общества. Особенно, если он остается у власти на большой срок. Тревожат последние поправки к конституции об увеличении сроков избрания президента и государственной думы, т.к. известно, что в отсутствие длительной смены элит жесткая концентрация власти приводит к устойчивому доминированию одного типа политической, экономической элиты. Это в свою очередь приводит все больше и больше к тому, что эти люди находятся на своих позициях и удерживают эти позиции, прежде всего, из-за лояльности первому лицу или своему клану, нежели по каким-то другим деловым качествам.

И все-таки в соответствии с Конституцией-93 многие действия президента делаются с согласия палат Федерального собрания. Вопрос в том, насколько депутатский корпус эффективно использует данные ему Конституцией права. Да, президент определяет внутреннюю и внешнюю политику государства. Но бюджет государства формирует и принимает Федеральное собрание, оно также принимает закон о ратификации того или иного международного соглашения. Президент является Верховным главнокомандующим, но для военных действий он должен получить согласие Совета Федерации. Назначение послов в другие государства президент осуществляет после консультации с международным комитетом Госдумы. Генерального прокурора, как и судей Верховного, Конституционного и Высшего арбитражного судов президент назначает с согласия Совета Федерации, а председателя правительства, как и председателя Центрального банка — с согласия Госдумы.

В Конституции-93 по-новому представлена система принятия законов. Федеральное собрание, заменившее громоздкий съезд народных депутатов, состоит из 2-х палат: Государственной думы и Совета Федерации. Государственная дума избирается по партийным спискам — мажоритарная система (50%) и из числа отдельных кандидатов — пропорциональная система (50%), работает на постоянной основе, разрабатывает и принимает законы. Депутатское большинство победившей на выборах партии или коалиция партий определяют политическую линию законотворчества. Совет Федерации формируется из представителей законодательной и исполнительной власти (повторю: по 1 человеку от каждой ветви) и защищает интересы регионов. Эта палата не разрабатывает законы, она либо одобряет принятые Госдумой проекты зако-

нов, либо отклоняет их. После Совета Федерации одобренный этой палатой проект закона поступает к президенту, который его подписывает либо отклоняет, если тот не соответствует Конституции РФ. В этом законодательном процессе участвуют все ветви власти. В случае несоответствия проекта закона Конституции РФ окончательное решение принимает Конституционный суд (теперь уже только после соответствующего обращения в него). Проекты законов, связанные с финансированием, проходят обязательное заключение в правительстве. Эта «фабрика по производству законов», как бы к ней ни относились, работает слаженно и ежегодно пополняет правовое пространство необходимыми федеральными законами. Их уже принято несколько тысяч. Это колоссальный прорыв в законодательном процессе России.

В соответствии с новой конституцией Конституционный суд получил право на толкование положений конституции. Любой гражданин может обратиться в Конституционный суд, может обжаловать закон, но только в том случае, если этот закон был применен в его конкретном деле, если этим законом нарушены его конституционные права, если есть подозрения, что этот закон противоречит конституции. В Конституционном суде — огромное количество дел, которые касаются вопросов судебной защиты граждан, вопроса равенства сторон в судебном процессе, вопросов применения разного рода репрессивного воздействия на граждан и т.д. Много вопросов рассматривает Конституционный суд по налоговому законодательству, праву собственности или свободы предпринимательской деятельности, проблем прописки, когда гражданин был прикреплен к какому-то определенному месту, и от этого места зависело большинство его прав.

У нас есть гарант Конституции — Президент. У нас есть главный хранитель Конституции — Конституционный суд и все другие суды. И главные субъекты, которые должны эту Конституцию знать, требовать ее исполнения, оказывать влияние на всю публичную власть, на всю бюрократию, если хотите, — это народ, это избиратели, влияние которых на развитие страны должно быть весомым.

И если мы преодолели декларативность конституции, если создали нормальный законодательный процесс, мы обязаны найти в себе силы создать сильные институты гражданского общества, оторванные от ниточек управления со стороны власти. Власть не должна мешать их строительству, не должна натравливать на них силовые и налоговые структуры, унижать навешиванием уничительных ярлыков.

Со школьной скамьи мы знаем, что Конституция обладает высшей юридической силой. Она, в отличие от предыдущих конституций, — действующая и действенная. И я уверен, что есть необходимость восстановить выходной день в этот государственный праздник. Хотя бы для того, чтобы подчеркнуть его общественную значимость, значимость правовых актов для всего общества. И дорожить конституционными завоеваниями.

Александр Мелихов

Что нас не разочарует?

Когда я в первый раз прочел этот роковой вопрос, — можно ли писать стихи после Освенцима? — на меня произвела сильное впечатление высота духа того, кто его задал. Однако где-то после двухсотого повторения, как всякая настойчивая пошлость, он начал пробуждать протест: а почему, собственно, нет? Почему умываться после Освенцима можно, а писать стихи нельзя? Ведь не только поэзия, но и гигиена не сумела предотвратить кошмаров двадцатого века. Причем без умывания вполне можно обойтись, а без поэзии никак, ибо лишь она — важнейшая склонность нашей психики к самообороне, к изображению реальности не столь безжалостной и безобразной, какова она есть, — и позволяет нам выживать, а иногда даже чувствовать себя счастливыми. А потому и не опасными для окружающих, поскольку у счастливого человека нет причин что-то отнимать у других.

И вообще, откуда взялось такое тотальное разочарование в культуре, если массовые истребления людей — это вполне рутинные и многочисленные эпизоды человеческой истории? Они просто-напросто наконец-то коснулись если не нас самих, то наших родителей. Видимо, дело в другом — прежние зверства (хотя при чем тут звери, звери не убивают во имя идеалов), — прежние ужасы творили люди «дикие», а ужасы двадцатого века — люди «просвещенные». Поэтому разочарование в «просвещении» острее прочих и ощущают люди, работающие на ниве просвещения. Их чувства самым полным образом выражены в статье знаменитого деятеля школьного образования Евгения Ямбурга «Как слово наше отзовется?» («Новая газета», 16.04.2012).

«Вертикальная линия педагогического креста, возводимая столетиями с верой в бесконечные возможности человека, во всемогущество просвещения и связанного с ним поступательного прогресса, в двадцатом столетии с его потоками пролитой крови дала трещину. Эта данность, осознаваемая сегодня интеллектуалами во многих странах мира, повсеместно порождает кросскультурный шок, всеобщую растерянность, которая в свою очередь оборачивается мрачным констатирующим приговором, на котором настаивают некоторые культурологи: просвещенческая парадигма себя исчерпала.

...Возможно, это и так, но что делать нам, педагогам? Прекратить просвещение детей и юношества на том основании, что его плоды оказались слишком горькими? Уйти в мистику, уповая исключительно на формирование у детей религиозного сознания, укрепляющего нравственную основу человеческого су-

Мелихов Александр Мотельевич — прозаик, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Преодолеть ужас» (№ 7, 2012); «Закваска Брейвика и закваска Саррацина» (№ 11, 2012); «Подручный Орфея». Роман (№ 4, 2013).

ществования? Определенные шаги в этом направлении сегодня делаются. (Достаточно вспомнить о директивно вводимых курсах изучения основ мировых религий в четвертых классах российских школ.) Но, если иметь мужество додумывать мысль до конца, то, говоря об исчерпанности просвещенческой парадигмы, такую же жесткую оценку можно дать и парадигме религиозной. Разве почти две тысячи лет существования христианства спасли человечество от ужасов ГУЛАГа и Холокоста?

...Проблема эта общемировая, кросскультурная, суть ее сводится к главному вопросу: способно ли в принципе образование в широком смысле слова, включающее обучение и воспитание (на светской и религиозной почве), облагородить природу человека, привить ему нравственные устои, позволяющие сохранять основы нормальной социальной жизни? Вопрос остается открытым».

Так не пора ли наконец закрыть его, твердо и отчетливо ответить: разумеется, нет. Покуда у человека сохраняются *индивидуальные* потребности, до тех пор у него останутся и мотивы преступать *общественные* нормы, в чем бы эти нормы ни заключались. Пока сохранится конкуренция социальных и национальных групп, до тех пор сохранится и раздражение их друг против друга. И чем более драгоценен будет предмет, за который идет борьба, тем более страстную ненависть она будет порождать и в тем более священный долг каждая сторона станет возводить все, что помогает ей одержать победу. Ибо нравственность есть не что иное, как идеализация групповых интересов, возведение интересов — как материальных, так и психологических — в ранг священных прав.

Поэтому мыслители, желающие видеть общество индивидуалистическим, конкурентным и законопослушным, желают впрячь в одну повозку еще более несовместимых лебедя, рака и щуку, чем коммунисты, мечтавшие совместить в человеке самоотверженность и «материализм», то есть убежденность, что физические ощущения неизмеримо важнее всяких там фантазий. Однако для человека, доверяющего только наблюдениям, вполне очевидно, что любые нравственные ограничения лишь ослабляют его конкурентные возможности: всегда удобнее бороться, имея раскованные руки, и только имитировать их скованность для обмана дураков. Петербургский историк Валерий Столов очень убедительно разъяснил мне, что Холокост был вовсе не взрывом иррациональности или «наследием Средневековья», но деянием самым что ни на есть рациональным: Средневековье требовало ограничивать и унижать, но не убивать евреев, это как раз рациональность предпочла не притеснять, а уничтожать конкурентов, как реальных, так и кажущихся, — нет человека, нет проблемы.

И единственная сила, пока еще не позволяющая всем нам относиться друг к другу так же рационально, как в Освенциме, это поэзия в широком смысле слова — подсознательная уверенность в том, что есть что-то более важное, чем победа над конкурентом в борьбе за приятные ощущения. Сегодня, когда власть религий над человеческими душами многократно ослабела, этой драгоценной уверенностью обладают только те, кто хотя бы частично живет в мире искусства.

То есть, говоря упрощенно, именно после Освенцима нужно писать стихи в тысячу раз более страстно, — понимая, впрочем, что нравственной панацеей и они быть не могут, поскольку, повторяю, нравственной панацеей может быть лишь уничтожение всех индивидуальных интересов.

Е. Ямбург приводит горестные слова преподавательницы физики, испытавшей на себе, как порой начинают вести себя национальные меньшинства,

когда им удастся стать «большинствами»: «Что толку положить жизнь на алтарь образования, обучая детей физике, коль скоро в итоге вместо благодарной улыбки за свой труд ты получаешь звериный оскал пещерного человека?»

Мне кажется, что не только учителям, но и всем нам давно пора понять, что обучая детей физике, мы получаем людей, знающих физику, и не более того. Хотя и не менее: наука ослабляет желание человека рвать у других матценности лишь в той степени, в какой обеспечивает его более увлекательным занятием. Цель образования — распространение знаний, а улыбки — лишь приятный побочный продукт, которого может и не быть. Преподаватель физики служит физике, а не морали, он должен именно физику считать самостоятельной профессиональной ценностью, физику как прекрасную и захватывающую науку, а не как хитроумный путь к нравственности, понимаемой как самоограничение неизвестно во имя чего.

Что вменяет человечеству в священный долг рационалистическая теория модернизации, отрицающая понятие священного, — совмещать культ материального успеха с трепетным уважением к чужой собственности.

«Для сторонников модернизации очевидно, — констатирует Е. Ямбург, — что традиционная российская культура критически утратила свою эффективность, она превращается в фактор, снижающий конкурентный потенциал ее носителей. Следовательно, необходимо избавиться от балласта, тормозящего стремительное освоение инноваций. В разряд такого балласта попадают русские народные сказки, воспевающие инертное существование главных персонажей в ожидании чуда, которое вмиг изменит жизнь не в результате собственных напряженных усилий, а по щучьему велению или по милости золотой рыбки. Таким же чемоданом без ручки, который нести неудобно, а выкинуть жалко, предстает весь идейно-ценностный бэкграунд русской классической литературы XIX века, поскольку он находится в неразрешимом конфликте с окружающим современным человеком миром».

И слава богу, что находится! Если бы и мир мечты был так же подл и безжалостен, как мир экономической конкуренции, то отпали бы последние тормоза, еще мешающие устроить новый Освенцим для человеческого балласта, не сумевшего с комфортом «вписаться в рынок». Только еще сохранившиеся в наших умах туманные грезы, что в каком-то ином и не совсем потустороннем мире в людях видят не только источник обогащения или препятствие на пути к оному, — только эти рудименты архаической человечности, наиболее полно сконцентрированные в классической литературе, и не позволяют все недостаточно современное принести в жертву — нет, не просто низкой выгоде — будущему!

Как будто это самое будущее кому-то может быть известно...

* * *

Если бы мы сегодня пожелали найти замену советскому клише «все прогрессивное человечество», это было бы словосочетание «все модернизированное человечество». Слово «модернизация», однако, означает всего лишь «осовременивание», уподобление каким-то современным стандартам. Стандарты при этом, как всегда, задают сильнейшие, победители, поэтому модернизироваться всего-навсего означает уподобляться сильнейшим. То есть в период расцвета арабского халифата или монгольской империи модернизация требовала бы

уподобиться монголам либо арабам, а лет через сто, возможно, потребует уподобления китайцам либо индусам.

Лично же я склонен считать современными всех, у кого хватает сил выживать в современном мире, быть тем или иным способом конкурентоспособными. В биологическом мире конкурентоспособность обеспечивается самыми разными и даже противоположными доблестями, а с чьей-то точки зрения даже пороками — индивидуальной силой или плодовитостью, агрессией или робостью, напором или уклончивостью, коллективизмом или эгоцентризмом, стремительностью или неторопливостью, броскостью или скрытностью, способностью наесться впрок или умением довольствоваться малым, — не странно ли, что в социальном мире конкурентоспособность начинает определяться лишь объемом ВВП или производительностью труда? Если бы в какую-то эпоху весь животный мир уподобился тогдашним победителям — каким-нибудь саблеубым тиграм или мамонтам, — жизнь на земле давно прекратилась бы, ибо не раз оказывалось, что к новым вызовам лучше готовы не те, кто блистает на авансцене, но те, кто на заднем плане влачит незавидное, на первый взгляд, существование.

Драгоценно разнообразие не только доблестей, но и того, что сегодня представляется слабостями, ибо они, возможно, тоже доблести, еще не дождавшиеся своего вызова, — они составляют фонд рецессивных аллелей человечества, всего человечества, а не только прогрессивного. Энтузиаст-модернизатор, стремящийся всех причесать под одну передовую гребенку, подобен энтузиасту-агроному, желающему сровнять с землей бесполезные снежные вершины, не догадываясь, что они-то и собирают влагу для орошения.

Отсюда в частности следует, что высшая цель национальной политики многонациональных государств, квазиимперий, возможно, заключается вовсе не в том, чтобы подогнать все народы под единый «современный» стандарт, но, напротив, в том, чтобы сохранить заповедники «архаики», в которых еще теплятся такие устаревшие качества, как уважение к старшим, преданность семье, готовность производить на свет и воспитывать большое количество детей, презирать алкоголь и наркотики и так далее, и так далее: может оказаться, что именно захолустная архаика, а не торжествующая современность когда-нибудь вытащит человечество из очередного экзистенциального болота, в котором его обитатели утратят такой пустячок, без которого жизнь невозможна, — азарт, готовность к смертельному риску.

Словом, уверенность, что жизнь не тягомотина, но захватывающая драма, участие в которой стоит тех страданий, которые она причиняет.

В борьбе с экзистенциальным ужасом, с ощущением собственной мизерности человечество давным-давно изобрело такое мощное оружие, как трагедия: да, человек бессилен перед роком, но как же при этом прекрасен! И жизнь — да, она ужасна, но и как же грандиозна! И ощущение грандиозности наших бед служит нам таким утешением, что мы вот уже столько веков отправляемся в театр, чтобы *со светлыми слезами* в тридцатый раз полюбоваться несчастьями Гамлета и Антигоны.

Е. Ямбург совершенно справедливо пишет о том, что ежедневно заходя в класс учитель «должен ощущать безусловную ценность своей миссии, постоянно стремиться к обретению сокровенного смысла педагогического труда». И такой смысл ему сегодня может дать лишь трагическое мироощущение, храни-

мое именно классической литературой, в которой даже поражение, даже смерть оборачивается красотой!

Да, «вполне вероятно, что в одном классе сегодня окажутся юные стихийные фундаменталисты и глобалисты, верующие (разных вероисповеданий) и атеисты, либералы и консерваторы, демократы и сторонники авторитарных способов построения светлого будущего. ...И что прикажете делать учителю: недогнувшей рукой навязывать свою единственно правильную позицию?»

Трагическое мироощущение в принципе не знает, что такое единственно правильная позиция, в трагедии каждый из соперников по-своему красив и по-своему прав. Если учитель проникнется трагическим мироощущением сам (будущее непредсказуемо, все ценности противоречат друг другу), можно надеяться, что средствами искусства и прежде всего литературы он сумеет внушить его и своим подопечным. И тогда эта архаика заставит непримиримых противников уважать и видеть красоту убеждений друг друга, а там, глядишь, еще и убьет их страсть к окончательным решениям серьезных вопросов.

Если даже это окончательное решение носит гордое имя Модернизация.

Только классическое прекраснотворение способно хоть немножко ограничить власть молоха рациональности (абсолютная власть и его разворачивает абсолютно). Трагическое искусство препятствует сильному пожирать слабых с полной беззащитностью, а остаток веры в детские сказки в роковые минуты способен смягчить отчаяние и ожесточение — авось, еще как-нибудь и обойдется! Таких идиотов, которые возжелали бы заменить упорство и расчет верой в чудеса, в современном мире нет и не предвидится: реальность дает слишком жестокие уроки. Однако жить одним расчетом тоже почти невозможно, ибо та же реальность на каждом шагу столь же безжалостно демонстрирует бессилие всех расчетов. Уничтожив красивые сказки, рационалисты сами оказываются в экзистенциальном Освенциме.

И на Олимпе модернизации — в Америке — это, похоже, хорошо понимают. Я плохо знаю американские народные сказки — возможно, в них героям никогда не приходит на помощь чудо или удача, возможно, они с детства начинают готовить детей к реальности, стараясь им внушить, что зло в жизни побеждает уж никак не реже, чем добро, что хитрость, а не простодушие есть наилучшее орудие в социальной борьбе и так далее, и так далее. Но уж в сказках, тиражируемых Голливудом, все обстоит ровно наоборот.

Так почему бы нашим модернизаторам не поставить перед собой святоотеческий вопрос: отчего образцово-показательная Америка не хочет расставаться со своими сказками?

* * *

И напоследок, на случай, если кому-то мои соображения покажутся недостаточными либеральными. Трагическое мироощущение либерально по своей природе, поскольку отказывает человеку в какой бы то ни было высшей инстанции, обрекая его тем самым на ежедневный и ежеминутный личный выбор. Отличие трагического либерализма от либерализма оптимистического с его лозунгом «Модернизация — светлое будущее всего человечества» прежде всего в том, что трагический либерализм не обещает ничего светлого. Он обещает лишь грандиозное.

И можно не сомневаться: будущее нас не разочарует.

Эльвира Горюхина

Учёные пришли в школу

Когда видишь уравнение $E=mc^2$, становится стыдно за свою болтливость.

Из фольклора ФМШ

Физико-математическая школа новосибирского Академгородка (ФМШ) была официально открыта в августе 1963 года, а фактически на полгода раньше. Произошло это стараниями выдающегося отечественного ученого, академика Михаила Алексеевича Лаврентьева. В 1988 году на базе ФМШ был создан специализированный учебно-научный центр физико-математического и биолого-химического профиля Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ). Но школу по-прежнему называют ФМШ, а ее воспитанников «фэмэшатами». Я последую этому примеру для простоты описания, отдав дань народной традиции.

Несколько лет тому назад, размышляя над удивительной книгой о школе, которую написали ее выпускники («Записки о Второй школе»¹), я вспоминала о своем классе программистов-вычислителей, созданном учеными новосибирского Академгородка, и все время ловила себя на мысли, что возродить мало что возможно, но поразмыслить над уроками прихода ученых в школу имеет смысл.

Каково же было мое удивление, когда в прошлом (2011/12) учебном году я трижды побывала в физико-математической школе Академгородка, где имела честь работать в шестидесятые годы: ни о каком «возродить мало что возможно» и речи быть не могло, потому что оказалось: ничто из обретенного за пять десятилетий существования школы не исчезло, не утрачено.

У меня было ощущение, что в одну и ту же реку все-таки можно вступить дважды.

Горюхина Эльвира Николаевна, российский педагог, профессор Новосибирского педагогического университета. С 1992 постоянно работала как журналист в «горячих точках». С 2001 года — обозреватель «Новой газеты». Является лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» (2001), премии журнала «Дружба народов», в котором печатались многие ее очерки. В 2000 году журнал объединил некоторые из них в книге «Путешествия учительницы на Кавказ». В 2004 году вышла книга «Не разделяй нас, Господи, не разделяй. Очерки о Грузии». Награждена знаком общественного признания в области правозащитной деятельности «Символ свободы» в номинации «Журналист» (2003) и премией Союза журналистов «Золотое перо России» (2008).

¹ Записки о Второй школе, или Групповой портрет во второшкольном интерьере. М., Грантъ, 2003.

Уходила я из школы в десятом часу вечера и так же, как в прошлые годы, наталкивалась на молодых людей, которые, кто в одиночестве, кто малыми группами, решали какие-то задачи. Только теперь у них появился новый собеседник — компьютер. Все те же одухотворенные лица. Все тот же интерес к науке. Уверенность, что пребывание в школе круто изменит твою жизнь и спектр жизненных возможностей окажется принципиально другим.

Каждый вечер на первом этаже я встречала юношу из Тобольска. Эдакий стендалевский Жюльен Сорель. Очень красив. Печать вдохновенной работы не сходила с лица Александра Зданевича. Он сказал, что собирается поступать в Санкт-Петербургский университет на химфак. Ощущает потребность приобщиться к культуре великого города.

А потом я разговаривала с братьями Рабусовыми. Один из них закончил ФМШ и учится в университете (как здесь говорят: «Учусь за углом»). Младший — в одиннадцатом классе. Путь в школу у многих непрост. Рабусов-старший хотел стать скрипачом. Я спросила, есть ли связь между музыкой и математикой. И услышала целый трактат о работе пифагорейцев на эту тему. Потом появился интерес к истории. А в конечном счете, вслед за отцом, сын приехал в Академгородок. 8 марта на торжественном празднике я увидела в оркестре музыканта-математика Рабусова. Он был счастлив.

Типичный ответ, когда спрашиваешь, как попал в школу:

— Так у меня же брат здесь учился.

— А как брат узнал про эту школу?

— Так отец ее закончил.

Такая же ситуация, когда спрашиваешь о преподавателях. Не менее трети — выпускники ФМШ. Ученые работают здесь десятилетиями. Многие были участниками знаменитых экспедиций, задача которых состояла в том, чтобы выявить способных учеников.

Конечно, время вносит свои коррективы. Если несколько десятилетий ФМШ была вне конкуренции, то сегодня уже в ряде регионов открыты специализированные классы, борьба идет за каждого ученика. Обрела особый статус знаменитая Всесибирская открытая олимпиада, учрежденная по инициативе академика Лаврентьева. В 2012 году ей тоже исполнилось пятьдесят лет. Работает заочная школа (с 6 по 11 классы).

Назовите какой-нибудь другой проект в истории образования российско-го, который не просто выдержал испытание временем, но и не утратил своего актуального значения и через полвека! История физико-математических школ имела свою драматургию, своих героев, противников, но и полвека спустя представляется чудом из чудес. Это чудо называется просто — ученые пришли в школу.

Как это начиналось...

Читатель, обрати внимание на даты. Многое прояснится. Заставит задуматься.

18 мая 1957 года — дата создания Сибирского отделения Академии наук СССР: в этот день было подписано соответствующее постановление правительства.

1958 год. Есть фотография: выдающийся математик, один из создателей Академгородка, Сергей Львович Соболев стоит у котлована будущего здания Института математики.

9 января 1958 года — Совет министров СССР принимает Постановление об организации Новосибирского государственного университета.

Декабрь 1958 года — открыты подготовительные курсы для поступления в НГУ.

29 сентября 1959 года — занятия в университете открывает лекция Сергея Львовича Соболева о проблемах математической науки настоящего времени.

9 августа 1960 года — открыта аспирантура.

1960 год. Академик Соболев выступает на совещании директоров школ города. Говорит о веке вычислительной техники. Предлагает открыть класс программистов-вычислителей. (Никто не знает, что это такое.) Директор школы №10 Владимир Никитович Михайлин, подполковник в отставке, прошедший войну, берет на себя ответственность за создание такого класса. Жюри во главе с С.Л. Соболевым проводит набор в новый класс. Школьные учителя вместе с учеными Академгородка разрабатывают новые учебные планы и программы. Ряд предметов ведут ученые и аспиранты. Куратор и преподаватель программирования — Андрей Петрович Ершов. Лидер школьной информатики, как его потом назовут. Каждый ученик девятого класса получает право посещать научную библиотеку.

Мне выпадает честь быть классным руководителем этого класса.

Первый блин сибирского эксперимента

— так собрание светлых голов называло свой класс. Случай занес меня туда. Школа была наводнена странными журнальчиками в формате школьной тетради. Первые из них назывались «Антилопа». «Наш журнал не анти-советский, хотя он и анти-лопа». Его передавали по партам во время уроков. Обмен информацией происходил стремительно. Юные программисты считали, что скорость распространения информации — категория не количественная, а качественная. Потом появился журнал «Авост». Сердце мое замирало от лихих ударов математиков. Удары приходились и по моему предмету, они имели свое обозначение: «наглые антигуманитарные выходки» (Борис Эльман). Чего только стоит вопрос: «Вам никогда не было обидно, что вы не можете почувствовать кривизну пространства?» Они рисовали схему и доказывали, что «двенадцать» идут убить Христа. Доказательства?

— Так они идут по гипотенузе.

(Хотя Блока в программе не было.) Суждения о жизни воплощались в формулы и уравнения. Ну, например: «Площадь оценки жизненных стремлений равна произведению заложенных в нее основ на высоту сознания (одна из формул жизни): $S = a \times h$ » (Дмитрий Рогулев).

«Недавно меня удивил человек. Обыкновенный homo sapiens. Эта бесконечно малая частица Природы имеет кое-что лишнее... Интересный факт: обеспечением жизнедеятельности человека заняты все органы целиком, но мозг — не весь и не всегда. Мозг способен заниматься еще и кое-чем другим. Мой мозг в

данный момент занят размышлением об удивительном свойстве этого самого мозга. А какую практическую пользу мне это принесет?» (Дмитрий Черных).

Решили не «математизировать законы жизни» (Петр Борисовский).

Путь к Гамлету был открыт.

Школьный фольклор мгновенно откликнулся на появление нового класса: «Было у бабушки с дедушкой три внука: двое умных, один — программист».

«Двадцать девять и Одна. Двадцать девять — это мы, ученики 9 "В" класса. А Одна — это она, наша любовь, наша мечта... математика», — серьезно отозвались программисты.

1962 год. По инициативе академика Лаврентьева проводится первая Сибирская олимпиада, собравшая учащихся от Колымы до Минска. Идет отбор в первую летнюю школу — «летку». Затем предполагается зачисление в собственно физико-математическую школу. Школу-интернат. Первую в стране. Школы еще нет. Но она задумана как важнейшее звено в цепи: школа — вуз — НИИ; наука — кадры — производство. «Преобладание любого из этих начал приведет к застою и регрессу», — сущностное определение сибирского эксперимента, данное академиком Лаврентьевым.

...С восторгом воспринял актив студентов, собравшийся в Большой физической аудитории, сенсационное известие о создании в Сибири первой школы-интерната на конкурсной основе. Шел 1962 год. Школы еще не было, но летняя школа, по-видимому, давала все основания для оптимизма: «Город будет! Школа будет!»

И 21 января 1963 г. состоялось...

Открытие несуществующей школы

С лекцией выступил выдающийся ученый Алексей Андреевич Ляпунов. Постановление Совета министров СССР о создании школ-интернатов вышло... через восемь месяцев. Сегодня словно легенду расскажут вам, как академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, собрав подписи министров всех оборонных ведомств, в августе обратился к Устинову, который «оставался на хозяйстве» в качестве главного, и тот подписал постановление. «Так что нас родил военно-промышленный комплекс. Только там было понимание важности подготовки научных кадров», — говорит сегодняшний директор школы профессор Николай Иванович Яворский.

С самого начала было ясно, что преподавать в школе будут ученые. Ход обучения погружает учеников в науку как процесс. Более раннее пробуждение интереса к фундаментальной науке было одной из задач ФМШ. «Отношение к знанию как особой ценности необходимо воспитывать с младенческого возраста» — такова была стратегия образовательного процесса, как определил ее создатель ФМШ Михаил Лаврентьев. Он был уверен, что со временем в стране появятся училища нового типа и называл их «ломаносовскими». Они в какой-то степени будут отражать биографию ребят, которые придут в школу, как пришел в свое время крестьянский сын Михаил Ломоносов: не только из больших городов, но и из дальних мест. Способности, к счастью, не зависят от кошелька родителей, не раз говорил Михаил Алексеевич.

Началась уникальная, беспрецедентная в истории образования работа по

поиску способных учащихся. Территория — от Урала до Якутии. Отправлялось 30-35 бригад по пять-шесть человек каждая. Половину составляли доктора, кандидаты наук, аспиранты. Нередко устанавливался своеобразный патронат над отдельными семьями.

...В отдаленной деревне Заковряжино Новосибирской области в семье агронома Василия Дубовицкого два сына выиграли олимпиаду. ФМШ проявила интерес и к другим детям этой семьи. Александр Дубовицкий закончил ФМШ. Сегодня он глава Сузунского поселения. Я спрашиваю, надо ли было учиться в ФМШ, чтобы стать главой поселения?

— Научное мышление позволяет избежать ошибок в управлении. Время пребывания в школе — лучшее время жизни, — отвечает.

Многие ученые, возглавляющие сегодня крупные научные центры, в свое время участвовали в этих экспедициях. Академик Валентин Власов: «Я принимал участие в проведении олимпиад физико-математической школы при НГУ. Мы выезжали в отдаленные уголки страны, отбирали наиболее одаренных детей со всего Советского Союза и видели, что из школ, где работают хорошие учителя, регулярно приезжали прекрасно подготовленные ребята. Мы просили наших абитуриентов и студентов-первокурсников назвать наиболее запомнившихся им школьных учителей — часто повторялись одни и те же имена. Я уверен, что в шестидесятые-восьмидесятые годы у нас была лучшая в мире система образования».

Хорошее образование — это и есть подлинный социальный лифт, а отнюдь не ЕГЭ, как полагают не то Шувалов, не то Дворкович.

«Заговор» академиков

Директор школы Николай Иванович Яворский говорит, что ФМШ была экспериментом с неизвестными результатами. Но что предшествовало этому эксперименту?

А то, что образованием школьников озаботились ученые, составляющие славу и гордость науки.

Составитель уникальной книги «Кикоин. Колмогоров. ФМШ МГУ» член-корреспондент РАО Александр Михайлович Абрамов называет солидарное выступление ученых о школе «заговором академиков». Назовем некоторые имена: Андрей Дмитриевич Сахаров, Николай Николаевич Семенов, Яков Борисович Зельдович, Мстислав Всеволодович Келдыш, Иван Георгиевич Петровский, Александр Михайлович Ляпунов, Михаил Алексеевич Лаврентьев, Илья Нестерович Векуа, Сергей Львович Соболев, Дмитрий Васильевич Ширков, Петр Леонидович Капица. Поучительно проследить, с какой частотой выходили в «Правде», «Известиях» статьи этих ученых. Приведу пример только одного года.

17.01.58 г. «Правда». Статья лауреата Нобелевской премии Н.Н. Семенова.

19.11.58 г. «Правда». Статья Я.Б. Зельдовича и А.Д. Сахарова.

25.11.58 г. «Правда». Статья М.А. Лаврентьева.

Публикации в «Вопросах философии». Переписка А.Н. Колмогорова и П.Л. Капицы.

Сегодня читаешь эти материалы и дух захватывает. Увы, воспроизвести тогдашнюю озабоченность крупнейших ученых судьбой молодого человека

нельзя. Иной тип поколения! Замес другой. Нет сегодня таких лидеров. Кажется, последним был Владимир Игоревич Арнольд.

Что же стало предметом полемики? Против каких негативных явлений предостерегали ученые? Какие принципы закладывались в основу реального дела?

Теперь уже ясно, что эти принципы оказались, по меткому выражению А. Абрамова, провидческими. Будущее страны во всех его аспектах связывалось именно с образованием. Обеспокоенность вызывал принцип отбора учеников. Очень осторожно подходили к таким понятиям, как талант и одаренность. Одна из многочисленных статей Михаила Лаврентьева так и называлась «Школа для "особо одаренных"». Ученый считал, что поощрять идею исключительности опасно, это сразу же скажется на моральной атмосфере. Речь в конечном счете шла о пробуждении интереса к творчеству у широких слоев молодежи. Пафос статьи: «Ставка на вундеркиндов — ставка неправильная».

Как отличить хорошо натренированного от того, кто действительно способен к науке? Академик Н.Н. Семенов: «Одаренность не имеет прямого отношения к сумме знаний. Одаренность, оцениваемая по творческой активности, одинаково видна у окончивших школу в деревне и в городе, у детей разных слоев населения. Отбор нужно делать независимо от положения и влияния родителей». Ученый считал, что должны быть училища для лаборантов. Эту же мысль высказывал и М.А. Лаврентьев. Таких училищ должно быть много. Ученые предупреждали: никакие технические средства не могут заменить индивидуального внимания к каждому подростку, тонкой творческой работы с ним. Общество должно тратить на школьников как можно больше интеллектуального и творческого труда.

Лаврентьев прямо говорил о том, что идею траты личного времени на учащегося надо пропагандировать в обществе. Некоторые ученые добавляли: эту идею следует продвигать начальствующим лицам. Особенно заботило ученых положение способного, мотивированного ученика, который не имел возможности в силу ряда причин интеллектуально расти.

Воспитываем личность или службу?

Все преподаватели отмечают: сейчас уровень массовой школы намного ниже, чем был раньше. Доктор наук, профессор Олег Юрьевич Цвелогуб, с которым я неоднократно беседовала, говорит, что и сегодня есть подготовленные ребята, но их уровень несопоставим с первыми наборами. Произнеся гневную филиппику в адрес ЕГЭ, который не позволяет разглядеть творческое начало у поступающего, Олег Юрьевич заявил прямо: с каждой новой реформой школа опускается все ниже и ниже. Идет процесс дебилизации молодого поколения. Все что ни делают «реформаторы» — все идет в минус.

С приходом ЕГЭ в нашу школу изменилась парадигма образовательного процесса. Учитель натаскивает ученика на готовые правильные ответы, не будучи озабочен развитием в нем творческого начала. «Своим ученикам я даю задачи, но в ходе их решения у них появляются свои идеи» (И.К. Кикоин). На ЕГЭ это возможно? Ученые подчеркивают: главное — не результат, а понимание процесса. Это другой образ мышления. Не случайно «фэмэшата» (почти все) счита-

ют самым творческим актом собеседование и решение задач, как они выражаются, с подвохом.

Говоря об одном из проектов выработки стандартов общего образования, академик Арнольд сказал (произнесено в Государственной Думе): «Этот план производит общее впечатление плана подготовки рабов, обслуживающих сырьевой придаток господствующим хозяевам: этих рабов учат разве что основам языка хозяев, чтобы они могли понимать приказы».

Вообще взгляд из специализированных классов на массовую школу следовало бы основательно изучить. Николай Иванович Яворский считает, что пренебрежительное отношение к образованию не способствовало появлению у школьников мотивации к изучению естественно-научных дисциплин: «С физикой, можно сказать, вообще катастрофа. А что значит инновационное развитие России без инженеров?»

Хорошо запомнила декабрьский вечер. В преподавательской собрались физики, математики. Рассуждали на тему, что означает выбор того или иного предмета учеником. Допустим, ученик не выбрал физику. Ему закрыт путь в биологию и не только. Я решила пошутить: а всем ли нужна физика? И схлопотала: «Физика всюду: в сельском хозяйстве, инженерном деле. Физика нужна уже затем, чтобы знать: сквозь стену нельзя пройти».

Известно, что выпускников ФМШ можно встретить в лабораториях других стран мира. Любых.

— Это обидно? — спросила я.

— Не особенно. Мировая наука едина. Где состоялось открытие, не столь важно. Важно, что были созданы условия для открытия. Как говаривал пятьдесят лет тому назад ученый Богдан Войцеховский: «Ученый должен быть там, где лучше проблеме».

В тот вечер преподаватели готовились к зимней школе, которая проводится во время школьных каникул. Приедут учителя из разных городов и сел. Директор школы прав, когда говорит, что ФМШ — локомотив образовательного процесса. Влияние фэмэшатских ученых на учительский состав целого ряда регионов России (не менее сорока) велико. Тем не менее, налицо новое явление: из небольших городков и сел приходят учащиеся способные, но недостаточно подготовленные. Приходится с ними работать отдельно. Настораживает нарастающее расслоение населения. Сила школы — в создании среды, куда попадает ученик. Эта среда воссоздается и в так называемых губернаторских классах, некоторые из них работают по программе ФМШ.

Серьезные нарекания у многих ученых вызывает Всероссийская олимпиада. В значительной степени она напоминает спорт высоких достижений. Ее бюрократичность приводит к тому, что в один и тот же день она проходит по всем предметам. Мне рассказывали в отделе нового набора, что раньше дети из сел и маленьких городов приезжали, допустим, в Абакан не на один день. Иные впервые в жизни попадали в театр.

«В последние годы круг олимпиадников заметно сужается, — замечает профессор Александр Марковичев. — А главная задача олимпиады пробудить интерес...» Есть в ФМШ замечательный социальный лифт — так называемые вольники. Вы не прошли все туры олимпиады, но приехали к началу работы летней школы, где происходит отбор в школу-интернат. Вас допускают к собеседованию, проверочным работам. У вас остается шанс быть зачисленным.

Вообще основной нерв школы — предоставить ученику возможность определиться. Мне посчастливилось работать и в летней, и в зимней школах. Работала в классе одноклассников. Директором школы был известный ученый Евгений Иванович Биченков, мой главный собеседник и оппонент на протяжении ряда лет.

— Ну, что дает ребятам один год? Одно расстройство. Вырываются из привычной среды — и обратно, — это я кипячусь. — Многие могут сломаться.

— Нет! И еще раз нет! Для многих это единственно возможный вариант спасения. Они все равно создадут конкурентную среду. Если не поступят в университет, у них будет возможность попасть в другие вузы города. Что же касается времени, которого у одноклассников не так много, оно может повысить мотивацию.

Евгений Иванович оказался абсолютно прав. Среда и дух школы свое дело сделали. Все одноклассники получили все, что хотели. Когда я говорю о среде, имею в виду не только школу как таковую, но и то, что происходит в самом городке. Кто не помнит встреч у фонтана, на которых продолжались беседы о науке и жизни! А фехтовальный клуб? А КЮТ (Клуб юных техников)? Общая среда манила, задавала новые ориентиры. Становилась источником жизненных сил.

* * *

«Собрать вместе детей из столь отдаленных районов и предоставить им место, где они могут развивать свои интересы и жить счастливо, — задача нелегкая» (признавал Д. Тейлор, окружной инспектор естественных наук из США, которого восхитило увиденное в новосибирском Академгородке).

«Жить счастливо» — ключевые слова. Меня поразили один пункт в правилах общежития. К серьезным нарушениям, наказуемым вплоть до исключения из школы, отнесено такое: действия, направленные на унижение человеческого достоинства. Дорогого стоит упоминание о человеческом достоинстве.

Я спросила Николая Ивановича Яворского, что бы он изменил в школе, если бы деньги были?

— Прежде всего улучшил бы питание. Во-вторых, отремонтировал общежитие.

О питании: на питание способного «фэмэшонка» в день тратится 140 рублей. Однажды мне попал в руки талон на завтрак «молодогвардейца». Стоимость — 300 рублей.

Мамонты-однолюбы

Одним из первых, кто поднял вопрос о специализированных классах, был журналист Анатолий Аграновский. За полгода до открытия первой в стране ФМШ, оказавшись в физико-математическом пекле Академгородка, откуда пошла гулять по стране дискуссия о «физиках и лириках», он ошеломляюще просто задал вопрос о судьбе гуманитарного образования академику Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву и услышал в ответ (речь шла о первом физико-математическом классе школы №10): «...в класс пришла аспирантка педагогического института, молодой филолог, и тридцать оголтелых математиков стали заядлыми литераторами».

Этим молодым филологом была я. Сказать честно, никто из того первого физико-математического класса литератором не стал. Аграновский понимал, что дело не в конкретном учителе. Вопрос был принципиальным: можно ли произвольно менять содержание образования и адресовался по назначению — Академии педагогических наук. По сути, Анатолий Абрамович призывал обратить внимание на процессы, которые возникают в педагогике в связи с ускорением научно-технического прогресса. Но АПН прозевала богатейший опыт физико-математических школ. Не проявила никакого интереса к приходу ученых в школу. Одна из захватывающих дух проблем состояла в соотношении естественно-научного и художественного мышления учащихся. Пройдя апробацию докторской в секторе дидактики И.Я. Лернера, я услышала «нет» самой проблеме одаренных детей. Требовали убрать все, что так или иначе было связано с последствиями специализированного обучения. Но главное — пугала детская мысль. Независимая. Не адаптированная действительностью. Социально опасными казались многие суждения тех, чье мышление было свободно от догм. Поколение молодых людей, уже свободно пребывавших в области непредставимого, порождало принципиально новый продукт, не имевший аналогов. Связываться с АПН смысла не было. Не случайно Аграновский назвал свою статью «Под лежащий камень». Но вот что любопытно. В том же 1962 году журналист напишет свой знаменитый очерк об ученом Богдане Вячеславовиче Войцеховском, его мире «аскетическом и строгом», «об упрямой прямизне» этого мира. Поначалу может показаться, что журналист потрафил клану «физиков», написав об «узости» Бетховена. Хорошо помню реакцию на это суждение физиков и математиков. Но Анатолий Абрамович не рискнул назвать Войцеховского гармонически развитым человеком в привычном смысле этого слова. В «односторонности» сибирского ученого он услышал гармонию другого порядка. Здесь и таилась проблема. Без понимания «странностей» мышления одержимых математикой можно остаться со своими Пушкиным и Толстым по другую сторону от тех, кого учишь. Дело не только в том, что перегородок между научным и художественным нет. Суть в том, что научное выступает как эстетическая категория. Именно об этом писал знаменитый кибернетик Игорь Андреевич Полетаев, затеявший дискуссию о физиках и лириках, когда давал отточенную характеристику дара академика Ляпунова: «Каждая беседа и общение с ним было интеллектуальным событием и эстетическим переживанием».

Дискуссии о всесторонне развитой личности горячо велись в клубе «На кофейной гуще». По легкомыслию молодости я не раз попадала под стрелы Игоря Андреевича. Однажды он спросил: «Должна ли учительница литературы знать математику?» Я замялась. На помощь ринулся академик Андрей Михайлович Будкер: «Ну, должна же она сосчитать, сколько у нее учеников в классе».

— Если математик это тот, кто умеет считать детей по головам, то физик — это тот же продавец, который взвешивает тело, — парировал Полетаев.

— А вот тут вы ошибаетесь: между физиком, взвешивающим тело, и продавцом есть принципиальное различие, — заметил Будкер. — Физик стремится делать это с максимальной точностью — в отличие от продавца.

...Как-то искали формулу всестороннего развития (само понятие вызывало тогда негативное отношение): если во времена античности каждый второй грек мог написать трагедию, а во времена Лопе де Веги каждый испанец — комедию,

то в наше время каждый может... написать статью в стенгазету, которую никто не прочтет.

В самом деле, с чем мы имеем дело: с явлением культурной недостаточности, пользуясь терминологией выдающегося отечественного психолога и педагога Александра Романовича Лурии, или с явлением другого типа культуры? Непростая психолого-педагогическая проблема.

У меня есть ощущение, что новосибирская физматшкола, как и московская школа №2¹, проблему гуманитарного знания решали достойно. В ФМШ многие годы существовало литературное объединение, которое возглавляла Валерия Лазарева. Город хорошо помнит яркие театральные спектакли этого объединения, фестивали поэтов и писателей.

В свой нынешний приезд я читала некоторые сочинения сегодняшних «фэмэшат», посвященные месту человека в информационном пространстве. Авторы отстаивают право на информацию и право на частную жизнь. Понимание, что есть некое знание, которое не может быть выведено рассудочно, что, скорее всего, существует потребность в тех областях знания, которые связаны с интуицией, прежде всего — художественной.

Одна из последних межкафедральных конференций, в которой участвовали преподаватели НГУ, других вузов, сотрудники Института истории Сибирского отделения РАН, была посвящена роли искусства в гуманитарном образовании. Выпущен сборник докладов. Так вот было заявлено: «...человечество вышло в широкое поле непредсказуемости. Область непредсказуемого в современном мире невероятно возрастает... Искусство занимается сложными процессами переплетения случайного и неслучайного».

Если Юрий Михайлович Лотман прав и мы сейчас стоим на пороге полной неясности, то «без художественной интуиции хода в область полной неясности нет». Не об этом ли была и мысль Михаила Алексеевича Лаврентьева: «Учебные программы должны быть скорректированы на развитие фантазии, воображения — без этого трудно представить развитие творческой личности».

— Ну, и как завершился спор «физиков» и «лириков»? — Я разговариваю с выпускником ФМШ, преподавателем Юрием Викторовичем Михеевым и не сразу улавливаю момент, когда он начинает говорить стихами. Дарит книжку стихов на память. Спрашиваю Юрия Викторовича, которому повезло в свое время чаевничать в доме Алексея Андреевича Ляпунова (он — из первого выпуска ФМШ), многие ли пишут стихи?

— Легче назвать тех, кто не пишет, — отвечает Юрий Викторович.

* * *

...Я любила со своими учениками и студентами бывать на экскурсиях в институтах ядерной физики, теплофизики, геологии. Звонишь Самсону Семеновичу Кутателадзе, директору Института теплофизики — и экскурсию, как правило, он вел сам. Выдающийся ученый. Составить бы список неожиданных художественных произведений, на которые он ссылался, когда говорил о сути физических явлений и работе научной мысли. О научном замысле. Здесь не просто

¹ Широко известная физико-математическая школа № 2 г. Москвы (ныне — лицей «Вторая школа»). Первый выпуск состоялся в 1958 году.

сближение науки и искусства, здесь взаимопроникновение одного в другое. Знать бы нам, ленивым и нерадивым, что все сказанное следовало записать и передать новому поколению. Бесценное наследие! Но осталось нечто более важное, чем конкретное знание. На всю жизнь остается та система ценностей учителя, которой он не изменял никогда. И ни при каких обстоятельствах. «Значительную часть своей жизни я точно помню, что главное надо передать своим ученикам... У нас уже давно есть ученики, и у наших учеников есть ученики», — это пишет об Алексее Михайловиче Ляпунове его ученик еще по ФМШ Геннадий Фридман, которому повезло бывать на знаменитых чаепитиях в доме ученого.

Тамара Кабукина, моя бывшая студентка, работает в школе с 1963 года. «Я прожила счастливейшую жизнь. Часто думаю: за что это мне досталось... Вот дежуришь в общежитии ФМШ в воскресный день. Так и жди. Приезжают Лаврентьев, Будкер, Ляпунов. Идут по комнатам... Играют в шахматы, говорят о жизни. Ты можешь представить эту жизнь, когда рядом с тобой такие люди и у тебя с ними общая работа? Любые жизненные трудности преодолимы».

«Записки о школе № 2», воспоминания бывших «фэмэшат» показывают, что учитель влияет на ученика всем своим обликом и судьбой. Какие блистательные филологи работают во «Второй школе»! «Урок личной ответственности становится началом подлинного воспитания» (Анатолий Сивцев).

Об учителе Анатолии Якобсоне: «Урок уже кончился, а мы все стояли, и он мне втолковывал, а что — уже, конечно, не помню» (Нехама Полонски).

Так что же остается на всю жизнь? А вот это: «...он мне все втолковывал... а мы все стояли». Это и есть подлинное воспитание. То, о чем неоднократно говорил Михаил Алексеевич Лаврентьев: бескорыстная трата личного времени на ученика. Годы обучения в школе № 2 стали для многих судьбоносным периодом в жизни. Об этом вспоминают ее выпускники спустя не одно десятилетие. «Это испытано каждым», — говорил поэт. Сказанное имеет отношение и к «фэмэшатам».

— Люблю ходить по улицам городка и слушать разговоры. Так не говорят нигде. Знаю, какой поворот судьбы свершился — приход в эту школу. — Так говорят многие.

И как бы парадоксально это ни звучало — неважно, что случится потом. Юность — период наивысшего подъема духовных и душевных сил человека. Важно, если именно в этот период ты встретил людей, чье участие стало условием полноты твоего бытия. Последствие этой полноты распространяется на всю жизнь. Ученые заразили тебя и потребностью передать этот опыт другому. Счастье в одиночку — и не счастье вовсе.

Кому у кого учиться?

Бродишь по коридорам учебного корпуса. Читаешь зазывные объявления. Вот малая часть спецкурсов:

Моделирование физических процессов и явлений на персональных компьютерах;

Современная физика (квантовая механика, специальная теория относительности, статистическая физика);

Математические основы теории кодирования и криптографии;

Алгебра отношений;
Неспокойная земля (очень мало уделяем внимания процессам, происходящим в недрах и на поверхности земли);
Генетика от Менделя до наших дней;
От Возрождения до модерна;
Практикум по генетике и молекулярной биологии (практика в институте цитологии и генетики СО РАН);
Плазменные технологии (НГУ);
Физические аспекты горения и взрыва;
«Круглый стол»: современная литература в школьной программе;
Человеческие ценности;
Свобода и справедливость;
Оптимальная модель общественного устройства.
Сердце заходится от желания войти в любую аудиторию не учителем, а учеником.

Встреча с преподавателем иногда лишает тебя покоя. Один из них, говоря об ЕГЭ, обмолвился, что четное количество ошибок приводит к правильному результату. Вы можете после этого уснуть? Я — нет!

Когда узнаешь, из каких мест прибыли ребята, понимаешь, что заветы создателей школы — спасти ребенка — не только не забыты, они остаются краеугольным камнем в основании ФМШ. Прочитайте вместе со мной: Лесозаводск, Усть-Илимск, Заводоуковск, Усолье-Сибирское, Сахалин, Верховье Колымы, Тобольск, Прокопьевск, Магадан, пос.Тисуль, Ханты-Мансийск, Забайкальский край, пос.Нексикан, Атырау (Казахстан), Приморский край, Хабаровский край, Бурятия. Я встретила с каждым, кто из этих мест. Они любят свою школу, своих учителей и, когда пытаются дать определение своего фэмэшатского существования, часто говорят: «Это не земля, это небо!»

В одном из писем Петру Леонидовичу Капице Андрей Николаевич Колмогоров писал: «Наши ученики, как правило, попадают к нам из таких мест, где их быстрый рост был бы крайне затруднен и невозможен». Невозможность развития — это потеря и для личности, и для Отечества.

Беспрецедентная полувековая работа ученых с детьми поражает воображение каждого, кто попадает в эту школу. Это акт высочайшего гуманизма, веры в возможности личности, в какой бы глухомани она ни родилась. Не случайно членкор РАО Александр Михайлович Абрамов, говоря о приходе ученых в школу, не раз вспоминал педагогическую деятельность Льва Николаевича Толстого. Признанный мировой гений, несмотря на просьбы друзей оставить школу ради литературы, прекрасно понимал, что будущее России формируется в школе, что, обучая детей, учишься сам.

Так вот что я вам скажу напоследок: сегодня среди ученых лидера в школьном образовании нет. Однако прошедшие в 2011 году (дважды!) слушания по поводу колмогоровского и так называемого министерского проектов, посвященные поиску и образованию способных учащихся, показали, что опыт специализированных классов и школ чрезвычайно богат. Учителя и ученые-«добровольцы» продолжают дело великих энтузиастов школьного образования, какими были М. Лаврентьев, А. Ляпунов, А. Колмогоров, И. Векуа, С. Соболев, И. Кикоин, И. Гельфанд, В. Арнольд. Единственное, что надо сделать, — не мешать этим людям. Не загонять в дурацкие стандарты. Не душить инициативу.

Дать возможность разрабатывать авторские курсы. Несвободный учитель не может воспитать свободную личность. К нашему счастью, дух первопроходцев еще жив.

P.S. Поймала себя на том, что впервые в одной статье несколько раз говорю о счастье. Заглянула в «Диплом почетного программиста», которого была удостоена первым классом программистов, и прочла: «Двадцать девять уходят в жизнь и еще двадцати девяти открыта дорога к счастью» (май 1963 года).

Все правильно. Все сошлось! Образование — кратчайший путь к счастью. А, возможно, и само счастье.

Приложение

Из писем и сочинений учеников 10-1 класса ФМШ, руководитель Л.К. Никитина.

«Я поступил в Летнюю школу с намерением узнать много нового, найти новых друзей и новые увлечения. Все мои ожидания оправдались, кроме того, произошло еще много нового, веселого, удивительного в моей жизни. В летке я встретил увлеченных, активных, умных и озорных ребят. Как я хотел попасть в такой коллектив! Мы учились, играли, занимались спортом, вместе придумывали сцены на мероприятиях, вместе ломали голову над задачами, каждый день был насыщенным и особенным, отличным от других.

В летке я, взяв пример с других, начал учиться играть на гитаре, усиленно заниматься спортом и каждый день проводить "мозговой штурм" розовой книжечки. Помимо этого я увидел много взрослых людей — воспитателей и лекторов, у которых заметил огонь в глазах, они волновались и переживали, словно сами опять поступили в летку.

И в заключение я могу с полной уверенностью сказать, что летняя школа была одним из самых памятных времен моей жизни»

(Никита Бурин).

* * *

«Изначально я не хотела ехать в ЛШ, думала, будет скучно и нудно. К счастью, я ошиблась.

Уже в первый день нас встретила зажигательная "комса": это люди, наполненные позитивом, талантом, креативом; это люди, которые всячески веселили летнюю школу.

Но веселиться приходилось не всегда. Каждый день мы посещали интересные лекции по математике, физике, биологии, химии. Лекторы и семинаристы рассказывали много новых и интересных вещей. Благодаря им я успешно сдала вступительные экзамены, и вот я в ФМШ. Моей радости не было границ и пределов. Я буду учиться в лучшей школе, не снится ли мне это?

9-3 теперь не существует, зато образовался 10-1 — лучший класс.

Летняя школа навсегда останется в моей памяти. Я закончу ФМШ, построю машину времени и обязательно вернусь в август 2012 года»

(Анна Рыжкова).

* * *

«Жить в летке — это жить в полную силу. Я с уверенностью могу сказать, что это самое лучшее время в моей жизни»

(Дмитрий Сергачев).

* * *

«В летке каждый день происходило что-то новое, особенно запомнились дни, когда было посвящение в бизнес-день. Летняя школа давала каждому раскрыться. Будь то выступление на ЛШОу, либо обычная дискотека. В ней каждый день был заполнен чем-то ярким и веселым»

(Арсен Исаев).

* * *

«Мне понравилось все, начиная с лекций и заканчивая конкурсами. В памяти всплывают лишь хорошие, приятные воспоминания. Я впервые побывала на лекциях в аудиториях, жила в студенческом общежитии, познакомилась с ребятами из Казахстана, покормила этих милых созданий, белок, и даже приняла участие в различных мероприятиях. Жалко, что летка так быстро закончилась...»

(Эмилия Арсентьева).

* * *

«Что запомнилось больше всего? Мне больше всего запомнился лекционный зал в НГУ. У нас там была лекция, и на одной из них внезапно принесли в аудиторию термососуды с азотом, а лектор стал разливать их по бутылкам, которые потом с грохотом взрывались. <...> В общем, смело можно сказать, что профессор зажег — как и "комса", те тоже отрывались не по-детски и обеспечивали заряд позитива каждый вечер. Отдельное спасибо хочется сказать воспитателям — без них мы никуда.

Кончилась летка, и началась реальная учеба — новая комната, новые испытания, новые тайны... Что ждет нас в зимней школе? Однозначный ответ дать нельзя, но можно смело сказать, что это будет что-то грандиозное, для меня!»

(Михаил Курков).

* * *

«Что мы ждали и что получили? Получили больше, чем ожидали.

В летке мы думали о ФМШ как о месте, куда очень хорошо попасть, где очень хорошие учителя. Мы думали, что в ФМШ надо непрерывно учиться и учиться, не останавливаясь, бежать изо всех сил только для того, чтобы остаться в ней... Эксперимент показал, что можно и интересно отдыхать, и делать уроки в пределах разумного.

В летке я считал, что все приколы ФМШ мне известны. Сейчас понимаю, что знаю о ФМШ значительно меньше.

Мы получили одну из самых хороших школ в России, возможность учиться и жить при ней. Вероятно, я сам еще до конца не осознал, что нам дала ФМШ. Но одно я могу сказать точно — нам дали больше того, чего мы ожидали в летке»

(Олег Колодеев).

* * *

«Летняя школа не похожа на обычную школу и вместе с этим отличается от летнего лагеря. Летка — начало чего-то нового, начало ФМШ... В летней школе каждый день был наполнен событиями: всегда нужно было куда-то идти, что-то

делать, лекции, семинары сменялись множеством мероприятий, благодаря которым каждый новый день запоминался и становился лучшим днем лета.

От ФМШ я ожидала многого. Я понимала, что объем учебы увеличится, больше времени будет уделяться занятиям, но за счет отсутствия ежедневных развлекательных мероприятий надеялась, что смогу отдохнуть. ФМШ же оказалась лучше летки не только в плане учебы (появление других предметов, более усиленного изучения основных), но и редкие развлечения, мероприятия, проходящие на более высоком уровне, занимают больше времени.

Дни в ФМШ летят быстро. Прошло уже два месяца, а кажется, что лишь две недели»

(Дарья Фурсова).

* * *

«Летняя школа и ФМШ сильно переменяли всю мою жизнь, я даже думать по-другому стал. Я очень благодарен ФМШ и потому, что она учит меня и подготавливает к поступлению и обучению в институте».

(Михаил Бирюков).

* * *

«В летней школе я ожидал от ФМШ другого. Я думал, что зимой учиться здесь будет так же легко и беззаботно, ведь в летке у нас даже домашнюю работу не проверяли... Я ожидал, что в ФМШ тоже будут приезжать различные профессора из институтов, из ЦЕРН и будут читать нам такие же интересные лекции, после которых мы аплодировали. В действительности же в зимней школе жизнь намного размереннее и сложнее. Строгое расписание, к которому, правда, быстро привыкаешь, трудная домашняя работа. Нет уже приезжих профессоров. Но зато есть свои фымышатские преподаватели.

Нигде я не видел таких преподавателей — внимательных, в меру строгих, интересных, добрых. Причем я не знаю исключений. Я могу сказать, что у меня нет плохих семинаристов, лекторов. Они все разные, но все по-своему хороши. С ними можно поговорить не только о физике, математике, но и вообще о жизни, о будущем. Вот что я больше всего ценю в моей уже ставшей родной, школе»

(Олег Милютин).

* * *

«"Можешь расслабиться. Я вижу, что ты знаешь. Ставлю пять". Слова экзаменатора звенели в голове, пока я перебирала дрожащими ногами ступеньки учебного корпуса. Позади последний экзамен летней школы и только теперь можно с уверенностью сказать, что будет дальше. Дальше — ФМШ. Что скрывалось за это странной аббревиатурой, мне только предстояло узнать.

Уборка. Сумерки. Переезд. Новые лица. Все начинается прямо как в летке. Первое собрание класса и уже знакомая игра "Снежный ком". Это особенное ощущение, когда тебя знакомят с твоей новой жизнью. Первый раз приходишь на лекции, здороваешься со своим семинаристом, пытаешься выучить имена одноклассников, открываешь такие сложные и непонятные книги. В этот момент приходит понимание того, что все это — надолго. Оно будет окружать тебя до конца школы. Все-таки два года — немалый срок. Тут же накрывает волной

эмоций... как будто попал в телепрограмму и голос за кадром произнес: "Теперь ты ученица ФМШ. Это — твой класс. Это — твои учителя". И бросают с головой в бурлящую жизнь. Наверное, Алиса, когда попала в Страну Чудес, чувствовала себя так же.

...Тук-тук. "Подъем! — голос дежурного по этажу снова вырывает меня из царства снов. — Уже 7 часов. Девочки, вставайте!" Зарядка. Уборка. Уроки, учебники, месбалл. В летней школе предупреждали, что будет сложно. Вроде те же лекции, семинары, домашнее задание с фонариком под одеялом (вдруг зайдет ночной!), но все как-то по-другому, это же не ЛШ. Кто-то поменял буквы, а заодно и привычный образ жизни...

Дзинь-дзинь. Уже восемь. "Девочки, бежим скорее! Лекция первая!"»

(Кира Мусяченко).

Серебряный Академгородок (Яна Пойлова, 11-1 класс):

«Ни для кого не секрет, что зимой в Сибири холодно. Но те, кто здесь не был, не смогут понять, насколько у нас красиво! А для жителей Академгородка, чтобы увидеть зимние чудеса, достаточно выглянуть в окно.

Сосны. Под белой пушистой шапкой они кажутся еще величественней, чем летом. Снег тихо падает и покрывает все проблемы, решениями которых заняты головы людей. Темнеть начало рано. Но белизна снежного покрова снизу подсвечивает улицу.

Шаг. Сломанная снежинка. Приятный звук-хруст. Всю землю посыпало серебром. Чистота и бережное отношение к природе в Академгородке позволяют этому серебру не меркнуть. Множество тропинок, пересекающих местные "научные" леса, ежедневно посещают студенты и ученые.

Чистый воздух, простор и сказочные улочки — это то, чем могут похвастать жители этого удивительного места. Места, известного на весь мир своими возможностями, открытиями и изобретениями. И у каждого, кто здесь побывает, останется в сердце эта необыкновенная атмосфера. Атмосфера Академгородка!

Сентябрь — еще теплый; наши окна в блоке, выходящие на солнечную сторону, пропускают множество ярких лучей — они нагревают пол, стандартные желтые стены, уже ставшую за год родной и знакомой мебель... Кучи божьих коровок, влекомые этими лучами, садятся к нам на подоконник, стремятся завладеть нашим вниманием — но оно полностью захвачено новым, пришедшим после долгого лета всплеском отвлеченной мыслительной деятельности.

При мысли об учебе обычно в голове возникает какая-то плоская картинка поглощения информации и проверок ее усвоения — словом, временная необходимость тяжелых будней. А что если учеба — это многомерная фигура? Если трехмерный (а уже не плоский) замок уроков, зачетов, конференций, олимпиад, наконец, задачек и примеров пускает свои корни в другие, невообразимые зрительно измерения, где происходит обобщенный взгляд на школьные и нешкольные предметы, науки и области их применения? Тогда здесь, посередине всего — ты, фымышонок, "корень из Нет-единицы, границу раздела таящий к тому, что было, и к тому, что будет".

С сентября прошло полгода — семестр, если быть точнее; окна покрыты морозным слоем даже с внутренней стороны. И семестр назад мы, со сладкой

грустью понимая, что это сладкое время учебы — той самой Учебы — так или иначе пройдет, бесполезно гадали, быстро ли, медленно ли пройдет оно.

А оно прошло своим ходом, прошло сквозь нас, ставших другими в процессе обучения и общения. И за этот благотворный, увлекательный, раз-в-жизненный процесс — спасибо физматшколе».

Мы — это ФМШ! Посвящение в... (Аникеева Василиса, класс 10-2, руководитель Подистов Андрей Владимирович):

«Конец ноября. Дом ученых. Гардероб. И вот я уже сижу в 4-м ряду одного из самых известных залов Новосибирска. Настроение у всех приподнятое и чуть взволнованное. На сцене уже все готово: стол с бокалами и водой, микрофоны... Свет гаснет. Слова Николая Ивановича Яворского: "Сегодня — великий день в вашей жизни". Гимн. Больше ничего не нужно для создания торжественности и важности сего события. Почему-то именно в этот момент я полностью погрузилась в смысл слов самой главной музыки нашей страны. Слова гимна наставляют тебя на путь истины, и кажется, никаких советов больше не надо, просто поднимайся на народной мудрости и прославляй свое отечество, как делали наши предки.

Нас пришли поздравить много академиков СО РАН, членов-корреспондентов, докторов наук. Им вручали медали. Как бы хотелось когда-нибудь получить такие же! Они все говорили теплые слова, наставляя нас на путь развития российской науки. Создалось впечатление, что вот ты сейчас выйдешь, придешь домой и примешься за разработку идеи, а затем и за ее воплощение в реальность. Это был лучик света и надежды среди непонимания материала, среди неопределенности, среди вопросов. Наконец начинается самая эпическая часть мероприятия. Назначают магистра, он облачается в мантию, берет жезл, и весь зал начинает провозглашать торжественную клятву, повторяя за ним. Я взяла человека, с которым придется пройти вместе весь этот сложный путь, за руку. Теперь мне не так страшно давать клятву, ведь рядом со мной человек, который всегда меня поддержит. Так мы простояли всю клятву.

На сцену поднимаются классы один за другим, каждый ученик касается штандарта с начертанными на нем словами "Свети другим, сгорая сам". Эти слова выражают готовность к полной самоотдаче науке, возможно, поэтому было немного страшно. Возникал вопрос: "А готова ли ты к этому?" Но теперь поздно. Мы прикоснулись. Обратного пути нет. Теперь только вперед, сражаться с трудностями, на борьбу со слабостями. Тут же стоят одиннадцатиклассники, доказавшие нам, что учиться здесь, несмотря на тяжелую учебную программу, все же возможно. Они в черном одеянии и в черных шапочках с кисточками, что добавляло еще большую торжественность в атмосферу происходящего. Каждый брал соль как символ самого основного, главного и подходил к магистру, который жезлом превращал серых мышек в ФМШат. И в доказательство, что мы посвящены, нам выдавали красивые значки, которыми, как я думаю, мы будем гордиться всю жизнь. После этого события я начала испытывать некоторую гордость. Хорошую гордость, гордость за то, что я добилась права быть членом этой научной семьи, быть членом братства ФМШ, в последующем НГУ и, наконец, Академии наук. Остается лишь не упасть с этой ступени и штурмовать гору учебников, океан лекций и семинаров. Надеюсь, у нас все получится, ведь:

«Мы — будущее этой страны,
Мы — времени новый шаг,
Мы воплотить все мечты рождены,
Потому что мы — это ФМШ!»

<...> Ежедневно что-то происходит, что-то меняется. Вот однажды и со мной произошел случай, перевернувший все, — я поступила в ФМШ.

Тайны привлекают людей. Всегда было любопытно, что скрывают двери этой необычной школы. Однако я не осознавала, что смогу осуществить свою мечту. Но вот летняя школа позади. Меня поставили перед фактом: "Теперь ты учишься здесь". Такую резкую реализацию мечты в первое время было довольно сложно принять. Знаете, иногда хочется, чтобы мечты так и оставались мечтами. Отступить — означало бы отказаться от своей мечты, признать ее неверной, что было уже невозможным.

Несомненно, началось все с учебы. Вместо уроков — лекции и семинары, вместо 45 минут — пара. Преподаватели из университета. Совершенно другое отношение к ученикам. Сначала даже немного пугало, когда к тебе обращались на "вы", а все работы были подписаны по фамилии и имени с отчеством. Задумавшись, понимаешь, что это прежде всего уважение к тебе, признание тебя самостоятельной, взрослой личностью. Здесь никто ни за кем не бегают, никто ни на кого не ругается. Каждый сам выбирает, как ему учиться. Предметы преподаются на высшем уровне, материал захватывает. Иногда на парах приходится как будто возвращаться из того мира определений и формул, который объяснил учитель. Все возможности открыты, нужно только желание...

Для того чтобы это желание не гасло, необходимо отдыхать. В ФМШ организовывают множество различных интересных мероприятий. Кажется, любой концерт превращается в праздник. Для будущих артистов это шанс продемонстрировать свои таланты, а для зрителей — прекрасная возможность отдохнуть и понаблюдать за успехами своих друзей.

Далее знакомство с новыми друзьями. Сначала небольшое разочарование, а затем благодарность за то, что именно они и никто другой займут самое главное место в твоей жизни на ближайшие два года. Тебе с ними жить и учиться, делиться новыми впечатлениями, учиться слушать их проблемы, помогать им. Это люди, к которым ты можешь обратиться за советом, с просьбой о помощи. Безусловно, сложно привыкать к чужим людям, к их привычкам, к их образу жизни. Никто не отрицает небольших ссор и обид. Это как молодая семья — сначала все хорошо, а потом, когда узнают друг друга ближе, возникают непонимания. Однако здесь избегать и прятаться от этих "непониманий" невозможно. Твои друзья почти каждую минуту находятся рядом с тобой, и строить из себя обиженную просто не получается. Приходится идти на компромисс. В этом еще одна заслуга этой неординарной школы — она учит правильно взаимодействовать с людьми, понимать их. Недаром говорят, ФМШ — это школа жизни. Моя новая Школа».

Сергей Морейно

Текст как место

Bo czyż pod stołem, który nas dzieli,
nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?

Bruno Schulz

Ведь за столом, нас разделившим,
мы все тайно держимся за руки, правда?

Бруно Шульц

Калитка

Откроем калитку. Я хочу пригласить вас в это — здесь возможно слово «странное», хотя и не обязательно — место. Мне кажется, эпитет «странное» люди добавляют отчасти потому, что имеют основания для опасений: место, в которое они зовут, может вовсе не показаться *местом* их гостям. Будь как будет; но, раз уж «место» вынесено в заглавие, условимся о его значении.

«Я жывал в таких городах и домах этих городов, о которых можно открыто сказать — они не были местами», — это эстонский писатель и дипломат Яак Йорит. Зачем я сообщаю, что он дипломат? Лишь затем, чтобы подчеркнуть — он кое-что повидал и знает, о чем говорит. Впрочем, научиться отличать место от не места можно, не покидая собственной комнаты. Когда какая-то вещь (скажем, стул) стоит *не на месте*, это сразу бросается в глаза. Причин как минимум две — либо нарушена его связь с другими предметами (он стоит у двери, а не у стола и не у кровати), либо там, где он стоит, вообще нет смысла что-нибудь ставить. Если же сказать, что часть комнаты, в которой расположен стул, *не является местом*, обе причины сольются в одну. Ведь место бывает местом не только само по себе, зачастую его делает таковым окружение.

Местом может быть сама комната, дом, улица, город (а может, как уже было сказано, и не быть). Идя по лесу, случается выбрать место для привала: пригорок, поляну, ствол поваленного дерева. К местам ведут натоптанные тропинки — желая поесть или просто передохнуть, другие люди стремились именно в эти места, выделяя их среди прочих стволов и опушек. Интересно, что присутствие внутренней гармонии а-ля «мишки» Шишкина в них не обязательно. Ища ночлег, мы предпочтем менее «правильную» точку пейзажа более «правильной», если к первой точке ведет более «правильная» дорога или тропа.

Вот не определение, но как бы словарная статья, суть квазитезисы, понимаемые интуитивно, с учетом определенного допуска, наличие которого как раз позволяет договариваться о минимальном общем лексиконе.

Место — это непременно часть чего-то большего, интуитивно ощущаемого как пространство.

Место имеет более или менее явно очерченные границы.

Место обладает рядом структурных особенностей, как внутренне присущих ему, так и связанных с человеческим восприятием содержащего его пространства, которые отличают место от других частей этого пространства, местами не являющихся.

Свойство быть местом связано с положением данного места относительно других мест пространства, а также его отношений с ними.

Дорожка

Дорожка ведет в сад. Сад, как известно, метафора — рая, потерянного и обретенного, лабиринта, романа. В романе Х. Кортасара «Игра в классики» один из членов *Клуба Змеи*, Грегоровиус, говорит Маге, подруге главного героя, что «Париж — это огромная метафора». Мое предложение, которое я хотел бы озвучить до того, как войти в дом: рассматривать язык как пейзаж, — метафорой не является. Оно также не является ни сравнением, ни аналогией. Я назвал бы его *родоуподоблением*; и пусть мой лингвистический эквилибр никого не смущает — просто общность языка и пейзажа основана не на подобии сходства, а на подобии родства.

Мы живем в языке, мы разрушаем и создаем его, мы свободны от языка лишь тогда, когда освобождаемся от мыслей, то есть, медитируем: это похоже на сон, в течение которого мы выпадаем из пейзажа (попадая, правда, в иной — хотя и не вполне — пейзаж). Язык проникает всюду, наполняя нас; подобно пейзажу, каждый конкретный язык подразумевает другие и так же имеет пограничные области с ними.

Можно попробовать на вкус иные слова или сочетания слов — и разочароваться.

В заявленном уподоблении не получается заменить пейзаж на *среду обитания*, — кажется, она первой приходит на ум, — поскольку наша реакция на поведение остальных видов в языке гораздо более опосредована, нежели в природе. Грубо говоря, если планктон резко исчезнет, киты либо вымрут, либо мигрируют, в языке же для вытеснения из него особи или вида недостаточно уничтожения всех прочих его носителей.

Кстати, вот иллюстрация к вечной загадке: что значит быть носителем языка? Как первоклассный славист порою ляпнет нечто, выдающее его с головой и чего никогда не скажет даже полуграмотная бабка на рынке, так мальчик-чукча, лишенный карт, компаса и знания латинских названий флоры и фауны, в силу генетической предрасположенности не сделает ложного шага в тундре а маленький шерп в — Гималаях, — в отличие от опытного, отлично снаряженного туриста.

Здесь я должен провести жирную черту — «один из тех, иже были с ним». Все, что я говорю или пишу, я делаю как практик языка. Признавая не только правомерность, но и необходимость перпендикулярного, *филологического* взгляда на язык, я таки обозначаю порог и вывешу над ним баннер: оставь надежду, всяк...

Борис Гаспаров, один из немногих тартусцев (ныне он — «колумбиец»), умевших думать и чувствовать одновременно, предлагал рассматривать язык как просто «среду», в которой мы «лингвистически существуем». Только тот, кто никогда не слышал ночного дыхания языка, подобного сапу лесного зверя меж штакетин тына сознания, может сказать: «Однако эта среда не существует вне нас как объективированная данность; она находится в нас самих, в нашем сознании, нашей памяти, изменяя свои очертания с каждым движением мысли, каждым проявлением нашей личности». Мое уважение к Б. Гаспарову глубоко, и я предположу — мы, наверное, говорим о разных языках.

Рассматривая метафору языка как природного ландшафта, Гаспаров приводит одно довольно странное замечание Барта из его апокалиптического труда и этим ограничивается; прилагательное «природный» косвенно подтверждает, что Гаспаров действительно имеет в виду метафору. Я, может быть, изобретаю велосипед, но ни Гугл, ни Яндекс не выдали точного соответствия на мой запрос «Язык Как Пейзаж».

Крыльцо

А текст — как место в нем.

Веранда

Я б разбивал стихи, как сад, — деревья настаивают на эпиграфе из Бориса Пастернака. «Достигнутого торжества/ Игра и мука —/ Натянутая тетива/ Тугого лука», — здесь Пастернак использует уже точно метафору почти эротического (собственно, почему — почти?) характера. Он ставит свое описание на грань, за которой натянутый автором *лук текста* встречает читателя и начинается их взаимодействие и взаимопроникновение.

Подобное событие обычно сопряжено с местом. Если отбросить метафоричность, все становится совершенно прозрачным: акт любви необходимо предполагает соответствующее место и даже, надо думать, вдохновляется им. Это может быть ванна, постель, пол, стол, подоконник, автомобиль, цветущий луг, в особых случаях — общественный туалет или лестничная клетка; кажется, только изнасилование не требует определенного места. Да и то — откуда нам знать? Собственно говоря, и время, каким мы его мыслим и чувствуем, нуждается в пространстве, поскольку время обязано что-то менять, иначе какое же оно время? А что ему еще изменять, если не пространство?

Процесс взаимодействия с текстом — путь, который не заканчивается нигде и начинается неизвестно когда: существует предчувствие текста, как и предчувствие любви. Каким должен быть текст? Из тысяч вариантов ответа один — хорошо известный — верен. Текст не должен быть никаким. Его вообще не должно быть.

Счастливые не наблюдают часов оттого, что им некуда спешить. Они уже на месте (в/месте). Читать им тоже не нужно — все книги мира они найдут друг у друга в глазах. Но язык не повернется назвать кисти их ресниц и палитры зрачков текстами. «Все на свете есть текст», — это плод большого и несчастного воображения. А уж если действительно текст, то набранный белыми письменами по белому полотну...

За моим окном земля уходит вниз — это склон холма, который упирается в лес; за лесом поля, за полями — озеро, за озером — город, за городом — горы. Когда темнеет, вокруг озера довольно быстро возникает россыпь огней — и горит, а потом огоньки начинают понемногу выклеиваться тьмой: я пишу это не для того, чтобы выпендриться, а чтобы показать — да, я знаю, какие приблизительные вещи говорю, однако других слов для того, чтобы выразить то, что я чувствую, у меня нет (ближе к утру она гаснет).

Когда время разрушает отношения между людьми и мы принимаемся за горечь воспоминаний, порой кажется, что нам хотелось бы не столько вернуть самого человека, сколько еще раз пережить конкретные, связанные с ним ситуации в конкретных, окрашенных памятью о нем местах. Движимое и недвижимое меняются местами; человек распадется на комнаты с окнами на восток и на запад, цветущие лужайки, бары, мокрые пляжи в тумане. Текст остается местом.

Гостиная

Прошлой зимой поэт Елена Фанайлова писала мне: «...Напряги в школе и дома [...] пережегаю чтением трилогии "Девушка с татуировкой дракона" Ларссона. Мечтаю посадить на нее всех друзей. В частности понятно, почему рецепт мирового бестселлера не может быть один и почему русские не пишут мировых бестселлеров. И почему идея написать бестселлер по-русски вызывает вопросы».

Я ответил первым, что пришло в голову — ...«думаю, это потому, что герой блокбастера (и даже бестселлера) не должен быть мучим когнитивным диссонансом» (Лена согласилась: по-видимому, из вежливости)... — потом сообразил, что у канонических супергероев, д'Артаньяна или Уленшпигеля, с когнитивной картой тоже не все и не всегда было в порядке. И еще: появился целый ряд героев, мгновенно глянувшихся взрослым и детям — ведьмак Геральт Анджея Сапковского, чернокожий

Шеф из мультсериала «Южный парк», Мышь из «Пол-литровой мыши». Вот они-то уж точно на всю голову... и это делает их человечными, и мы их любим.

Той же зимой смотрю сериал «Ведьмак» по саге А. Сапковского, сериал явно провальный — а в то же время завораживающий. Смотрю впервые, поскольку сам пан Анджей в отношении этой экранизации употреблял слово «грустно». И вот: сериал низкобюджетный, и все-таки — слезы порой выступают на глазах. Как-то серьезно они все делали — Геральт с Лютиком, Жебровский с Замаховским. Михал Жебровский так и сказал в одном из интервью о своей работе — *rzetelnie* (надежно, тщательно, добросовестно, серьезно). Так появилось слово — *серьезный*. Что, конечно, не ново — и, значит, опять пора пробовать.

Много и убедительно говорилось о значимости текста, правдивости автора, напряжении речи и/или силе артикуляции. Мы же предпримем обходной маневр по минному полю синонимов. Я бы не взял (сегодня) придумать для слова «серьезный» что-то более исчерпывающе-синонимичное, чем «война». А самым серьезным в ней является ее протяженность — хотя бы она продолжалась всего семь дней, — наличие отрезка времени, на котором никто не в силах изменить состояние войны на состояние мира.

Даже в лагере человек обладает индивидуальным шансом на переход к состоянию свободы. Он может надеяться на пересмотр приговора, на амнистию, на, в конце концов, обретение локальной свободы путем побега. На войне же никто не может ни личными усилиями, ни в результате какого-либо чуда отменить ее начало или ускорить наступление ее конца. В этом смысле она, так сказать, безусловна. И, пользуясь этим словом, как трамплином, чтобы оппозиция серьезный—несерьезный не путалась под ногами, мы взмываем к «идеальному», словно заповедь, понятию безусловного текста.

Безусловный текст (подчеркну: речь должна идти о тексте, а не об описываемой им ситуации) *содержит все ключи к своему толкованию, может быть понят в любую эпоху, представителем любой культуры и — при желании — без знания контекста.*

Жизнь дополняет искусство, делая текст безусловным. Когда Олег Золотов (прошло больше пяти лет со дня его смерти, но эпитет «гениальный», периодически прилагаяемый к фамилии, не потускнел) в очередной раз написал, что, дескать, все равно, как сдохнуть — падая с виадука или в песке у «твоих сандалий», — я подумал (а, может быть, и донес эту мысль до него — кто ж помнит): пора уже как-то того, ну, либо перестать говорить об этом, либо...

И он выбрал «либо», переписав свои слова наново — отлив в золоте, выбив в камне; но вот странно: Пауль Целан, прыгнув в Сену, ничего не изменил в своих стихах, не прибавил и не убавил, поскольку претендовал на нечто большее, нежели просто голос. Ему хотелось быть хором, вопрошающим богов и оплакивающим героев, а хор потери бойца (хориста), как справедливо заметил М. Светлов, практически не замечает.

«Что ж, умереть пьяным у твоих сандалий — так же достойно/ как набив землю и зубами разверстый рот/ молча лететь с того же виадука».

Детская

В современной трагедии гибнет хор, а не герой, веско заметил Иосиф Бродский, поэтому вернемся к героям.

Центральным признаком войны можно считать узаконенность убийства — то есть, права и даже обязанности прекращать чужое время. Сознание, необходимым условием которого является непрерывность времени, переживает как бы клиническую смерть. Трудно представить, что оно ежесекундно отдает себе отчет в тотальной «прикосновенности» своего времени, функционируя при этом на прежнем, довоенном (и будущем — послевоенном) уровне. Однако в целом это так! Я вынужден предположить, что военное время течет как-то по-другому, представляя собой иную субстанцию (иначе воспринимаемую сознанием), нежели время мирное. При перехо-

де от мира к войне и обратно время, стало быть, совершает скачок, причем не выражаемый какой-то конечной величиной, а бесконечный по сути (в математике такие скачки-разрывы называют сингулярными).

Война — это переход гуманитарного времени через точку сингулярности и перевод человеческого сознания через состояние смерти. Как человек и его сознание живут не только «сами в себе», но отражаясь в других людях, мыслях, глазах, зеркалах, так те или иные временные турбулентности являются отражениями какой-то огромной войны, длящейся где-то по ту сторону, почти вплотную к границам наших времен и сознаний.

Наверное, правы были те древние, которые считали, что все на свете есть война. Возможно, как раз мир является исключительным состоянием в перманентном течении войны. Быть может, наше сиюминутное земное сознание придумано и создано (само возникло?) для того, чтобы служить индикатором сингулярности, предохранителем, сгорающим всякий раз, как время совершает свой смертельный прыжок. И, может, именно о помощи в прекращении этой бесконечной войны молят нас те, что *по ту сторону стекла* — хотя нам, в нашем бессилии, и кажется, что это мы вызываем к ним из своего зазеркалья...

Тиль Уленшпигель, Д'Артаньян, Мышь убивают и смеются, смеются и убивают. Их сознание не разрушается и не зомбируется от многократных переходов через точки сингулярности, потому что трэш внутри них самих, *similia similibus curantur* («лечи подобное подобным»). Универсальность закона подобия раскрывается в высказываниях легендарного Лао-цзы:

Дай расшириться тому, что должно быть сжато.

Дай укрепиться тому, что предполагается ослабить.

Дай расцвести тому, чему предстоит быть уничтоженным.

Короче, наши друзья успели опохмелиться еще до того, как начали пить...

А реальный текст, чтобы жить во времени, должен содержать в себе время: нахоженное место, намоленный храм, насиженная баня. Безусловный текст — это место, которое одинаково понятно представителю любой эпохи, любой культуры и любого социального слоя. Такому месту в свою очередь адекватно-синонимичны: бомбоубежище, просто убежище, любое укрытие от дождя и солнца. К примеру, необслуживаемый приют в горах, где отсутствуют официальные правила пользования, зато есть явный и прозрачный неформальный кодекс: мусор должен быть утилизирован и/или унесен с собой; использованное топливо восполняется в большем объеме, чем было израсходовано и так далее.

Здесь не живут — переживают. Для следующих/очередных посетителей оставляют спички, свечи, соль, по возможности съестное — что угодно, кроме денег; и — если рассматривать время как эквивалент денег во всех отношениях между людьми, включая любовь, власть, войну и тому подобное, — точно так же в безусловном тексте не происходит передачи времени (но осуществляется синхронизация — малая смерть). Безусловный текст — это точка натурального обмена, горная хижина, где не в ходу деньги. Он вынесен за скобки времени; остров в океане времени.

Как-то уж вышло, что почти все близкие мне книги — о войне. «Игра в классики» — тоже про войну. Ее герой — Орасио; Мага — его война.

Лестница

Теория, в общем-то, кончилась; остальное — приложения.

Издавна волновавший меня вопрос — почему природа отдыхает на детях (в смысле литературы)? правда ли, что развитие идет по синусоиде? периоды расцвета сменяются периодами застоя и даже распада? — получает, кажется, вполне наглядное разрешение.

Интенсивное создание *мест* в пейзаже ведет к его постепенной трансформации. Если, например, построен целый город, вокруг него должна наблюдаться полоса отчуждения — карьеры, рудники, отвалы, вырубленный лес... следующим поколени-

ям остается либо довольствоваться так называемой точечной застройкой, либо развивать новое поселение — расчистка местности, нулевые циклы, коммуникации, а это годы и годы (и масса уродливых сооружений).

Блаженны строящие на пустом месте. На Сарматской равнине, выглаженной катком двух мировых и изрытой языковыми взрывами, Иоганнес Бобровский использует для своих построек только то, что дает сама равнина. По сравнению с зодчеством того же Целана они выглядят скромно.

Научи говорить, трава,
научи мёртвым быть и слушать,
долго, и говорить, камень,
выучи оставаться, вода, обо
мне, и ты, ветер, да, не спрашивая.

Равнина была для него всем — судьбой, словарем, ландшафтом, идефикс. Редкий случай почти полного отождествления двух пейзажей — жизни и языка. Поэтому факторы эрозии — будь то война или *пламенеющий модерн* — проявляются одновременно в обоих. *Страна теней*: И. Бобровский и П. Целан синхронно, но в разных позициях месили ее глину, и можно видеть, как, пока Бобровский все еще скитался по ее «расквашенным дорогам», строя некие подобию скитов и келий, где то ли прятался, то ли оставался один на один с собственной виной, Целан уже раскидывал на ней шатер, в котором переживал и изживал вину мира.

Принято считать, что Целан творил с нуля на голой земле — из вулканической лавы, каменного угля и доисторических хвощей. В сюжетной, бытовой проекции оно, может, и верно, однако в языке Целан брал все, чем богаты долины Хеврона: молоко и мед, лавр и кедр, золото и мягкие ткани. Он моментально огораживает и метит свою территорию. Как заметил Янис Добкевич, названия стихов Целана, выписанные в хронологическом порядке, образуют стихотворение, этакое мета-место:

...Halbe Nacht/ Dein Haar überm Meer/ Espenbaum, dein Laub blickt weiß ins Dunkel/ Aschenkraut/ Das Geheimnis der Farne/ Der Sand aus den Urnen/ Die Letzte Fahne/ Das Gastmahl/ Dunkles Aug im September/ [...] Die Jahre von dir zu mir/ Lob der Ferne/ Das Ganze Leben/ Spät und Tief/ Corona...

Целан столь плотно работает с обживаемыми им окрестностями, что невольно деформирует локальный пейзаж; возникает языковая усталость — и уже излишним кажется вопрос: *Как писать после Целана?*

О *Lehm und Leben*, *о глина и жизнь* — переводит Целан сакраментальное мандельштамовское «О, глиняная жизнь!», даже не подозревая: второе словосочетание можно было вполне услышать в тряском вагонном тамбуре, первое — в случае российских реалий — разве что в психиатрической клинике (ну или в мастерской Веры Мухиной). Глина Целана — это не глина Мандельштама и уж тем более не глина Бобровского. И, конечно же, не знаменитая глина Бродского.

Балкон

Судя по многим фактам, включая историю Вавилона, язык изначально служил инструментом коммуникации (если такой уверенности нет, можно спокойно переходить к следующему помещению). Язык дан нам для диалога, не для монолога. Монолог, рефлексия, процессы сознания — все это должно было бы осуществляться при помощи других средств: цвета, звука, образа и даже чего-то более высокого и непосредственного. Но оказалось, что мыслить словами — проще и удобней.

Слова вытесняли из сферы сознания остальные инструменты — в подсознание или куда там. Вытесняемые, они пытались занять свое место в диалогах, лишая их коммуникативной прагматики. Сам язык становился все более субъективным, терял общую понятийную базу (безусловный словарь), окрашивался во все более теплые или холодные тона. Он не только перенимал функции других знаковых и сигнальных систем, но и превращался в диспетчера этики/эстетики.

Нами, можно сказать, выпестован монстр, написан самодовлеющий пейзаж,

который сошел с холста и зажил своей жизнью, постепенно растворяя нас в себе — вместе с холстом, подрамником и кистями. Коммуникация затруднена (вернее, упрощена — как в красивых фильмах Антониони, когда герои занимаются сексом, если им больше нечего сказать друг другу). Сами языки не дают нам возможности договориться, они уже содержат в себе взаимоотталкивание и взаимоотрицание, через которые мы не в силах переступить. Интертекст, в котором мы живем, исключает интересознание — он ограничивается называнием мест, затрудняя проникновение в них. Зато диалог, хоть и напоминает все чаще два спаренных монолога, делается настолько эмоциональным, что возникает возможность установить контакт с «удаленным собеседником», например, с книгой.

В высказывание приходит герой. Дитя языковой условности, литература утверждает разницу между сообщением и посылом (информацией и смыслом), кормясь за счет нее, как продавец за счет маржи. Мы говорим о языке книги как о чем-то безусловном, то есть, диалогичном, и такой язык действительно появляется в общении героя с автором, в то время как обращение автора к читателю остается по сути монологом, а безусловность достигается за счет включения в высказывание всех кодов для его дешифровки. Теперь не язык служит — а ему. Язык превращается в (бесконечную) пытку; пытается, не освобождая.

О служении языку говорят, как правило, те поэты, что не вполне чувствуют свою сопряженность со временем. Бродский, У. Берзиньш, У.Х. Оден... К Берзиньшу, правда, с течением лет приходит-таки понимание того, что в служении языку и поклонении тельцу есть нечто противоестественное. И он декларирует смену сюзерена:

Вот, вновь скажу — твой Раб тобой помазан, чтоб в гуще, что Тобой сотворена, я нес Тебя народам! Я слушаю, Господь — я тут, я здесь, я пред Тобой!

*Эй, так ведите ж их ко мне опять, я шелковые шеи глажу, и бедра резвые!
О, жаркий пот! А после — пусть свершится, чему пора — как мог, так и служил тебе, Господь!
(2012)*

Спальня

Этот год оказался знаменательным во всех смыслах для двух самых известных латышских поэтов современности: Ояра Вацietиса (1933–1983) и Иманта Зиедониса (1933–2013). Конституции их несхожи, а масштабы кажутся мне несопоставимыми — причем судьба их текстов отражает различие масштабов с точностью до наоборот. Зиедонис тонким, но равномерным культурным слоем осел на коллективном бессознательном латышей, Вацietис последовательно отторгается и выдавливается из контекста.

Видимо, диалогичный Вацietис в период всеобщей мутации от диалога к монологу излучает некоторую опасность; как известно, в моменты опасности народное сознание легко консолидируется — в первую очередь в вопросах отторжения. Похоже, что на техническом уровне это еще и своеобразная месть языковых надстроек: за то, что Вацietис в определенном смысле подавлял своих современников, первым решая те задачи, которые остальные только ставили перед собой.

Запрограммированный на физиологическое — геофизическое — выживание, латышский язык немного устал. Если рассматривать язык как пейзаж, то очищение языка — это не совсем субботник по очистке леса. Язык очищается и возобновляется лишь вместе с сознаниями сопорождающих его людей, а те порядком изношены и не спешат восстанавливаться. На сегодняшний слух/вкус Вацietис чересчур открыт, его поэтическая точность обернулась излишней прямоотой, а безошибочный ритм неподобающе естественен. «Подобная история была в Вавилоне», — спел бы Борис Гребенщиков.

Когда в 1952 году на собрании знаменитой «Группы 47» (самоназвание участников писательских встреч 1947–67 под руководством Х.В. Рихтера) в городке Ниндорф Пауль Целан читал «Фугу смерти» и «Песнь в пустыне», его, согласно ряду свиде-

тельств, грубо высмеяли, а манеру чтения сравнили с пением раввина в синагоге, а заодно с речью Йозефа Геббельса.

Понятно, что долгое время это трактовалось исключительно как *отвлеченная монструозность* (*gedankliche Monstrosität*), но сегодня мы можем позволить себе вычленив вещественную компоненту события. Мало того, что стихи Целана казались пришедшими из другого ландшафта, из страны снов в край *сплошной вырубки* (*Kahlschlag*). Патетическая риторика жертвы легко может быть соотнесена с риторикой палача — особенно, если слушатели в глубине души мнят себя виновными: ведь почти все они были солдатами. «Его голос звучал для меня избыточно ярко», — записал в дневнике Рихтер.

К тому же это было первое чтение Целана в Германии. Присутствующим был впервые предложен своеобразный трип в экзотические русско-французско-румынско-еврейские места, расположенные не где-нибудь, а в немецкоязычной глубинке. Процесс эстетической оценки места в родном и неродном пейзаже носит черты антропоцентризма. Что прощаем мы чужому городу такого, чего не прощаем своему — и наоборот? Что извиняем в близких людях, не терпя в далеких? В первую очередь от близкого города/человека ждем серьезного отношения к себе — и на фоне этого внимания терпим самые дикие выходы. Родному тексту не прощаем слюней, фамильярности, неискренности, ложных умствований (оттого Ахматова до сих пор королева в изгнании).

В 1996 году Херта Мюллер, сама будучи родом из румынского Баната, объясняла: в Ниндорфе Целана осудили «немецкие невежды, из коих многие все еще пользовались языком ландскнехтов. Ужасно, что они совсем ничего не помыслили о жизни смотревшего им в глаза автора. Далее, они никогда не слышали о вековой еврейской, русской, румынской традиции поэтического чтения на основе ритмичного распева, пронизывающего все тело». Но речь-то шла о немецком пейзаже!

Туриста, который в путешествии по родной стране забрался в какой-нибудь дикий анклав, раздражает отсутствие кафе и туалетов, торговля безвкусными сувенирами и насекомые в гостинице — то, что в чужом краю *первозданной природы* может скорее умилять. Полвека назад немецкое стихотворение, в румынском переводе названное «Танго смерти», не могло быть воспринято иначе как издевательство. Со временем территория, занятая Целаном, практически получила суверенитет, и каждый проникающий в глубь нее заранее знал/чувствовал, что его там ожидает.

...История имела продолжение в воссоединенной Германии: стена прошла не только по пескам Бранденбурга, но и по отношению немцев к слову. Слово как дополнительная степень свободы или, напротив, несвободы; добавленная или отнятая размерность — упоительное слово с Востока, слово-фетиш, слово-самоцель против тихого проговаривания, небрежного броска, незаметного паса трезвого, прагматичного слова с Запада.

Кабинет

На путях обретения популярности теми или иными текстами нет ничего особенного по сравнению с тем, как обретают посетителей те или иные рестораны, клубы, театры и многое другое в больших городах, естественным — то есть, хаотическим — образом застроенных. Слава вообще трудно приходит к поэтам.

Конечно, способ подачи и самоотдачи, но — я уверен — мироздание тщательно модерирует процесс ее прихода. Среди широко прославленных: О. Мандельштам, П. Целан. Среди нобелевских лауреатов: И. Бродский, Ч. Милош; недавно присоединился Т. Транстремер. Галерея имен представляет целый спектр реакций на одно-временную принадлежность творца двум мирам — «видимому-ощущаемому» и «параллельному-перпендикулярному» (подземному, запредельному).

Близость полярного мира, страх перед бушующим в нем пламенем по-разному действовали на поэтов. Мандельштам входит (спускается?) в тот, другой мир и после этого еще какое-то время функционирует. Милош, осязая его, как лозоходец чувству-

ет воду, развешивает повсюду таблички «Осторожно, вход (выход!) воспрещен». Тумас Транстремер не только не ужасается, приняв сигнал извне, но верит в потустороннее присутствие, как в средство восстановления и удержания баланса. Он ожидает *перегруппировки* живых и мертвых. «Leur parole défaite/ Étant le port de la déchirure des feuilles, où la nuit vient, — Ив Бонфуа. — Зияние их слов/ это гавань в разорванных листьях, куда вошла ночь».

Вацietис — насколько мог себе позволить народный поэт советской социалистической республики — был ближе всего к позиции Транстремера (и неспроста первой страной, куда тот приехал после получения премии, стала Латвия). Очень субъективное понятие — поэт, *сопряженный* со временем. Сопряженность — это не только и не столько партнерство, симбиоз, любовь или борьба. Это как лошадь и телега, автомобиль и дорога, Аркадий и Борис Стругацкие. Дорога обретает назначение, когда по ней едут машины; время обретает свой гуманитарный смысл лишь при сопряжении с человеческим существом.

Для сопряжения необходимо некоторое формальное *подобие* — к примеру, нельзя сопрячь двигатель с лотосом. Но можно мост или берега — с потоком. Сопряженный со временем художник принимает участие в процессах мироздания (берега и мост участвуют в течении воды, а кристалл, фонтан или зеркало — всего-навсего отражают; они части, не участники). Мироздание говорит устами (посредством) сопряженного со временем художника. Возможно, Михаил Кузмин звучал тоньше, парадоксальней Осипа Мандельштама, но тогда мироздание *говорило Мандельштамом* и хотело, чтобы его слушали.

Основной вывод из чтения стихов Вацietиса: мироздание не сошло с ума. Ясное дело, такого художника оно будет слегка стыдиться, призывая на службу от случая к случаю. Тем более, Вацietис нарушает принцип соответствия. Механика Эйнштейна при малых скоростях становится механикой Ньютона, а Вацietис, возвращаясь на землю из космоса, отказывается редуцировать высшую правду, приспособив ее к земной тяжести: «Но глаза видят,/ мысли бегут,/ планета вращается,/ и нашей походке/ пока еще присуща легкость косули».

Библиотека

Причину, по которой Ньютон задумывался о всемирном тяготении, думаю, несложно угадать. Его, вероятно, угнетало то, что люди (разумные, уважаемые) безропотно принимали тот факт, что земля притягивает к себе яблоко, не задумываясь, а чем же это земля так хороша, что именно *она* притягивает? Почему не притягивают Луна, Солнце, Вестминстерский собор, ньютонова голова (в конце концов, именно она притянула к себе решающее яблоко)?

Хотя Ньютон и сказал, что «видел далеко, ибо стоял на плечах гигантов», его деятельность сложно рассматривать в контексте деятельности других ученых той эпохи. Точно так же и Вацietиса не стоит пытаться втиснуть в поэтический контекст тех лет. Двадцать лет назад я не случайно назвал его «понимателем»: он пробовал понять и взвесить на внутренних весах то, что коллеги по цеху (Зиедонис, Чаклайс, Петерс) оценивали интуитивно: свободу и коммунизм, веру и предательство, Латвию и мир, отливы и приливы... Пускай Вацietиса и подпитывали их душевные порывы и профессиональные достижения, занимался-то он вопросами, которые они для себя решили раз и навсегда.

Вместо того, чтобы — подобно И. Зиедонису — «войти в себя», он уходит: «Продолжение рода/ предполагает уход/ даже от себя самого». Во всей латышской поэзии второй половины XX века никто не жаждал *понять* с такой силой, как Вацietис. Проекция, в какой он видел мир, была абсолютно открыта — все непонятно, все сметано на живую нитку, и каждое стихотворение становилось актом понимания и утверждения понятого.

Покажи мне сторону,
где закат живёт.
Наглухо заделаю её —
мне бы не хотелось,
чтобы солнце село.

Мне кажется, было бы интересно сравнить Вацietиса с Бродским. Не в смысле кто кого — это безнадежно, они порождения различных стихий, а в смысле — как становятся поэтами, востребованными в такой мере, как Вацietис и Бродский. Хотя, наверное, Вацietис — на время — был по-своему даже более востребован. В Латвии его читал каждый, кто умел читать.

Бродского в России — даже на пике интереса к нему — едва ли.

Но неважно.

Осознанная лексическая и интонационная *нечистота* стихов Бродского («...грустная строчка. И — чистая строчка. Бродскому такую нипочем не написать. А Горшков — может. Или Коля Рубцов», — пишет Константин К. Кузьминский в «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой лагуны») — так вот, нечистота наиболее значительных стихов Бродского искушает читателя, предлагая понять, откуда вдруг при этой нечистоте возникает подобная значительность.

Ну и обнаруживаешь, что логика тут обратная: сама значительность поэтики Бродского — уже на уровне замысла — такого рода, что предполагает и даже поощряет невыстроенность и небрежность в деталях. Она линейна: строчки и строфы можно переставлять блоками, менять местами. Течение стиха последовательно, оно практически лишено параллелизмов. Бродский весь сознательно плоский — приземленный — и это, пожалуй, комплимент в его собственном духе: «плоская (пылящаяся) вещь» синонимична грандиозности (империи, континента).

Тексты Бродского предельно точны по посылу. Они почти всегда безусловны. После смерти Сталина Бродский первым и, пожалуй, последним среди всеобщей текстуальной бесприютности задумался о том, что надо бы в выгоревшем пейзаже русского языка обозначить достаточно большое место, где будет если не хорошо, то хотя бы по-другому, не так, как раньше. Избежать *русско-русской войны* между официальным и неподцензурным и дать поэзию определенного уровня если не всем, то многим.

Еще раз: блочность, линейность, ошеломляющая действенность, поточность («длинные стихи» Бродского), как бы еретическая новизна (а на самом деле довольно грубое совлечение с поэзии жреческих одеяний) — все это неожиданным образом наводит на мысль о хрущевских пятиэтажках. И, опять-таки, это комплимент. Пятиэтажки давали взрослым личное пространство, возвращали — пускай частично — чувство собственного достоинства. Детям они предлагали простые прямоугольные дворы, в которых можно было играть в футбол и хоккей, а кое-где и в пинг-понг. Так уж вышло, что петроградский юноша, бунтарь, эстет, вкусно куривший с друзьями белые сигареты, оказался архитектором энергичной застройки.

...А Вацietису был дан другой путь — он играл музыку, понятную всем, от шофера до академика. Музыка, родившуюся от безысходности и надежды; у тех же родителей, что и хрущобы, легкие спичечные коробки, понемногу кочующие к летейским берегам. Джаз же, — сказал бы Хемингуэй, — это *moveable feast*. «Праздник, который всегда с тобой!»

Кухня

Многие тексты, уже умершие, а то никогда и не жившие полноценной жизнью в родной культуре, живут и, возможно, будут продолжать свое существование в других культурах. Прекрасно чувствуют себя в эмиграции Анна Ахматова и доктор Живаго.

Значительно лучше, чем на родине, прижились на русской почве три мушкетера и легенда о Тиле Уленшпигеле.

Если текст — это место в пейзаже, то процесс его перевода можно уподобить переносу объекта из пейзажа в пейзаж. Вот здесь уже можно воспользоваться аналогиями и сравнениями. Можно поговорить о Диснейленде в Париже, о разбиваемых на континенте английских парках или зодчестве Бартоломео Франческо Растрелли.

Место из одного пейзажа может быть сконструировано в другом пейзаже множеством способов. *Особенности национального ландшафта* могут так пропитать место, что результат переноса воссоздаст все реплики этих особенностей. Прямой и переносный смыслы, ментальность, просодия, лексика, игра слов — все переводимо. Не вредят даже отличия местных ресурсов (стройматериалов): клей вместо цемента, круглые кирпичи вместо квадратных. Эйфелева башня может быть свободно повторена в пустыне; окружающая (языковая) среда лишь подчеркнет ее неповторимый силуэт.

С настоящими сложностями сталкиваешься на третьем уровне, в зоне сил не всегда понятной природы. Следы *верхнего* и *нижнего* миров, магнитные поля, подземные жилы, шаманские круги, курганы, особый свет, особый состав воздуха, особый ветер (как в случае с Пушкиным, когда он и есть тот ветер, пронизывающий насквозь целый пейзаж). При переносе дома, одно крыло которого располагалось над подземной жилой, эффект, вызываемый ею, будет наверняка утрачен — угадать сходу такую жилу невозможно.

И отлично! Эффект подземных жил, как правило, негативен — в поставленной над жилой кровати плохо спишь, по утрам болит голова. В переводе жила не сохранится; тошнотворная книжка может пройти *очищение* переводом: «не место» станет местом. Американская забегаловка Макдональдс в России и Латвии превращается в знаковое заведение. Русский ресторан в Вильнюсе — развесистая клюква, но, тем не менее, *место* — в отличие от большинства российских русских ресторанов.

Однажды Вальтер Беньямин, формулируя некую мысль о переводе на один язык как на все языки сразу, написал чудовищный абзац (пять предложений), о который десятки переводчиков обломали зубы. Беньямин был человеком гениальных озарений, весьма неловко связывавшим на письме результаты отдельных вспышек. Глубокий смысл в абзаце имеет ровно одно, четвертое предложение: «Ведь каждый перевод конкретного произведения, выполненный с позиций, определяемых состоянием языка в конкретный момент времени, представляет собой в отношении любого конкретного аспекта своего содержания перевод на все прочие языки».

Зато эта мысль — по крайней мере, в отношении определенного аспекта своего содержания — проста и понятна.

Все строительные чертежи делятся на эскизные, технические и рабочие чертежи. Эскизные чертежи составляются при проектировании зданий для решения вопросов в общем виде без уточнения конструкции зданий. Технические чертежи составляются для уточнения конструкций проектируемого здания. Рабочие чертежи составляются для непосредственного выполнения по ним деталей спроектированного здания.

Когда место просто существует в качестве оригинала в изначальном пейзаже, составление эскизных чертежей, а также рабочих видимых деталей не представляет трудностей. Для составления рабочих чертежей конструкцию следует разобрать, попутно производя полевое трассирование, измерение, закрепление, разбивку, нивелирование, съемку... После того, как место воссоздано в другом пейзаже, на руках остаются его технические чертежи и инструкции по сборке — полная, так сказать, документация.

«Итак, перевод пересаживает оригинал в некую языковую сферу, безвыходную (ирония!) по крайней мере в том смысле, что из нее он уже никаким переложением не может быть перемещен...»

Это пятое предложение; первое банально, второе и третье — ошибочны.

Душ

Главное, не забыть при пересадке, какая именно деталь пересаживается в каждый конкретный момент. Когда достойный переводчик говорит, что работает «по слуху», он, очевидно, имеет в виду не только слух в широком смысле, но и внутреннее зрение, позволяющее, подобно морскому хронометру, определять положение любой шестеренки в конструкции, роли любой ее части в целом здании (месте) текста.

Особенному риску хирургия перевода подвергает текст при наличии в нем неологизмов. Помнится, в студенческих переводах Цветаевой на латышский язык предметом особой гордости начинающих переводчиков были механически, по формальным семантическим признакам составленные неологизмы, «болтающиеся» в каркасе перевода, как окна на сорванных петлях. Знаменитое *Huhediblu* Пауля Целана, воскрешающее в памяти голубиное *Ruske di guh! Blut ist im Schuh* из «Золушки» братьев Гримм, в переводе Анны Глазковой превратилось в «Татетуте» — чистая Ахматова, чьи стихи, как известно, Целан на дух не переносил (да и трудно вообразить что-либо более далекое от целановского кукареку, чем это старушечье *татетуте*).

Кладовка

Двуязычное издание «Поэмы о хлебе» Иманта Зиедониса, переводческий подвиг Людмилы Азаровой-Вацiete, вышло три года спустя после смерти ее мужа О. Вацietиса. *Viddivārpā / Колос-двойчатка*. Мало кто из русских переводчиков, столкнувшись с текстами, где основополагающие мифы смешаны практически в равных долях — «*Die Blechtrommel*» («Жестяной барабан») кашубского немца Гюнтера Грасса или «*Quo Vadis*» («Камо грядеши») влюбленного в античность католика Хенрика Сенкевича — сумел столь верно передать сплетение дыханий, слышимых одно сквозь другое (здесь: смесь язычества и лютеранства в рамках православной, в принципе-то, просодии).

Людмиле Азаровой явно помогло осознание (хотя бы подспудное) границ той области в пейзаже латышского языка, в которой располагается поэма Зиедониса. Впрочем, автор сам дает ключ для декодирования текста, и ключ этот — дайны-эпиграфы к главам поэмы. Веками слагавшиеся дайны, не связанные единым сюжетом песни из одного или нескольких узких четверостиший, общим числом 200 с лишним тысяч, описывают жизнь латыша от зачатия до смерти. На сегодняшний день это абстрактные идеальные тексты (их изредка поют, по поводу и без повода цитируют, часто в рекламе алкоголя). Зиедонис привычно дидактичен, однако в декларативную орнаментальность, в песенный строй (строй *дайн*) врывается волна иронии.

Таким образом моделируется пейзаж, также идеальный: песня из ниоткуда, сосны не на порубку, дорога не для ног и колес. И всюду в окрестностях поэмы присутствуют дайны. Они связывают между собой места и целые местности языка, возникая в связи со всеми значительными явлениями в языковом пейзаже. Получается, что дайны — это система навигации, в силу чего возникает определенная амбивалентность текста: дидактика, опирающаяся на идеальные указатели.

Сквозной образ Юмиса, божка плодородия, покровителя двойных желтков в яйце, двойных ядер в орехе — двуликого, двойственного, сумеречного — выполнен серой краской. Серый цвет — цвет амбивалентного равновесия: серебро, ртуть (живое серебро), плесень. Он крадется через весь текст, обозначая нейтральную зону, полосу инфильтрации, она же — полоса отчуждения (пашни от целины), — предсказывая разрыв связи с землей, уже почти состоявшийся в современной Латвии.

Имитируя эту систему амбивалентных идеальных указателей, Азарова как будто расставляет на своем полотне православные церкви, по большей части недействующие — восьмидесятые! — создавая белые пятна (стены церквей и монастырей) в пестром пейзаже русского языка. «Там, — как мы знаем от Мандельштама, — цавель, там вымя птичье,/ Хвой павлинья кутерьма,/ Ротозейство и величье/ И скорлупчатая тьма». Вместо канонического поднятия градуса при переводе Азарова его опускает. И нарочитое замораживание оригинала приводит к спокойной прохладной точности.

Оригинал	Буквальный перевод	Правильный перевод
Maize ir kā pasaule — apakšā zemes garoza, pāri — debesu garoza, pa vidu — mīkstums — dzīve.	Хлеб — он как мир: под ним кора земная, над — корка небесная, в середине — мякиш — жизнь.	Хлеб сотворен, как мир — снизу земная кора, сверху небесная корка, в середине мякиш — жизнь.
Kad dzīve nepareizi iejaukta, tā saplok un garoza atliec.	Неправильно жизнь замешаешь, она оседает и корка отстает.	Жизнь, неумехой замешанная, глядишь, и осела, отстала корка.
Atlec debesu garoza. Sarp tevi un debesīm paliek tukšums.	Отстает корка неба. Меж тобою и небом остается пробел.	Отстала небесная корка. Между тобой и небом пусто.
Un tu paliec bez debesīm.	И ты остаешься без неба.	И ты остаешься без неба.

Дополнительные паузы в пейзаже, состоящем из одних интонаций — это освещение, атмосфера, осадки; краткие и длительные *движения* пейзажа. Русские интонации — суть обстоятельства (места и действия). У языка мощная переменная составляющая. Он ведь принадлежит народу неупорядоченному и анархическому, абсолютно «без царя в голове», и чем дальше, тем хуже. А вот поди ж ты — остается при этом точным инструментом литературного созидания. Что означает, по-видимому, следующее: лабильная составляющая языка, складывающаяся из быстроменяющихся уличных интонаций, профессионального сленга, лексики сетевого общения, ведущегося, сказал бы Осип Манделштам, «на языке трамвайных перебранок,/ В котором нет ни смысла, ни аза: "такой-сякой"», играет в современном русском едва ли не определяющую роль.

Наилучшая модель пейзажа русского — *Зона* из «Пикника на обочине» А. и Б. Стругацких, а читатель/переводчик русского текста — это *сталкер*, идущий в нее за «хабаром».

Туалет

Пока рассада оригинальных текстов томится в парниках, русская, да и латышская литературы обрезаемы своими языками на самоизоляцию.

«Ты ушла рано утром чуть позже шести», — на латышском это просто констатация факта раннего ухода, а по-русски — трагедия. Слишком часто идол русского слова был осыпаям обильными жертвоприношениями; вместо божества мы вскормили демона. И вот уже рок-певец Чиж заменяет людям моего круга и образа жизни Тумаса Транстремера, потому что виртуозно владеет русским языком, в котором явно присутствует ад.

Могучий ветер Пушкина и бури Шекспира проносятся над русским и английским ландшафтами, но пушкинских порывов никто, кроме априорно русскоязычных, не замечает. Пейзаж русского языка в целом пугает того, кто хочет посетить его избранные места. И, очень может быть, слависты-руссофилы ходят по нему, как по Шервудскому лесу.

Остается ждать иных времен, питая надежды и вынашивая (высидивая) мысли в дальнем и темном углу языковых владений. Место уединения, садовый домик... неплохо. Так Микеланджело Антониони в своих очень красивых фильмах превращает в места самые заурядные части ландшафта, помещая в них маленькие фигурки людей почти в статике — то есть, синхронизованные с этими фрагментами местности и, значит, подтверждающие их статус места.

Лев Аннинский

Запах камня

«Казус пристального взгляда»: Эстонская новелла 2000—2012. Составитель Нэлли Абашина-Мельц. — Таллин: Aleksandra — Москва: Октопус, 2013.

«Будущие времена уже насмеются над нами, живущими сегодня».

Вийви Луйк. Свой дом

В масштабе вечности и впрямь можно предположить, что «сегодняшний день» уже был «две тысячи лет назад», и если мы «с усмешкой» наблюдаем за жившими тогда людьми, то и на нас, нынешних, когда-нибудь посмотрят с такой же усмешкой.

Но время, когда это случится, должно еще наступить. «Когда-нибудь». Если вообще развитие не прекратится и время как таковое не исчезнет.

В контексте сегодняшнего дня такое рассуждение, однако, не воспринимается беспросветно-бесконечно, а напротив, кажется агрессивно-актуальным. Надо же учесть смену общезначимого исторического контекста, произошедшую на наших глазах. Первые 12 лет нового миллениума — первые годы обретенной независимости, а это уже не совсем то, что было в годы борьбы за эту независимость. Одно дело — умение дышать в тисках советской идеологии, скрыто набирая силы, и другое дело — открыто дышать воздухом обретенной свободы.

Интересно, что самым ярким по ходу обретения этой свободы показалось эстонцам не то десятилетие, когда свобода была победоносно обретена и торжественно освоена, а то десятилетие, когда за нее приходилось страдать — позднесоветское «золотое» десятилетие, мобилизовавшее внутренние силы и сопротивление идеологическому режиму.

...Когда Вийви Луйк нашла свою дорогу и обрела в массе читателей (в том числе и русскоязычных) поэтическую славу, а потом и авторитет прозаика. ...Когда юный дебютант Мати Унт блестяще сформулировал оскорбительную для «завоевателей», но безукоризненно вежливую формулу псевдообщения: смотреть сквозь них (то есть сквозь нас), словно их (то есть нас) вообще нет. ...Когда в вышедшем двенадцать лет назад сборнике эстонской новеллы 90-х годов художественно зафиксировались эти фигуры, которых «вообще нет» и «сквозь которые» Эстония разглядела самое себя.

Что за фигуры?

Гэбэшник по имени Сашок. Имперский мутант, чудовище. Рядом — не столь страшный, но куда более омерзительный армейский капитан, постоялец, по пьяни палящий из пистолета по собственной жене (хорошо еще, что не по

эстонским хозяевам). В разных вариантах — непредсказуемая русская дурь, дикость. Обезьяноподобные солдаты... скорее уж не русская, а интернациональная братия. Сидящие на цепи насильники. Наследие мировой войны и азиатской диктатуры.

Держа все это в памяти, я не без опаски приступаю к новейшей антологии эстонской новеллы — открываю увесистый однотомник, составленный Нэлли Абашиной-Мельц и озаглавленный: «Казус пристального взгляда». Ну, вот, думаю, «золотое» десятилетие героической борьбы за независимость сменилось десятилетиями независимого развития: не может же все оставаться в прежнем духе. Как соединить «пристальное вглядывание» и «взгляд сквозь»? Переменилось ли что-нибудь?

Переменилось. Что-то стерпелось, что-то... нет, не слюбилось, конечно, но... сгодилось?

Вот русские штрихи в картине нынешней эстонской жизни. В ответ на реплику: «Я читал "Муму" Тургенева» (беседу у Рейна Вейдемманна ведут хозяева собак, собаки ее и воспроизводят) — «сердитая гримаса»:

— Тур-ге-нев?? Лучше бы ты вспомнил Томаса Манна...

Ну, это же именины сердца — в сравнении с «красной лабудой», которую норовила впихнуть в эстонские тексты советская цензура!

Или — марсианская надпись «Совавтотранс» на борту грузовика, проносящегося мимо озверевшей от эротических неудач эстонской искательницы счастья, которая ни про какую совцензуру понятия не имеет.

Имеет об этом понятие героиня Асты Пылдмяэ, выросшая как раз в «золотые» послевоенные годы:

«Всегда, насколько я помню, мир делился надвое: когда я родилась, он уже был таким. Уже существовали более умные, кто знал о нем больше, и кто просто жил в нем и деловито трудился ради него; занавес передо мной только еще приоткрывался, а спектакль уже шел... Я не все понимала — начало прошло, роли мне не досталось, они уже распределены, уйти — невозможно...» Невозможное оказалось возможно. Ушла. Избавилась от двухцветной элементарности «классового подхода», принесенного в маленькую Эстонию на красноармейских штыках. И погребла в памяти эту жуть, делящую мир надвое.

А между тем, подмечено здесь нечто важное: сама сдвоенность зрения людей пережитой эпохи.

Признанные корифеи бунташного «шестидесятничества», абсолютное независие от морока идеологии, — не отмечены ли таким удвоенным зрением? Отмечены! Еще и с поворотом линии раздела. Такой поворот хорошо виден (слышен) в том, как пишет музыковед Сирье Вихма-Нормет о нашем Высоцком:

«В студенческие годы, когда мы ездили по России, Высоцкого можно было услышать где угодно: его песни то гремели из динамиков на столбах, то звучали в богемных салонах на ночных посиделках. Для меня и в голосе Высоцкого, и в его стихах всегда слышались отчаяние униженного и обманутого народа и безмолвный, со сжатыми кулаками, сдавленный гнев. Редко кому удается стать идолом одновременно и для рабочего класса, и для высоколобой интеллигенции. Кроме Высоцкого добиться этого сумели, наверное, лишь Леннон и Маккартни...»

О «битлах» умолчу, но отдаю должное повороту сдвоенной зоркости Вихмы — переключение с русско-эстонского напряжения на двоение самой

русской позиции. Хотя — у меня другая точка зрения и на Высоцкого, и на истоки любви к нему разных кругов русского населения. Секрет в удивительной, необъяснимой, неподдельной в самозабвенном хрипе верности Высоцкого разным сторонам русского народного характера. Он мог играть хулигана и стража порядка — с равной убедительностью. Ему были родными обе эти роли русского человека в истории: и участие в бунте, бессмысленном и беспощадном, и героическое самопожертвование ради спасения страны и державы. Дело в том, какая идет война, а на нейтральной полосе цветы все равно отдадут могильной обреченностью. Потому и любовь к Высоцкому в России кажется всенародной. И тянут его в обе стороны: и к либералам, и к патриотам. Без успеха, как правило, а если с успехом, то не без курьеза. «Высоцкий жил в советской огромной тюрьме, — уверена его эстонская почитательница, — и не мог переехать к своей жене во Францию»... Ну, уж и не мог. Переехал. Но тут же спросил по-русски: «Где деньги, Зин?!» Вихма так объясняет ситуацию: «в каком-то смысле все советские люди, независимо от статуса, были похожи на заключенных и блатных из песен Высоцкого».

Все советские люди (уточню я) независимо от статуса — были мобилизованы военным временем. Смертельно. Война отечественная — это не «роль». Это приговор. Без обжалованья.

С предельной (запредельной) остротой это почувствовал Юло Туулик (брат-близнец Юри Туулика, с коим в дуэте прославился в «золотую» советскую эпоху). «Холодное красное море» — так называется новелла Юло Туулика, венчающая в новой эстонской книге русскую тему: он погружает нас в убийственную реальность Второй мировой, то есть Великой Отечественной войны, то есть в ситуацию приговора, не подлежащего пересмотру...

Дело происходит в октябре 1944 года на полуострове Сырве: там гитлеровцы укрепились так, что выбить их прямой атакой невозможно. А только — высадкой десанта с тыла. С моря.

Десантироваться приказано бойцам Эстонского стрелкового корпуса Советской Армии, а доставить их к месту высадки и атаки — Краснознаменному Балтийскому флоту с его плавсредствами.

Плавсредств не хватило. Не довезли десантников. Их высаживали, то есть спихивали с бортов, прямо на ледяные камни — под германские пули. Операция была провалена и впоследствии из анналов войны официально изъята.

Осталась в памяти свидетелей фраза одного из немцев, доверительно сказанная местному жителю:

— Эстонцы придут. Нам не хочется убивать их, но придется.

Смертельной пробоиной обнажается эта фраза в тексте Туулика. Воображаю, как реагировали бы на нее советские цензоры времен «красной лабуды», попытайся кто-нибудь в ту пору протащить такое в печать. Куда уместнее звучала фраза Сталина, когда ему доложили о дислокации эстонского корпуса на эстонское побережье:

— Это правильно. Эстонцам сейчас есть за что воевать.

Все вроде и правильно. Однако с какой запредельно-небесной, стратегически-верховой высоты надо созерцать события, чтобы ни с какого боку не влезали бы в них люди, гибнущие у ледяного берега в красном от их крови море? И эстонцев, и русских, да и немцев — всех мертво держит каменный капкан войны. Две эпохи спустя об этом сказано так:

«Люди умирают в своих водах и на своем берегу, куда одни чужаки направили их силой, а другие чужаки поджидают с оружием в руках. А после их смерти те, что направили их на смерть, и те, что уничтожали их, не устают твердить о своих исторических правах на можжевеловые заросли Техумарди и песчаные отмели Винтри».

Горько это читать. Горьки заросли. А никуда не денешься: таковы расчеты эпохи Независимостей с эпохой Империй.

И все-таки... как найти виноватого между заоблачностью Ставки и обреченностью эстонцев, гибнущих от тех и этих чужаков? Кто спланировал тот злосчастный десант?

«Спустя 30 лет... в Москве, в спокойной обстановке трезвых размышлений, когда уже никто не ищет виновных и никому не грозит наказание, генерал Филипп Стариков — небольшого росточка, в простой рубашке с открытым воротом и в теплых тапочках — говорит мне, пока его внучка предлагает нам чай с печеньем: "Десант — это моя идея и моя вина"».

Внучка радушно угощает чаем пришедшего в гости к деду эстонского писателя, — ей-то, видать, и предъявит счет История...

Очерк Юло Туулика — сильнейшее мое читательское потрясение при чтении книги. И это — страшное завершение темы русского участия в эстонских событиях века, так уверенно красовавшегося в золотом венке интернационализма.

Что остается от нашего присутствия на отвоевавшей Независимость земле?

Остается — «окно русской генеральской квартиры», из которого нынешний ее жилец созерцает... (читатель, соберитесь с духом) «титки собора Александра Невского...» Ну, каково? Я думаю, последнее определение должно вызвать у эстонского ценителя такую же шутивно-сердитую гримасу, как при упоминании «Муму» Тургенева. По существу же русское присутствие сдвинуто на дальний фон, и среди действующих лиц куда лучше смотрится неразлучная пара: «Иван с Антсом», без всякой этнической прописки.

Что могут сказать друг другу эти люди в новой реальности?

«— Ай-ай! Как жестоки маленькие нации!» — издевается оказавшийся рядом итальянец из новеллы Марьи Кангро.

Мог бы и промолчать потомок славных римлян. Молчание — золото. Ибо куда красноречивее граждане новой Эстонии («маленькой нации») обрисованы у Асты Пылдмяэ:

«Что могут сказать друг другу два поручня, если половодье снесло мост между перилами?»

Половодье позади. Восстанавливаются перила, лестницы, этажи. И вырисовывается картина, блестяще собранная в «Таллинской оде» Тыну Ыннепалу (псевдоним — Эмиль Тоде, лидер новой эстонской прозы; переведен на дюжину европейских языков).

«В городе имеются... Парламент и правительство, то есть масса безумцев, настоящих, преждевременно растолстевших, будто разбухших, с ничего не видящими глазами, а в конечном счете обыкновеннейших сумасшедших, какими заполнены все классические психушки, все мировые правительства и парламенты...»

Ну, раз «все» — не буду перечислять признаки, тем более что по Москве таких начальников возят такие же «мигалки».

Спускаемся этажом ниже.

«Ниже на этой общественной лестнице расположились аферисты, махинаторы, канцлеры, председатели правлений, отцы города, приватизаторы, адвокаты, словом, все те, кто проворачивает свои дела под прикрытием этих безумцев, умело используя их безумие...»

Тоже знакомо?

Поехали ниже!

«Еще ниже располагается слепой круг Зависти и Неудовлетворенности, круг тех безумцев, кто хотел бы выйти в наполеоны, добиться успеха, но остался ни с чем, мелкие предприниматели, вице-канцлеры, завотделами, деятели культуры, журналисты, служащие среднего звена, которым не дают воровать покрупному, не подпускают к трубе, но все же подпитывают их честолюбие подачками с начальственного стола, которых приглашают на Приемы...»

Ну, хорошо, это все имитация жизни... а жизнь где-нибудь существует на этих этажах?

А вот:

«Еще ниже располагается огромное Стадо Жизни, те, кто Ходит На Работу и Получает Зарплату, кишащие в квартирах русские и эстонцы, кто в пятницу вечером (пока молоды и не нарожали детей) отправляется пить в Старый город; стадо тех, чьей муравьиной работой и держишься ты, опухший, больной город, старая проститутка, сам себе и сутенер, и клиент — стадо тех, кто лишен слова, кто говорить не умеет, кому вставляют слова в рот, когда проводят Опрос, кто мечтает стать участником телеигры, кто покупает лотерейные билеты и иногда даже выигрывает, и тогда в газете публикуют фото счастливца, как публикуют снимки с конкурса племенного скота, на которых животные плятятся в камеру с венком из цветов на шее...»

Они — Труд, Хлеб и Деньги...

Да, именно Деньги, поскольку стадо это огромно, и богачом становится тот, кто сумеет заполучить мелкие деньги этого рабочего стада...

Они — Деньги, поскольку они, а не богачи, не банки, не финансовые институты, а именно они выделяют это невидимое мистическое вещество, называемое деньгами...

И потому у них никогда нет денег, ибо перед очередной получкой все они, как коровы, начисто выдоены...

И если бы у них было время над этим задуматься — для раздумий у них нет слов, только слепая бессильная ярость, питаемая газетными заголовками, ненависть к тем, другим, до которых им вовек не дотянуться...»

Я понимаю, что длинные цитаты сильно утяжеляют мое критическое повествование, и все-таки каждый раз мне трудно остановиться — и потому, что текст насыщенно хорош, и потому, что переведен виртуозно таким мастером, как Светлан Семенович, и еще потому, что ниже мы приближаемся к самому родному... Чем ниже, тем роднее:

«Далее, еще ниже, идут неприкаянные, не имеющие за душой ничего, и там идешь ты, перепуганный мужичонка... идешь своим извечным маршрутом от одного мусорного ящика к другому... идешь ранним утром, на рассвете, поднимаешь гремящие крышки контейнеров... Ты — само воплощение грязной совести этого самодовольного города, ибо на тебя обрушивается все его немое презрение...»

И это все?

Нет, не все.

«...Тебя, о, Святой Бомж, отыскивают вечером в твоей конуре шестнадцатилетние сопляки, наше светлое будущее, и избивают всем скопом, кулаками, ногами (а ты и по сей день еще жив, ты упорный, еще не загнулся), бьют беззлобно, спортивно (разогревая мышцы, описывая ладонями в воздухе плавные дуги, как их обучали на тренировках по каратэ), тебя можно бить, ты куда интереснее боксерского мешка, ты для этих щенков — Самосознание, которое в них никогда не проснется (из них вырастут неплохие солдаты, но, конечно, не для защиты Отечества)...»

О, Господи... уж не для десанта ли в можжевеловые заросли Техумарти и песчаные отмели Винтри... Но молчу: финал близок:

«...Тебя, Бомж, полиция не защитит, полиция защищает воров и опекает высоких гостей, но даже если из сопляков, которые сейчас над тобой упражняются, вырастет шайка подонков, банда скинхедов, они все равно не смогут тебя уничтожить, ты возродишься из пепла, восстанешь из мертвых...»

Но довольно.

Довольно о гибели. Давайте о возрождении.

Дух сопротивляется гибели. Беда может подкарауливать втихую, незаметно... Ну, скажем так: живут вместе муж и жена, растят детей. Потом разводятся и расстаются. С чего бы? Непонятно. Так, по ходу жизни. И никаких стонов или жалоб или вообще объяснений. Едет герой по своим делам в трамвае. Как ехал, так и едет дальше. Трамвай грохочет.

А если беда не подкрадывается тихо, а налетает явно? Больница. Красная кровь на белой эмали. Может, близкая душа отлетела, а может, показалось. Умерла?! «Нет худа без добра», и герой идет досматривать телесериал. А если худо наглое, громкое, демонстративное? Шел человек домой. Налетели молодые ребята, избили, отобрали пальто, бумажник. Сидит на снегу. Чудом увернулся от снегоочистителя. Сплюнул с досады. «Но ветер вернул ему плевков в лицо».

Не плюй! Не выказывай ни досады, ни удивления. Не сопротивляйся бессмысленно. Терпи. И даже не терпи, а принимай соответствующий образ поведения. Мне этот образ поведения странен. Я бы полез в объяснения: почему это чуть не в каждой новелле юные правонарушители метелят случайных прохожих? Это что, черта новой эстонской реальности? Наступившая наконец свобода? Социальная проблема, требующая срочного решения?

Да нет же. Это — нормальный ход жизни. Природное естество, как сказал бы великий естествоиспытатель Бэр. Все идет так, как оно идет. Зверь преследует добычу. Человек преследует свои цели. Чтобы была на обед миска сметаны — обмакнуть хвост селедки. Есть миска — живите дальше. Не плюйте против ветра.

Эта интонация — у Арво Валтона, у Томаса Винта, у Яана Круусвалла... на которых я здесь опираюсь, но, рискну сказать, что она у всех авторов книги. Невозмутимость пристального взгляда. Усмешка уверенности.

Что это — каменное эстонское самообладание? Извечное, так сказать? Или переменившее душу в новых условиях? В каких? Да сказано же: маленькие страны — они жесткие. Как живут люди в маленькой стране, избавившейся от опеки гигантов? От «красной лабуды», которую они, наконец, перетерпели?

Возвращаюсь к «Таллинской оде», покоровшей мое читательское сердце. «Город-мать и город-шлюха». Пять этажей нового равенства.

«Я дал ему десять крон, и он уселся тут же, на урну, объявив: "Я не из тех, кто в мусоре роется, наш народ никогда не копался по урнам!"»

Но дальше!

«...И точно, ты напомнил мне, Сумасшедший, что есть и такие, кто в урнах не роется, кто не член правительства, не чиновник среднего класса, не бизнесмен, не вор, кто на работу не ходит и зарплату не получает — кто Никто, кто в своем безумном величии и простоте прорастает сквозь мою умозрительную общественную модель, как вековые деревья, как поэты, — одновременно Никто и Любой. Или, как выражаются на нашем блатном радио-телевизионном жаргоне: Каждый Из Нас».

Как сведено! Выиграть может — Любой. Но этот Любой в сущности — Никто. Никто не выигрывает. Но попробовать волен каждый. Вот это казус пристального взгляда! Уравнение всех и вся, всего и всех. Во всем. В ничём. Некто, бывший ничем, побывав Всем и теперь вновь готов погрузиться в ничто.

Это, так сказать, ориентация человека во внешнем мире, в новой реальности, которая пришла на смену отлетевшей идеологической диктатуре. Понял, наконец, индивид, что у него ничего нет, так что отнять у него нечего.

А мир внутренний, сокровенный? Там тоже теперь «ничего нет»?

Я приглядываюсь, прислушиваюсь, а вернее сказать, приноживаюсь... Пахнет рыбой.

Счастье — блуждающее, а рыба — неизменная. Соленая. Вяленая. Жареная. Уже пойманная, еще не пойманная: гуляющая на озере, на взморье, в мировом океане. И ближе — в родном уголке, где сохраняется неубитая эстонская природа.

Дикая, оглушительная растительность, которая никуда не ведет... Вековые величавые сосны... Если снегопад, то снег так ярок, что лучится...

«Эстонского вопроса не существует, и он есть! Нежный, хрупкий, кислотный, жалкий и очаровательный. Его нужно уметь уловить. Хотя бы так».

Бездомный стоит около городской стены и нюхает камень. Чего-то ищет... Потаенный лаз? Имени своего вспомнить не может, наверное, потому, что все мысли и чувства вытесняет запах сумрачного леса.

«Всемирная мельница все мелет и мелет, перемалывает жизни. Может, и твоя жизнь уже меж жерновов, уже становится мукою и хлебом. А может, все-таки высыпалась из разобранного мешка на обочину, упала на землю, в камень...» Опять камень... Рыбы же обещаны в начале и в финале жизненной трапезы...

« — Что рыбы! И сам человек еще не созрел окончательно, он продолжает развиваться!»

Так сказал когда-то славный старина Бэр.

Матс Траат завершает его фразой свой очерк.

Завершу ею и я эти заметки.

Ирина Роднянская

Трудно не быть собой

Андрей Василевский. Ещё стихи. — М.: Воймега, 2013.

Поэзия — это неожиданно открытая Правда.

Ян Сатуновский

...И в дополнение к эпиграфу: «Всё дело в ракурсе, А он и вправду нов» (Александр Кушнер). Так — в сущности, единодушно — определяют новизну поэтического высказывания два лирика, принадлежащие «магистральной» и «альтернативной» линиям русского стихотворства нашего времени. Эти линии нынче сияются слиться, но тут потребна не эклектика, а концентрирующая линза остро личного мироотношения. Книжка, о которой я здесь пишу, этим качеством обладает.

Да, идет бурное обновление речевого строя стиха, признаки которого я вряд ли определю лучше, чем это сделал поэт Михаил Сухотин, один из практиков процесса: «новыми возможностями обладают слова... умалчиваемые», «читатель (слушатель) втягивается в процесс создания вещи почти наравне с автором», «выявляются в поэзии фундаментальные основы ее природы — речевые (диалогичность, ситуативность)», «текст становится перформансом». Выписку я сделала из неизменной «Периодики» Андрея Василевского («Новый мир», 2013, № 10, с. 232), который, конечно, сознавал, чем привлекает его этот пассаж в не так давно явленной им ипостаси лирического поэта.

Книге своей, изданной (как и прежние три тетрадки) «Воймегой» в 2013 году, автор дал название «Трофейное оружие». Весьма лаконичную (всего-то 100 страничек, на каждой много «воздуха» — не только между строками, но порой и между словами, как бы взамен знаков препинания), он построил ее словно солидный том «Библиотеки поэта»: сначала — включенное автором в прежние сборники: «Всё равно», «Еще стихи», «Плохая физика», потом, как водится в этом типе изданий, — «не вошедшее» за 2008 — 2013 годы. А совсем под конец — краткая генеалогическая справка об авторе в виде нерифмованного стишка. Такая почти пародийная завершенность наводит на грустные мысли об обрубленном будущем. Надеюсь, мне это почудилось...

Название тем более «наводит на мысли». Первая среди них — на поверхности: всесторонне опытный литератор (критик, редактор, библиограф, преподаватель, организатор и «станционный смотритель» литдвижения) столько поднабрался в перелесках словесности, что с легкостью оперирует заемным арсеналом для стихового обтачивания ума холодных наблюдений — и не смущаясь об этом объявляет. Кстати сказать, эту мысль исподволь подкрепляет некая

общая тенденция последних десятилетий. Расставшись с «курсивной» центонностью как с поднадоевшей игрой, поэты, кажется, готовы возвратиться к обычаям конца XVIII — первой трети XIX века, когда чужие не только строки — напевы, сюжеты — были местами общего пользования, а «подражания» — почтенным жанром, проставляемым в заглавиях. Вот и теперь Борис Херсонский приносит печатную благодарность Бродскому, переформатировавшему всю его поэтику в сравнении с до-бродской «Восьмой долей», Мария Галина (которой тот же Херсонский посвящает как сочинительнице эталона свой фантазмагорический цикл) в свою очередь прилюдно благодарит Ф. Сваровского за импульс, заданный ее книге-поэме «Всё о Лизе» (на мой слух, оглушительно самобытной), а молодой многообещающий критик А. Конаков (см. «Знамя», 2013, № 2) относит — по выводам несправедливо, но по тонкости анализа примечательно — творчество таких индивидуально-рельефных поэтов, как Андрей Родионов и Лев Лосев, к области «практического литературоведения»: оба они, дескать, писали и пишут палимпсесты поверх стихоречи своего кумира Бродского, выявляя такой лупой сокровенные свойства его письма.

Ситуация перекрестного опыления, возникающая в этапные моменты поэтической перенастройки, вроде бы позволяет констатировать, что нынче едва ли не всякое оружие — трофейное, и кто, собственно, тянул за язык нашего героя признаваться в том, в чем уличаем каждый? (Ср. контрпродуктивные поиски эпигонства и плагиата, которыми так увлечен автор серии статей о современной поэзии А. Саломатин.)

Однако, прочитав книжку Василевского и вспомнив, что ей предшествовало в его *curriculum vitae*, понимаешь название куда конкретнее. Он, когда-то литинститутский выпускник поэтического семинара Евгения Винокурова, писавший смолоду «обыкновенные» хорошие стихи, многие из которых способны нравиться до сих пор, забросил это занятие как не соответствующее ничему тому, что тычет в глаза и вбивает в мозги ход бытия. Старый способ писать ушел как обнаруживший пустоту, как экзистенциально необеспеченная забава (так по крайней мере казалось стихотворцу, переживавшему «гамлетический» поворот зрения и умо-зрения). И спустя многие годы вкус к сочинительству стихов вернулся лишь тогда, когда вполне выявила себя в публичном пространстве «голая» поэтика примитива и минимализма, пришедшаяся впору новой личной системе смыслов. Она-то и есть подобранное с поля литературных ристалищ «трофейное оружие», обретшее у нового владельца философское наполнение, заслуживающее имя *цинизма* (пусть: *кинизма* — чтобы не вздумали, что это укор), или (как автору послесловия к книге, М. Галиной, подсказывает поэт-психиатр) — *депрессивного реализма*. Причем Василевский пользуется подхваченным оружием, не рабствуя ему, как рабствовали его изобретатели Вс. Некрасов и Д.А. Пригов, доводя прием до полной «усталости металла»; даже у чрезвычайно значительного — и человечески и поэтически — Яна Сатуновского с начала 70-х обнаруживается тот же неизбежный износ свежееоткрытого принципа. В книге Василевского есть, вкраплениями, и красная тушь патетики, и вынутая из загашника рифмическая звонкость, и вообще он не приносит присяги ни андеграунду, ни мейнстриму. Сказать по чести, до разборок с *ars poetica* ему дела мало, у него ни строчки нет на эти темы, столь существенные, например, для «третьего Некрасова».

Сначала все-таки — о свойствах письма, о том самом «ракурсе», а потом уже — о «послании» как таковом. Тут подсобит небольшое сопоставительное упражнение (такие теперь задают на школьных олимпиадах по литературе). У Бориса Херсонского, кому автор «Трофейного оружия» обязан многим, но по части не поэтики, а душеведения, так сказать, прикладной антропологии:

Жизнь страшна, как московский вокзал,
И безвкусна, как миска попкорна,
И она, мне Херсонский сказал,
Выносима, пока иллюзорна, —

так вот, у Херсонского привлечем удачный образчик его «биографической лирики» — персонажную зарисовку под оценивающим оком авторской камеры. Записываю этот верлибр «в подбор», невзирая на интонационные потери:

«Благо, город большой, и всегда найдётся / молодой человек в шапке-маске с прорезями для глаз, / вооружённый пистолетом армейского образца, / потому что он — солдат, исполнитель, кто угодно, / но не убийца. Убийство предполагает какие-то чувства, / личные отношения, зависть, гнев или ярость, / а тут технология, только и дело — / выйти из толпы, смешаться с толпой. // Выстрелов ровно столько, сколько необходимо. // Тот, кто падает окровавленный, отвлекает внимание / от того, кто стреляет, жертва всегда популярна, / по крайней мере, пока не убрали тело. // Шапка в кармане куртки. / Спортивный парень / ставит две свечки в какой-то церквушке, / выходит, сплевывает, закуривает, садится / на ступеньку рядом с ободраным нищим. // Через час у него свидание. Она стоит у киоска, / машет ему рукой: ты уже освободился? // Он отвечает — а я и не садился. Оба смеются. // Они идут, он быстрее, она едва поспевает, / говорит, пожалуйста, медленнее, ведь за тобою / никто не гонится! Он замедляет шаг. И вправду / никто не гонится». (Из цикла «Плохой район».)

Здесь есть, при всех значимых подробностях, свой лаконизм — не высказано куда больше, чем рассказано, неприметная вибрация мелочей заставляет чуть ли не жалеть этого адова киллера, который *еще* не садился и за которым *пока* не гонятся (свечки он, видно, ставит за упокой новопреставленного и в благодарность за спасение). Тоже новая стихоречь: рифмы были бы излишне сладкоголосы, урегулированный стих помешал бы четкой видеораскадровке. Но вот как представлен тот же типаж, я бы даже сказала — точно тот же человек, Василевским, заполучившим свои наблюдения отнюдь не у собрата по перу, а снявшим их со «страшной» матрицы «московского вокзала»:

[3 декабря]

Зимний день убывает со всех сторон,
Время идёт к концу.
Молодой человек сплёвывает,
Спрыгивает на перрон.
Добру молодцу всё к лицу.
Нелегко среди тех и этих воров
Молодому быть.
Вот плакат остался от выборов,
Можно дальше жить.
Не спешить, в Москве посчитать ворон.
Надо дольше жить.
Много разных дел до конца времён.
Многих надо убить.

2007

Всего 13 строк; расхлябанно приближенный к блатной балладе ритм, беднейшие в своей многозначительности рифмы (*жить—убить*), ориентировка в мире и оценочная точка зрения принадлежат персонажу, автор самоустранился — и лишь оборот «до конца времён», напоминающий, что не только коротким декабрьским деньком «время идет к концу», вносит в этот локальный будничнейший фрагмент привкус социального (и вселенского) кошмара. Есть нынешний человек, есть обтекающая его среда, есть установившийся (как до, так и после «выборов») жизнепорядок — и добавить ровным счетом нечего. Тонкости психологии и фабульные детали — на вкус читателя-«соавтора».

Так же, без церемоний, Василевский деконструирует сказочные, детски-лубочные сюжеты. Тут опять как не вспомнить Херсонского, у которого (см. циклы «Лоскутное одеяло», «Гоголь-фест» и многое другое) затевается стильная «этнографическая» игра, с тем чтобы под конец огорошить нас крутой сменой оптики; если кто помнит, он впервые покорила клубную московскую публику чтением стихов о Коцеевой смерти: «ларец», «резной дворец» — и лишь поиграв в эти фольклорные кошки-мышки: шприц — «и что там, на конце иглы?» — смерть девяностолетнего ветерана.

Если же совсем по-новому, та же задача спрямляется без затей:

красная шапочка приходит к психоаналитику
говорит я по нему тоскую бабушка всё равно потом умерла

мама вышла замуж за двух охотников не слушает критику
и много чилийского пьёт мерла

вот не надо мне про стокгольмский синдром
мне ещё возвращаться в дом

перешагивает через порог отмахивается от осы
долго ест пирожок становится на весы

Тут и пренебрежительная реакция девочки, *очень современной* (контроль за лишними калориями!), на звучащие за кадром увещевания эскулапа (отмахивается от них, как от осы), и семейная разруха, и неотвратимо «неправильная» любовь. Абрис целого поколения. Едва узнаваемый Шарль Перро лжесвидетельствует: я не о том писал. Нет, именно об этом.

Или такое:

тратата тратата
вышла кошка за кота
смотрит смотрит из окошка
там высокая трава
кошка кошка ты вдова

рот его забит землей
прошлогоднею травой
кот котович
иван петрович
не возвращается домой

Мне нечего сказать тем, кто не поймет, до чего это нескрываемо серьезно. Остальным остается всплакнуть. (Замечу, что таково финальное стихотворение всей книги, не считая тех, что в приложении к «собр. соч.».)

Что же такое открылось отставному лирику, что он снова к ней, к лирике, возвратился едва ли не по компульсивному побуждению? На языке экзистенциальной философии это называется «бытием к смерти».

Его институтский учитель Евг. Винокуров когда-то написал следующее:

Я чувствую разумность бытия.
 Я ощущаю, знаю, понимаю,
 Всей трепетною плотью вопия
 Против ничто. Его не принимаю.
 Весь организм, как будто бы орган,
 Звучит во славу жизни. Разве может
 Не быть меня! Мне век бессмертный дан.
 Ничто меня уже не уничтожит.
 Готов стоять. Готов из кожи лезть.
 Всей кровью слышу. Верю без предела.
 А коли так, то так оно и есть.
 Не может быть иначе: верит тело.

«Верит тело» — это не нормативный оптимизм знаменитой песни К. Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь!». Это, разумеется, и не религиозное откровение. Это физиологически оправданная иллюзия, транслируемая жизнеспособным организмом в сознание (Винокурову тогда было тридцать шесть лет). Умный (недооцененный) поэт сам знает, что это не более чем иллюзия (он ведь вечно наблюдает себя со стороны), но лелеет ее, чувствуя, к каким опасностям влечет ее утрата.

У Василевского первая книжка «нового письма» — «Всё равно» (2009) — посвящена отказу от этой иллюзии, ее циническому (повторю нужное слово) опровержению.

Думаю, зря Мария Галина полагает (см. опять же ее послесловие к «Трофейному оружию»), что, поскольку сосредоточенность на смерти — черта юношеского романтизма, юношеского порыва навстречу гибели, то этим своим лейтмотивом книга Василевского настроенчески вписывается в «молодую» поэзию, подобно тому как вписывается в пробы молодых его поэта. Ничего похожего на авантюрные игры со смертью, фактически невообразимой для юного существа (Танатос в паре с Эросом — как не рискнуть?), в умонастроении Василевского нет. Смерть для него — это финал старения, начинающегося с материнской утробы. «В просветлении больном» узнать «беспощадную истину» дано после пятидесяти — эту полувекую отметку им прожитого автор то и дело разворачивает как угрюмый транспарант. (Ян Сатуновский в своей минималистско-пространной летописи тоже болезненно сосредоточен на возрасте: вот уже близко к пятидесяти, вот пятьдесят минуло, вот и шесть десятков подкаатило...)

Пятьдесят — возраст пробуждения в неожиданную правду жизни, соответственно, в новую правду стихов. Ситуация странности, болезненности пробуждения, выпрастывания из неразвезанного полусна, из «спросонья», в перекошенный и неуютный мир — эта ситуация раз от раза муссируется в «Трофейном оружии»: «Просыпаюсь с привкусом крови во рту»; «Гераклит промывает слипшиеся глаза / сколько стружки внутри и вовне / до утра работает невидимая фреза // невозможно дважды проснуться в одной стране».

Это странно, очень странно
Homo sapiens'ом быть
 Просыпаться утром рано,
 Просыпаться, чтобы жить.

Дверка в сон полуоткрыта,
 Не очнувшись, ум молчит,
 А из зеркала небрито
Homo sapiens глядит.

Быть этим самым *сапиенсом* не только странно, но и крайне непочтенно:

Я понял себя в эти дни
 (Грызя подмосковный сухарь):
 Воронам и крысам сродни
 Всеядная умная тварь.

Во-первых, такому ненадежному и обреченному на распыл биоагрегату не удастся помыслить о «высоком и прекрасном», чтобы при этом не прилгнуть. «[Лицемеры]: сидят / говорят об умном // а сами / простите /дышат // вдыхают одно / выдыхают другое // а делают вид». Участники обмена кислорода на углекислоту, что они, сапиенсы, могут внести в мир, кроме этого простейшего процесса? А между тем бесстыдно «умножают это самое, ну вы понимаете» — бритвой бы их, бритвой Оккама по сущностям!

Во-вторых, «плохую физику» (читай: «плохую физиологию»), вопреки слову Пушкина, не искупает «смелая поэзия» духа. О, совсем наоборот! Тягостный отчет «[тесть умирает]: безрадостное жевание / мучительное испражнение / неинтересный бред / самого себя изживание / конца ему нет <...> к сожалению мы родня / мы того же *вида* ... и это / во всех смыслах / убивает меня». «Вид» все тот же: *homo mortalis*, — и эта убийственная породненность смертного со смертным, будучи теснее любых других, семейно-родственных, связей, отменяет всякую сострадательность («я недобр» — у меня впереди то же самое). «Смелая поэзия», однако, все-таки присутствует в форме весьма специфической словесной находчивости наблюдателя: «неинтересный бред» — самая разящая из всех примечательностей этой картины распада. Даже яркого слова нашему «виду» не отпущено вымолвить напоследок. «Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!», — надмевалась Цветаева. Где гарантия?!

О том, кем все так устроено — или подстроено — «немолодой агностик» толкует очень невнятно. Порой как будто мерещится бредовый хозяин Всего: «кто-то большой / стоит над моей душой / не дает быть перестать». Или этот «кто-то» обнаруживает себя сюрреальной силой, выталкивающей человека прочь за пределы освоенного местопребывания, за пределы круга жизни (стихотворение «МКАД»):

я наверно уже не живой
 я хочу добраться домой
 бесконечное существо
 непонятное никому
 окружает его
 отвечает ему
 убирает во тьму
 где уже никогда ничего

К нему, к бесконечному существу, слабое существо конечное может взмолиться по старинке — в последнем самоумалении:

помилуй Господи всех
животных больных Твоих

пускай нам будет зер гут
за то что мы жили тут,

а может келейно взбунтоваться, как вот в этом кладбищенском стихотворении:

вокруг идет физический процесс
во мне идет химический процесс
идет биохимический процесс
и маленький вышинский речь толкает —

суесловный прокурорский запрос маленького (то бишь любого) человека к неподсудному адресату.

Если ответчика не обнаружить на уже как столетие исхоженных путях богоискательства («осторожно думаю, есть ли Бог»... «кошка восторженно прыгает в темноту», в обжитое этим таинственным зверем безутешное загробье), то в *виртуале*, в кстати припомненном у Блока «электрическом сне наяву», жизнь обретает иллюзорную объяснимость и некую выносимость.

С этой темой *электронного* (по-настоящему) сна наяву Василевский выходит наружу, из своей скорлупы энтропийного «биохимического процесса» — того, что доводит каждого до стадии «бывшего человека», а потом — простого вещества. Там, в виртуальном мире, заполнившем вакуум безыллюзорности, все происходит по-своему логично, там ответчики найдутся. За драматические перипетии Гарри Поттера ответственна некая *Роулинг*, играющая с судьбой очкарика в *боулинг*:

Он уже не уснёт от её креативной жары.
Можно убить злодея, оправдаться перед Творцом,
Дожить до конца истории и увидеть перед концом
Своего творца с обезумевшим женским лицом.
(Катятся в боулинге чудовищные шары.)

Пресловутый Конец истории — здесь: конец последней серии фильма, а творец с малой буквы (в отличие от помянутого с большой), хоть и отталкивающий, но не загадочен. Стихотворение написано с эмоциональным драйвом, потому что сегодня не для одного лишь нашего автора «Гарри Поттер реальной церетелевского Петра».

Или вот сюжетец «Двое», где, отвлекаясь от любовных забав, один поглощен компьютерной игрой, а другая сидит в ютубе, — и оба не догадываются, что уже перебрались отсюда *туда*, к своим хозяевам: «однажды ночью совсем не в тему / в небе неземной разливается свет / то ли хозяева переустанавливают систему / то ли останавливают бизнес-проект». Парочке, видно, хана, но ее не жаль, ведь по сути ее давно «здесь» нет.

Автор перепевает самое русское из стихотворений предыдущей форма-

ции; констатируя, что коренное население вытеснено *чужими* (и вовсе не гастарбайтеры эти aliens), он так и называет свой пастиш: «Русское».

хаус холмс и пуаро
спорят до ночной звезды
кто из них возьмёт ведро
молча принесёт воды

хаус холмс и пуаро
лодку мастерят себе
<поминальную кутью
погребальную ладью>

ну а мир идёт к зиме

«Русский мир» идет к концу, «воздух в Москве пронизан беспроводными сетями», каналами Imagine.

Сочинитель сам увлечен (отвлечен от невыносимости жизнеустройства) этим миром «чужих» и «хищников», этой возможностью, пребывая в нем, творить *как бы* в том духе, какой всегда позволялся и поощрялся в поэзии, — одически, героически, сентиментально. Нельзя же постоянно — о страхолюдинстве московских вокзалов и о предсмертно-посмертном разложении биомассы.

ГЕРОИКА

место уже известно его изменить нельзя
время не знают даже проверенные друзья

всё равно не опаздывай / не теряй лица
запиши в молескин партийного образца

если не все вернутся чёрные корабли
даже если останусь в лунной лежать пыли

мы всё равно встречаемся / подругу целует в лоб
у изваянья анибуса площадь молотов риббентроп

Таков «футурологический» извод тихоновской «Баллады о гвоздях». Но — сойдя с экрана монитора или космического блокбастера 3D, — красивый понарошку. Что, интересно, чувствовал автор, вовлекаясь в суррогат пафоса, — некое возвышение над плоскостью своего «я» или приступ сарказма? Последний, во всяком случае, налицо. (А юмор в таких стихах не ночевал.)

Кстати — о футурологии. Автор «Трофейного оружия» на своем веку уже пережил перерождение окружающего мира: «Эта прошлая жизнь человека, / Та, что тянется с прошлого века, / Окончательно завершена. / Мне отсюда еле видна»; ну а «это другое время / не мое и не для меня / это другое племя / и не моя родня». Явившийся «из тех баснословных времен, когда барышни не носили пирсинга в пупке», он уверяет, что будущее еще непредставимее (и невыносимее), чем с треском отломившееся от прошлого настоящее. Изваяние Анибуса и «площадь молотов риббентроп» — почему бы не завестись такому у потомков, если, положим, «правильные боги» Египта сметут «единобожников»; ну а в «2050 году» (согласно наименованию одного из стихотворений), а в «2101 году» (опять заголовок) еще не то состоится «обновление». «Каково тебе новый сапиенс /

хладнокровный после апгрейда <...> без огня и храма / не знающий слова мама <...> только бесы / спасутся / потому что *веруют и трепещут*». (Спасутся, ибо не изменят своей идентичности, усмехается автор.) Эти ужастики-дразнилки с долей нигилистической иронии доносят мысль, что будущее в его «метафизически порочной» смене эпохальных декораций наперед *устало* и, в сущности, *не нужно*.

мир слишком долго идёт к концу
и если ему не помочь
люди с пёсьими головами
успеют порыться в наших костях

На поэтическое лицо «обновленного» Василевского литературные круги отреагировали довольно живо. Я отследила лишь то, что само шло в руки. Рецензию Артема Скворцова, всегда заинтересованного в новых объектах, достойных внимания, отклики поэта-«геосимволиста», витающего в серебряновечных пространствах, Леонида Шимко, философа и переводчика Константина Бандуровского... Из этих отзывов, как и из резонанса от выступлений В., — несомненный вывод: стихи *цепляют*. Не одну меня.

Что любопытно, пишущие о них привлекают по ходу своих замет многообразие имен, кои для наглядности перечислю в хаотическом порядке: З. Гиппис, Р. Фрост, Р. Музиль (но почему тогда не автор «Постороннего» и не Селин?), поздний П. Вяземский, А. Чехов, Г. Газданов, И. Бродский, Л. Лосев, Г. Иванов (несомненно!), С. Гандлевский, И. Ермакова, Б. Херсонский, Ф. Сваровский, Д. Новиков, Д. Давыдов, А. Штыпель — ну и не названные поименно, но подразумеваемые как направление обэриуты и минималисты. Что-то тут вырисовывается, но по опыту знаю: раз критический заряд выстреливает столь разнокалиберно и веером, значит, дичь пока еще не попалась на мушку и «передать свой образ мира читателю без шума в канале связи» (А. Скворцов) Василевскому удалось в каком-то смысле с чистого листа, «внеобойменно».

«Трудно не быть собой», — вырывается у автора странное признание (принято считать, что трудна задача обратная). Но кем же тогда нельзя *не быть*? Оказывается, слепым орудием в неведомо чьей руке — ракетой, не осведомленной о будущей цели, по которой выпущена, и, летя, как бы зависающей в настоящем:

И когда она не в охотку
Покидает подводную лодку,
Хорошо ничего не хотеть,
Потому что ей долго лететь.

(«*Praesens*»)

Такое вот самоопределение на местности. В «Трофейном оружии» поэт старается не уклоняться от этого принудительного маршрута, не протестуя против него в романтической манере и не славя в духе пресловутого «стокгольмского синдрома». Фатализм помогает сохранять толику достоинства.

Книга между тем пестрит — порой к добру, порой к худу — отклонениями от этого личного курса ниоткуда в никуда. Минималистское письмо, позволяющее начинать без начала и кончать, прежде чем вы успели «врубиться», подталкивает своей мнимой отвязанностью к любым пробам в режиме модных нарраций. Тут и обведенная по проверенным лекалам «детская» страшилка: «А потом

из черного рояля / вылезли скелеты...» Тут и «альтернативная история»: а что было бы, кабы Борис Леонидович получил Нобеля десятилетием-другим раньше и не стал писать «Доктора Живаго»? Тут и Маяковский, и Александр Грин, и философ Федоров, и бедняга Бенедиктов, неправо загубленный Белинским, сколь ни воскрешай, — получают каждый свою порцию ехидных нотабене. Все это вместе, на мой вкус, отнимает у книги долю ее напряжения и побуждает вспомнить другого Василевского — автора ранних образцов «Периодики», когда он не отказывал себе в удовольствии проткнуть приводимую цитату шампуром комментирующей реплики. (Теперь это из славной рубрики ушло, перейдя в то, что вышеупомянутый Конаков назвал, в несколько ином смысле, «практическим литературоведением» стихотворца.)

Однако в этом «литературоведческом цикле» есть одно лыко в строку:

птичья лапа царапает кафельный пол
вот такой вот времён глагол
и металла звон и грохот мортир
а старик не дошёл в сортир

разбежались оставили одного
холодынь колотун нарым
смерть брезгливо перешагивает через него
не задерживаясь идёт к молодым

Тоже ведь — «альтернативная история»: мы-то читали, что Державин не заблудился безвозвратно по пути к отхожему месту, а поспел оттуда к декламации лицеиста Пушкина. Но альтернатива «метафизически» правдивее факта — во всяком случае, в границах центрального месседжа книги.

Оставаясь в потоке Praesens'a, Василевский зорек зоркостью неумолимого соглядатая. Но его самые актуальные находки, выловленные из сиюминутного информационного напора, поразительно совпадают с тем, что давно уже было обнаружено — и взято на прикольную заметку — в вековой социальной психологии *modernity*.

девочка или мальчик
ну словом маленький друг

пора узнать
последнее правило безопасности

самое важное

НЕ КОРМИТЕ БЕЛОК

<то есть вдруг это *не белка?*>

нет это именно белка

но

вдруг она подходит *не за орехом*
вдруг это *белка-педофил*

<что же тогда делать?>

одно
бежать без оглядки

<куда
старший товарищ?>

к новому мировому порядку
сияющему на холме

<там нет белок?>

разумеется есть
но они под контролем

это было трудно

Предлагаю сравнить:

Вчера, опаздывая на работу,
я встретил женщину, ползавшую по льду
и поднял её, а потом подумал: — Ду-
рак, а вдруг она враг народа?

Вдруг! — а вдруг наоборот?
Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель?
Обыкновенная старуха на вате,
шут её разберёт.

Этот мудрый стишок Ян Сатуновский написал в 1939 году, за 70 лет до «белки-педофила». А ведь ничего не изменилось. Такой же механизм социальных фобий, запускаемый теми, у кого «все под контролем», такая же инфантильная растерянность перед зыблемой всемогущими экспертами реальностью: «не верь глазам своим»; та же манипулируемость посредством простейших инструментов «ложного сознания». Стихотворение Василевского настолько же не антиамериканское (хоть и помянут «град на холме»), насколько у Сатуновского — не антисоветское (подобные настроения в ту пору для него не характерны). Оба они — о тотально-лживом социальном космосе, в котором уже больше века барахтаются дезориентированные «обыватели на вате».

Есть ли в этом мире для автора «Трофейного оружия» хоть что-то неподдельное, кроме той правды физиологического и социального угасания, переварить которую ему помогает стихотворство в его кратчайших импровизационных формах?

Попытаюсь, вслед за Марией Галиной, еще раз обдумать черты «депрессивного реализма». Лишиться иллюзий — значит душевно заболеть. Так действительно полагал Фрейд, который, если я не запомнила, утверждал, что шекспировский Гамлет и вправду безумен, так как знает и говорит о жизни то, что нормальный человек вытесняет в подсознание, дабы сохранить мотивировку существовать и действовать. Согласно эллинской мифологии, бессмертные олимпийцы не могли взять в толк, как это смертный люд справляется с памятью о том, что жизнь каждого из них конечна? А так и справляется — вверяясь иллюзиям, внушаемым (до поры) телом (см. выше). В текущей публицистике Александр Мелихов, находясь в позиции философствующего психолога, не устает твердить, что вся и культура и нравственность — ценнейшие иллюзии чело-

веческого рода, которые надо нянчить и пестовать, дабы не согнуть яко обры. И если кто-то отчаянный с наигранной невозмутимостью заявляет: да поглядите же, лицемеры, все не так *на самом деле*, — как не причислить его к скорбным разумом? Он будет прощен и даже причтен к признанному литературному направлению, если сдобрит свое малоприятное откровение гармонической аранжировкой.

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми глазами,
Златые омочив края
Своими же слезами.

Когда же перед смертью с глаз
Завязка падает
И всё, что обольщало нас,
С завязкой исчезает,

Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был мечта
И что она — не наша!

Лермонтов был юн — семнадцати лет, век был молод, и вещее разочарование могло еще украшаться ямбическими чарами... Этот миг спадания повязки с глаз великих людей любил смаковать Лев Шестов в «Апофеозе беспочвенности», других сочинениях того же периода.

Не станем вгонять Андрея Василевского в оный исполинский ранжир. Он наш рядовой современник, житель страшновато-обыденной Москвы, репрезентирующей для него темную и недостоверную материю Вселенной: «майская ночь на кухне звериный суп <...> если верить учёным вокруг инвертированная пустота / суетится цветёт и пахнет весной». Но, по моему, далеко не всеми разделяемому, убеждению, та «болезнь», то состояние души, то чувство жизни и смерти, которыми человек Василевского имел бесстрашие (или бестактность) откровенно поделиться, ставят его перед истинно духовной перспективой. Откроется она или нет — вопрос, но стоящий перед этой дверью уже не сделает шага назад, в мире здравых сновидцев искать нечего.

...Все-таки однажды автор «Трофейного оружия» наделил некую сущность сертификатом подлинности. Таким, одним из лучших, стихотворением открывается «Плохая физика»:

пасхальной открытки загнутый уголок
с краю слегка надорван бело-розовый ангелок

не сладок и не приятен горящих помоек дым
аутентичный ангел ужасен и несравним

чем же — ведь не рукою? — он держит Москву в горсти
ни с чем посюсторонним его не соотнести

ни с какою формой земною ни с чем что мы видим тут
его чуют лежащие в коме они его не назовут

от угарного газа пухнет моя голова
в ней тухнут антропоморфные человеческие слова

а он приближается жаром паром с кипящей реки
где по загробной Капотне строем идут должники

Эти (неожиданно обретшие ритмы Киплинга) стихи — с совершенно точным хронотопом (все москвичи помнят тот жар и тот «дым отечества» в 2010 году). Но и — выходящие за пределы всей имажинативной номенклатуры автора: от Лары Крофт и лейтенанта Рипли до загробной кошки и упыря на помойке, от компьютерных чудищ с «неземной пастью» до египетских идиолов. Ангел, изливающий чашу вышнего гнева на нас, должников Правды, обманувшихся дольщиков с вложениями в обреченную мировую стройку, — *аутентичен*, наконец, соответствует тому, что Есть. Страшен такой гид по обнаженной реальности, такой отмыкатель запертой двери, — страшен, но и благ. Хорошая поэзия — но и какая отличная мета-физика!

P.S. Может быть, неуместно и даже бестактно по отношению к нынешнему, легко утомляемому читателю вдаваться в долгие подробности по поводу небольшой книжки, с неочевидным, вдобавок, прорастанием в будущее. Но при чтении «актуальных» стихов так редко случается вздрагивать в лад с ними, мыслить вместе с ними и поперек их, что нелегко вынырнуть к благоразумнейшей точке.

Галина Зайнуллина

КМФМК — «Родина» — электричество

Они сошлись — кизяк и глина

А картины отдельные на нашем кинофестивале вполне могут появляться. Понимаешь, когда пуштун не выезжал никуда дальше соседнего кишлака и ему дарят камеру, то он будет снимать необычно!!! Сто проц! И мы этому будем восхищаться! Ведь провинция тем и хороша... Наив идет оттуда, там голодные режиссеры и оперы. Да и потом, как занимаются любовью под хиджабом, европейцам ведь очень интересно... В какие-то мы игрушки играем в последнее время. Были ведь безупречно красивые амфоры с девичьими станами, но нет, поднимаем уродливый кувшин из глины с примесью кизяка и восторгаемся. Это истинное искусство! Правда, мир этой оспой уже болел, и не раз.

Из электронной переписки с Аделем Хаировым

Всякий раз от фестиваля мусульманского кино ждешь вала полупрофессиональных дебютов и самонадеянного кустарного производства. В то же время именно в этом потоке надеешься намыть пару золотников восторга — от обжигающей правды, знакомства с экзотической, прежде невиданной реальностью, анализа фактов, отсутствующих даже в вездесущем интернете.

Чудеса на КМФМК все девять лет его существования исправно случаются. Часто именно фильмы с нулевым бюджетом надолго западают в память и душу: в них сведена к минимуму конъюнктурная составляющая — режиссер тут сам себе продюсер, и потому свободен прокричать о наблевшем (при этом он все же профессионал — с кинематографическим образованием ли, набивший руку на видеоклипах ли). На памяти в качестве примера фильм VIII КМФМК «Презумпция согласия» Фархота Абдуллаева, выпускника ВГИКа, о животрепещущей проблеме трансплантологии. И ни на йоту не убавляет восхищения гражданской позицией Абдуллаева то, что жюри 2012 года предсказуемо гранпризовало иранскую «Крупницу сахара», сладкокартинно воспевшую диалектическое единство Жизни и Смерти.

Так что нельзя не согласиться с членом жюри IX КМФМК, кинокритиком Верой Лангеровой: «Такие фестивали помогают развивать вкус зрителя на фоне голливудских блокбастеров, и это очень правильно. Зрители должны видеть, что есть другое кино!»

В отборочной комиссии IX КМФМК председательствовал Сергей Лаврентьев — известный российский кинокритик. 450 заявок из 54 стран мира под его руководством были пропущены не через одно сито, в итоге восемь девятых материала отсеялось. В конкурсную программу вошли 50 игровых, документальных и анимационных фильмов

из 27 стран. «Глина с кизяком», конечно, в нее все же попала. Но не в таком ужасающем количестве, как на VII кинофестивале.

Высоколобое «фи» можно сказать разве что по поводу фильма «Душа» (Турция), режиссер и сценарист которого — Рашит Челикезер — специализировался на телесериалах. Привычка «тянуть время» помешала ему компактно изложить историю матери-одиночки, какие-то важные перипетии сминались гармошкой. Тем не менее «Душа» удостоилась специального приза Международной организации «ТЮРКСОЙ» за вклад в развитие кинематографа тюркского мира. Возможно, элементы «черного реализма», использованные Челикезером, и впрямь для кого-то в диковинку и расширяют эстетику турецкого кино.

Наивом home video веяло от сенегальского фильма «Высокая, как баобаб» режиссера Джереми Тейчера — наивом, граничащим с изыском отложенного конфликта постдрамы. Деревенской семье требуются деньги, потому младшую дочь, почти девочку, выдают замуж за состоятельного мужчину. Старшая дочь подрабатывает в городе горничной, чтобы скопить требуемую сумму. Но обещание жениху дано, и старейшина запрещает семье нарушать договор. «Не выйдешь, не уедешь!» — твердит старшая вплоть до момента, когда младшенькую усаживают в повозку жениха. Тут кончается искусство — дышат почва, судьба... и вера в мудрость Аллаха (Сенегал является одним из наиболее исламизированных государств Африки).

Как видим, есть основания не покривив душой согласиться с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, заверившим на церемонии открытия: «И что бы там ни говорили, КМФМК — уникален. Фестивалей много, но наш фестиваль мусульманского кино — единственный в своем роде. На нас большая ответственность, ведь мы пропагандируем идеи толерантности и межконфессионального согласия».

Пусть слабее грянет буря!

— Казанский фестиваль мусульманского кино стал праздником закутаных теток.

— А мы на этом празднике кто?

— Мученики.

*Из разговора двух журналисток
в пресс-центре IX КМФМК*

Первые кинофестивальные показы проходили в отсутствие публики. Залы заполнялись до отказа лишь на премьерных показах татарского игрового кино. В 2005 году это был «Куктау» («Небесная гора») Ильдара Ягафарова, в 2006 — многострадальная «Сага о Волжской Булгарии», которую Булат Мансуров бесславно снимал долгих одиннадцать лет. Внимание привлекали также острополитические ленты — антиамериканские блокбастер «Долина волков. Ирак» (Сердар Акар, Турция), кинодрама «Дорога в Гуантанамо» (Майкл Уинтерботтом, Англия).

Популярность КМФМК зрела медленно, но неуклонно, прирастая вдумчивыми ценителями неигрового кино и короткого метра, пока не превратилась в шквальный наплыв фанатов фестиваля. В основном ими стали женщины пенсионного возраста, имеющие свободное время как для пятикратного намаза, так и для просмотров pop-stop.

На IX КМФМК они с утра приходили в КРЦ «Родина» с термосами, перевязывали веревочками кресла — бронировали для подруг. Порой не было возможности присесть не только журналистам, но и участникам фестиваля, а жюри — пробраться к последнему ряду (на ступеньках сидела молодежь).

У некоторых имелось свое видение фестивальных мук — неожиданно восторженное. Председатель жюри Карен Шахназаров на пресс-конференции по итогам КМФМК выразил казанским зрителям «особую благодарность»: «Такого энтузиазма, такой реакции, такой заинтересованности я давно не встречал. Должен сказать как режиссер, что всякие мысли в течение творческой жизни приходят. Иногда задаешься вопросом: та ли это профессия, которой стоит заниматься? Но когда видишь такой интерес публики, людей, которые заполняют битком залы, ты понимаешь: что-то все-таки есть в этом странном искусстве, которое называется кино, если оно вызывает такой интерес! Я поражен, и думаю, для меня это главное событие фестиваля — встреча с татарстанским зрителем».

Несомненно, казанские абыстай — украшение форума мусульманского кино. Они пристрасно отсматривают программу, активно участвуют в обсуждениях, электризуя респектабельное пространство КРЦ «Родина», однако порой не прочь раскаться по эмоциям до митинговых страстей.

Показали они свой норов еще в кинотеатре «Мир», где проходил I Казанский кинофестиваль. В его программу было включено 25 фильмов для внеконкурсного показа, в том числе о Валерии Пороховой — «Любовь моя — Коран». Однако в назначенный час просмотрный DVD-диск к киномеханике не поступил. Тогда инициативная группа из полутора десятков разгневанных мусульманок, вопреки представлениям об их кротости, потребовала из-под земли достать документальную ленту о переводчице Корана. Таки добились своего — в течение часа «Любовь моя — Коран» с извинениями была запущена на экран.

Впрочем, ретроспективный обзор скандалов КМФМК показывает, что при желании абыстай умеют дозировать проповеднический пафос, а буря может прийти с другой — неожиданной стороны.

На III КМФМК на церемонии открытия из анонсов вырезали кадры японской документальной ленты «Янки, отправляйтесь домой!» режиссера Фуджимото Юкихиса; речь в ней шла об американских военных базах, находящихся на территории Японии и Кореи со времен Второй мировой войны. Купюра вызвала возмущенные возгласы участников из Страны Восходящего Солнца.

На IV КМФМК руководитель пресс-службы, москвичка Салтыкова, во время встречи с иорданцами Хазимом Битаром и Рифки Ассафом попеняла им на заикленность на палестино-израильском конфликте. Поводом стала игровая короткометражка «Вид», где израильский снайпер на полицейском посту в течение дня наблюдает через прицел винтовки за палестинцами — мужчиной и женщиной. «Когда пушки разговаривают, музы молчат», — негодовала Салтыкова. «Вы не любите арабов!» — обвиняли ее в ответ.

В 2010 году в программу V КМФМК Ганс Шлегель включил израильско-германский фильм режиссера Дзора Захави «Для моего отца» об истории террориста-смертника. Содержание картины возмутило арабских кинематографистов и журналистов. Они грозили свести на нет свое участие в Казанском кинофоруме.

Казус VII КМФМК: в 2011 приз за лучшую женскую роль получила бывшая порноактриса, сыгравшая мусульманку, сбросившую оковы ненавистного брака, в фильме «Чужая» режиссера Фео Аладаг. Но это было, скорее, махание кулаками после драки, а не собственно кинофестивальный скандал.

Многочисленные мелочи, портившие открытие-закрытие в КРК «Пирамида», как-то: появление глубоко декольтированной Анастасии Заворотнюк в качестве ведущей, неразличение Максимом Авериным Татарстана и Казахстана — подробно перечислять не будем. Промахи учтены, и торжественные церемонии в последние годы следуют благородному сдержанному канону, соответствуя названию и миссии КМФМК.

Коротко и смотрибельно

Будущее за короткометражками. Полный метр — то же самое, что короткий, плюс три ведра воды.

Из разговора молодых людей в зрительном зале

XXI век — время компактных скоростных высказываний. Наверное, поэтому не все досмотрели картину даже до середины — «Новый день. Новая надежда» (Египет) режиссера Халы Лотфион о рутинных буднях двух женщин, ухаживающих за больным членом семьи. Вероятно, в жюри был человек, попадавший в подобную ТЖС — с уходом за лежачим больным, и «Новый день. Новая надежда» победил в номинации «За лучшую режиссуру полнометражного игрового фильма».

Зато благодаря Хале Лотфион явно прибыло поклонников короткого метра. Работы режиссеров, взявших на вооружение принцип «Краткость — сестра смотрибельности», воспринимались как никогда заинтересованно.

Тематика короткометражных фильмов IX КМФМК была разнообразной с акцентом на детские проблемы в пучине бед, затеянных взрослыми. Это в первую очередь, фильм-призер в номинации «лучший короткометражный игровой фильм» Айнуры Исмаиловой — «Отец» (Узбекистан). В нем показываются нелегкие испытания, выпавшие на долю маленького мальчика в связи со смертью отца. После потери он должен продолжать жить, а для этого необходимо решить: что такое бог?

Затем, «Прощай, заграница» (реж. Ламила Аллами, Марокко — Швейцария). 30-летняя Фатима, живущая в бедном марокканском районе, решается на нелегальную иммиграцию, чтобы воссоединиться во Франции с мужем. Результат плачевный: мать — в полицейском участке, 10-летний сын Мухаммед — в фуре с нелегалами. Наконец, фильм «Их праздник» (Великобритания), где режиссер Рим Морси делится прозрением: не произошла ли египетская революция слишком поздно? В течение 21 минуты в ее ленте показываются радостные приготовления матери и ее детей к встрече со старшим сыном, освобожденным из тюрьмы. С большим трудом приобретается утка, организуется праздничный стол. Ожидание длится долго и не разрешается ликованием. Парень смотрит на убогое пиршество отчужденными стылыми глазами. («Какая нищета в странах Востока, наверное, наши олигархи загнали бы нас в такие же условия, если бы не российские морозы», — такой неожиданный вывод сделала «закутанная» зрительница после просмотра фильма «Прощай, заграница».)

Наиболее остроумная история взросления была поведена в короткометражке Арне Ахренс «Как я стал мужчиной» (Германия). Умит, выросший в Германии, приезжает в Турцию, чтобы пройти обряд обрезания вместе с двоюродным братом. Сверстники не принимают его в свою компанию, предъявляя серьезные обвинения: дескать, играешь в футбол за «фрицев». В фильме запечатлены забавные особенности турецкого обряда посвящения в мужчины: мальчикам шьют красивые белые костюмы, накидка и чалма украшаются шитьем и пайетками, вручаются жезлы — все атрибуты принцев. Обряд публичен. Родственники рассаживаются в два ряда на стульях, напротив установлен шатер — там отроки восстанавливаются на ложе после болезненной процедуры. Согласно ритуалу, каждый из них должен спеть. А Умит не знает турецких песен, но тамада с микрофоном не отстает. И тогда мальчик, превозмогая боль, чеканит рэп: «Мне предлагают шамаль — я выбираю фристайл!». Взрослые обескуражены, а двоюродный братик, лежа на спине, восторженно хлопает.

Все бы хорошо в «Как я стал мужчиной», если бы не ужасная реплика хирурга в диалоге с Умитом: «Только много не отрезайте». — «Не волнуйся, я хороший хирург. Сделаю укольчик — больно не будет. А вырастешь, я тебе печень на одном дыхании

пересажу»... Закрадывается подозрение, что милая короткометражка снята ради нашего с вами сублимального зомбирования: разборка людей на запчасти есть благо.

Остроумным благодаря литературной основе — рассказу «Четвертый комод Чиппендейла» Роальда Даля — был фильм «Чиппендейл» (Россия) Камиллы Сафиной. История про то, как жадность антиквариат сгубила, была перенесена на отечественную почву. Торговец древностями Михаил (в главной роли — Виктор Сухоруков) случайно обнаруживает в глухомани старинный комод знаменитого краснодеревщика Чиппендейла. Торгуясь с сельчанами, он напирает на то, что его интересуют исключительно резные дубовые ноги «рухляди». Сходятся на восьмистах рублях. И пока, распевая от радости, Миша подгоняет через сугробы свой «каблук», мужики услужливо отрубают топором гнутые ноги комода. «Чиппендейл» Сафиной удостоился Специального приза Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

Нужны новые темы!

Кинодокументалисты снимают так, будто нет ютуба и интернета.

*Из подведения итогов IX КМФМК
на круглом столе журналистов*

В этом году в блоке документальных фильмов не наблюдалось обилия репортажных картин из конфликтных зон. «Они носят миротворческий характер, — пояснила арт-директор IX КМФМК Альбина Нафигова. — Программа конкурсного показа полностью составлена из фильмов, безоговорочно отвечающих призыву фестиваля: "Через диалог культур к культуре диалога"». Что ж, слоган, конечно, хороший, но заболтанный за 8 лет до неразличения «культуры диалога» и флуда.

Правомочно ли использовать это словечко по отношению к кинодокументальным опусам? Чтобы дать утвердительный ответ, достаточно было посмотреть полотно «Рудольф Нуреев. Мятажный демон» Татьяны Маловой. На протяжении полутора часов друзья Нуриева, коллеги, балетные критики Парижа, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани рассказывали о «яркой противоречивой личности артиста», тщательно залакировывая все по-настоящему противоречивое. Таким образом, флудить в кинодокументалистике — снимать то, о чем сведений во всемирной паутине завались, да еще в разы честнее. Тем не менее, спасибо за Андриса Лиепу — ведущего фильма, приехавшего в Казань для презентации «Мятажного демона», — обаятельнейший человек.

Всего в конкурсной программе IX КМФМК было двадцать документальных фильмов — 10 полнометражных, 10 короткометражных. По содержанию они так же фифти-фифти делились на две большие группы: «рассказ об интересном человеке» и «знакомство с бытом и традициями».

В первой группе выделялся фильм Мустафы Хосрави «Пешка Е-4». Киношники, надо сказать, любят истории о слепых; на каждом КМФМК парочка лент на эту тему выстреливает. В их ряду «Пешка Е-4» была нестандартом: главный герой, потерявший зрение в ирано-иракской войне, не певец, не гуслер, а первый гроссмейстер Азии по шахматам и шестой в международном рейтинге. Силу духа этого человека Хосрави показал благодаря... попугаю, точнее — проведенным через весь фильм крупным планам с пернатым питомцем: птица, здороваясь, подает лапку, откликаясь на просьбу, целует в щечку, произносит отдельные слова — то есть, как и ее хозяин, преодолевает психофизические границы.

«Меж двух миров» Овидио Салазара нельзя не упомянуть за верность автора Казанскому кинофоруму: в 2005 он участник I КМФМК с фильмом «Алхимик счастья», в 2006 — член жюри II КМФМК, в 2010-м — председатель отборочной комиссии, и вот — снова участник! Салазар — представитель «спиритуалистической линии» в американо-британском независимом кинематографе: режиссер, продюсер и... суфий.

Над фильмом «Меж двух миров» (2013) работали кинематографисты Великобритании, Марокко и Швеции. Внимание Салазара на этот раз привлек человек, чей духовный путь схож с его исканиями, — это бывший дипломат Мухамед Кнут Бернстром. Поиски истины подтолкнули его уйти из католичества и принять ислам. Выйдя в отставку, он посвятил свою жизнь переводу Корана — для молодого поколения исламских эмигрантов в Швеции.

«Меж двух миров» был принят в целом бесстрастно, за исключением горячего обсуждения двумя молодыми женщинами: *«Этот персонаж — мечущийся от атеизма в католицизм, потом в ислам, мне показалось, увлекался обрядовостью, поиском средневекового идеала. Во-вторых, это совершенно некорректно для его профессии. Вообще какой-либо разговор о религии».* — *«Уж не знаю, закладывали ли авторы этот смысл, но в Европе гуманитарная и ментальная катастрофа. Вернее, первое — следствие второго. Они отчаянно ищут дух, но, к сожалению, находят его то в исламе, то в каком-нибудь увлечении Японией».* — *«Пустейшей, к слову, из всех философий мира, может, только Африка их обогнала».*

Из группы «Знакомство с бытом и традициями» — лидер информационной новизны, безоговорочно, «Белые люди» Алессандро Балтера. Представьте, в Танзании на берегу озера Виктория рождается много негров-альбиносов. Белая кожа служит причиной их похищения соотечественниками, зарабатывающими на продаже частей тела. В Танзании верят в мистическое исцеляющее действие зелья, приготовленного из органов альбиносов. Прочитав об этом во французской газете, Алессандро начал собственное расследование, которое заняло три тяжелых года: в Танзании его сразу взяли под стражу и всячески мешали. Фильм снят на черно-белую киноплёнку — из желания режиссера отойти от стереотипов: Африка ассоциируется с яркостью красок, экзотикой, но Алессандро мыслил не про Африку, а про людские проблемы. Специальный приз Российской Гильдии киноведов и кинокритиков — статуэтка Белого Слона — мужественному режиссеру вручила Вита Рамм за работу с закрытой информацией.

«Путь золотого динара» режиссера (а также продюсера и оператора) Матиаса Бассо был наособицу, вне обозначенных групп. Этот фильм — рассказ о группе активистов движения «Динар», которое получает все большее распространение в мире и создает капитализму альтернативу, основанную на исламских принципах. Главную роль в фильме сыграл казах Абдугани Ауесханов, экономист. Он три месяца жил бок о бок с режиссером в Малайзии, работал как консультант, снимался в эпизодах, не подозревая, что станет ключевой фигурой фильма, потеснив в эпизодические короля Марокко и премьер-министров Турции и Малайзии.

«Путь золотого динара» стал одним из самых ярких событий нынешнего фестиваля, потому что абсурд современной экономики волнует всех без исключения. После показа люди плотным кольцом окружили в фойе Матиаса Бассо и Абдугани Ауесханова, задавали много вопросов, долго не отпускали. Еще бы, ведь о виртуализации денег и ее последствиях рассказывали просто, не на эзоповом языке, малопонятном большинству. А золотой динар и серебряный дирхем, отчеканенные по стандарту движения, можно было потрогать и сфотографировать.

В сравнении с зашкаливающим интересом к экономике парадоксальным выглядело равнодушие, с которым казанцы отреагировали на фильм-реквием «Классические герои неклассических войн» Елены Тагировой, главного редактора художественного вещания ГБУ РД РГВК «Дагестан». Данная лента повествует о Героях России,

бойцах дагестанского СОБРа — командире Арзулуме Ильясове, старшем оперуполномоченном Сергее Подвальном, рядовом Шамиле Абдурагимове. Елена задается вопросом: за что отдали жизни эти прекрасные смелые мужчины? Неужто: имена ваши известны, подвиг ваш бессмыслен? Например, 25-летний Абдурагимов, чемпион мира по тайскому боксу, — перед парнем открывались дороги карьерного роста, а он выбрал неблагодарный труд под названием «Родину защищать», да еще в «необъявленной войне» без линии фронта. Истории жизни и подвига каждого героя перебиваются кадрами дискуссии дагестанской молодежи о судьбах Кавказа; стучит метроном, приближая неутешительный вывод: «Россия проиграла битву за молодежь».

У зрителей не возникло желания вступить с Тагировой в диалог. Хотя Елена рассказывала интересно: как страшно работать журналистом в Махачкале — работники телевидения боятся затрагивать темы ваххабизма и незаконных вооруженных формирований; что на российский лозунг «Хватит кормить Кавказ» у дагестанцев есть ответ — «Дайте запить». В зале лишь глухо бурчали: «У автора проимперская позиция», «Оттуда должны уйти российские контрактники».

Лучшим короткометражным неигровым фильмом IX КМФМК стал «Тающий остров» (Азербайджан) Фариза Ахмедова, чья режиссура приравнивалась к работе художника, вдохновленного природой. «Живописались» в «Тающем острове» люди, отрезанные морем от «большой земли» (вариация на тему прошлогодней короткометражки Ахмедова — «Маяк»). В номинации «Лучший неигровой фильм» победила лента германского кинодокументалиста Мартина Гернера «Поколение Кундуз — чужая война» о пяти молодых афганцах.

Жаль, что не был отмечен, хотя бы призом не от жюри, «Горький мед» (Башкортостан), снятый Айнуrom Аскарoвым. Выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения запечатлел уникальные приемы и приспособления древнего уходящего промысла — бортничества. Вот Анвар-бабай с ловкостью белки взбирается на сосну с родовой тамгой по зарубкам, сделанным еще рукой прадеда; открывает бортъ — тут чудеса визуализации творит макросъемка медовых сот фотоаппаратом. Особая прелесть фильма еще и в жанровом синтезе с игровыми моментами.

На примере «Горького меда» убеждаешься в тщете таксономических усилий: «рассказ об интересном человеке» и «знакомство с бытом и традициями» — вещи нераздельные, взаимно обусловленные.

Возвращение казусов

Кино — это не искусство!

*Заявление Александра Гордона
в агентстве «Татар-информ»*

Если и есть у фестиваля мусульманского кино какие огрехи, они прощаются за одно то, что в его программу исправно включаются постюгославские ленты. Всякий раз они становятся вехами в истории кинофорума: III КМФМК — «Грбавица» Ясмиллы Жбанич, о боснийской матери-одиночке, родившей дочь от серба, V — «Снег» Аиды Бегич про обезлюдившую боснийскую деревню, VII — «Бельведер» Ахмеда Имамивича, о попытке жить не помня геноцида в Сребренице.

Жюри ни разу не оставило без внимания эти картины, но присуждало призы второго ряда: за мужскую и женскую роли, за сценарий. И вот, наконец, долгожданное гран при — «За лучший полнометражный игровой фильм» — завоевывают «Круги» (Франция—Словения—Сербия—Хорватия—Германия) режиссера Срджана Голубовича. Гран при с солидным довеском — наградой за лучшую мужскую роль сразу двум актерам: Небойше Глоговацу (Доктор) и Леону Лючеву (Харис).

События кинодрамы «Круги» основаны на реальном случае 1993 года в городе Требинье. Офицер Тодор отправляется за сигаретами в киоск. Но нужной марки в продаже не оказывается. Тогда Тодор вымещает свою агрессию на хозяине киоска Харисе. Солдата Марко возмущает несправедливость, и он заступает за хорвата. Инцидент переходит в драку, офицер с друзьями, такими же «псами войны», избивает Марко до смерти. Спустя двенадцать лет прошлое вносит коррективы в жизнь тех, кто был втянут в эту трагедию — инициатора, соучастников, сына одного из них, даже молчаливого свидетеля. Потому что за попрание человечности неизбежно придется платить по счетам, и от этой неизбежности не скрыться и в могиле — расплата за грехи наследуется.

К счастью, нравственная проповедь в фильме Голубовича не явлена влобовую, и основная заслуга в этом — сценаристов (Орджана Кольжевица, Мелины Пота Кольжевиц). Сюжетные линии ими децентрализованы, их три — с привязкой к разным странам и городам; а смысловая монолитность достигается за счет продуманности сопоставлений и эмоционально-смысловых параллелей между судьбами. В принципе, сценарий «Кругов» был лучшим, виртуозным.

Однако жюри IX КМФМК отметило в этом качестве Али Асгари, сценариста картины «Письма под дождем» (Иран), детально проработавшего тему любви и верности, которые основываются на любви к Богу. Разия ухаживает за больной матерью, зарабатывает изготовлением свадебных платьев. Всю жизнь она ведет диалог с Всевышним, но в один момент начинает сомневаться в его помощи. В конце концов, все в ее жизни устраивается: возлюбленный делает предложение руки и сердца. Это, по твердой уверенности режиссера (и красавицы) Марджан Ашрафизаде, является подтверждением того, что любой получит божескую награду, главное — терпение и надежда. Исполнительница роли Разии, Масум Гасимипу, так прониклась этой идеей, что ее исполнение принесло «Письмам под дождем» еще одну победу — в номинации «За лучшую женскую роль».

Нет оснований оспаривать приз Олега Лукичева «За лучшую операторскую работу полнометражного игрового фильма». Картина «Иван, сын Амира» действительно зрелищна; живопись в кадре контрастна: сначала по-сарьяновски яркий юг, во второй части холодные краски каменистого Черноморья.

В основе истории «Иван, сын Амира» конфликты-казусы: в дни войны в Севастополе объявляют эвакуацию, и Мария Левина (Каролина Грушка) бежит вместе с двумя детьми в Узбекистан. Здесь она становится третьей женой узбека Амира (Бобур Юлдашев). Героиня рождает ему ребенка и называет его именем погибшего мужа — Иван. Однако вскоре супруг Марии, лейтенант Черноморского флота, объявляется в кишлаке. Ему нелегко простить жену и принять смуглого малыша. А через годик-другой в Узбекистане случается землетрясение, и в Севастополь шумным табором прибывают жены и дети Амира. Смеху-то, смеху!

Как видим, здесь противоречия локальные, преходящие, замкнутые в пределах единичного стечения обстоятельств и анекдотически разрешимые волей того же случая. Представляя фильм в Казани с актером Дмитрием Дюжевым режиссер Максим Панфилов рекомендовал свою социальную фантастику так: «Это картина, которая напоминает, что когда-то все мы, жители разных стран, были согражданами».

Без призов остался узбекский «Паризод» Аюба Шахобиддинова (Узбекистан). Парадокс нашего времени — красота не спасает, а отпугивает мир — режиссер решал с помощью авантюрно-приключенческого сюжета: прекрасную горянку с рук на руки в качестве невесты передают друг другу разные люди; а завершается история, как обухом по голове, трагически — самоубийством красавицы.

Притчевый «Степняк» (Азербайджан) Шамиля Алиева был интересен отражением в фильме возрожденной древней традиции — верблюдоводства. Поголовье «кораблей», в данном случае — степи, в Азербайджане сегодня насчитывает уже около

пяти тысяч особей. Потому и получилась незатейливая история любви нелюдимого пастуха и мирской девушки эпичной: видеоряд сопровождался не жалким блеянием овечьих стад, а гулом земли под копытами древних бактрианов.

Претензией на актуальность высказывания запомнился фильм «Право на любовь» (США) режиссера Пола Курти. На КМФМК его представляла сценарист и исполнительница главной роли Амина Жаман. Она заявила: «Мы хотели показать, что религиозный шовинизм в настоящее время — явление, к сожалению, довольно распространенное. И мы хотим дать понять, что там, где он есть, истории не будут иметь хорошего конца». В качестве борьбы с таким шовинизмом в «Праве на любовь» был выдвинут образ обновленной мусульманки. Чтение намаза не мешает ей быть актрисой бродвейского театра, носить открытые короткие платья, иметь русскую подругу, еврейского приятеля Кирилла Толмацкого, известного под именем ДеЦл, и любить хорвата-католика Тони. («Уж определилась бы в ту или другую сторону», — недовольно бурчали абыстай.)

Неизвестно, какой расклад получился бы у жюри, если бы в конкурс включили «Хайтарму» («Возвращение») — первый крымско-татарский художественный фильм. Режиссер картины Ахтем Сейтаблаев являлся также и исполнителем главной роли — летчика, дважды героя Советского Союза, Аметхана Султана. В киноленте также снялись известные актеры — Алексей Горбунов, Юрий Цурило, Андрей Саминин, Алексей Тритенко, Дмитрий Суржиков.

Фильм о депортации крымских татар оказался неожиданно веселым и качественным: любование артефактами советской эпохи было эстетически внятным — в стилистике постсоцарта. Центром сюжета, как во многих советских фильмах о Великой Отечественной, стала дружба однополчан — трех летчиков: крымчака, француза и русского. В мае 44-го года после освобождения Севастополя они отправляются в отпуск в родной город Ахметхана — Алупку. Там на глазах друзей неожиданно начинается депортация крымских татар. Она представлена как грозный рок, без набивших оскомину проклятий в адрес «кровавой гэбни» — это первый фильм за последние 10-15 лет, где сотрудника НКВД показали как благородного офицера.

Так почему фильм «Хайтарма» не был включен в конкурсную программу КМФМК? Председатель отборочной комиссии Сергей Лаврентьев разъяснил: «Такой подход мне предложили в оргкомитете фестиваля, и я согласился, что сделать отдельный специальный показ этого фильма вне конкурсной программы это все равно, что сделать его изюминкой фестиваля». Что ж, и на том спасибо. Ведь якобы звонили в оргкомитет из самого МИДа и попросили задвинуть «Хайтарму» в тень. Может, Голливуд испугался конкуренции: уж очень сцены выселения крымских татар перекликаются с аналогичными кадрами «Списка Шиндлера»?

В начале была проза

Татары хотят быть гладкими и обтекаемыми, как дельфин.

Из электронной переписки с Аделем Хаировым

Татарстанское кино было представлено на IX КМФМК короткометражным игровым фильмом Максима Швачко «Конец игры» и документальной лентой «В центре внимания человек» Антона Анохина — о жизни и творчестве публициста Флорида Агзамова.

«Конец игры», получивший приз президента РТ «За гуманизм в киноискусстве», зрители приняли с восторгом (как всякий игровой фильм с участием артистов местных драматических театров). Однако и в этом случае не обошлось без нареканий со

стороны пассионариев: мол, почему не подобрали для экранизации произведение своего писателя?

Действительно, так ли уж необходимы татарскому кино экзотические поп-культурные пряности? Ведь, чтобы мотивы рассказа аргентинско-французского писателя Хулио Кортасара прижились на поволжской почве, пришлось похлопотать. Драматург Ильгиз Зайниев перенес действие из неопределенного места во вполне определенную деревню Нижний Береске Атнинского района и прописал национальный колорит, мусульманские обычаи.

Но девушки, три сестры (Алия Шайхутдинова, Елизавета Швачко, Гузель Гюльвердиева), ведут себя слишком экстравагантно для мусульманок. Они гостят в деревне у бабушки (Наиля Гараева) и постоянно сбегают от нее, чтоб предаться любимой забаве: достав из укромного места большую сумку с костюмами, наряжаются и ошеломляют пассажиров пролетающих мимо электричек. И не кустарные наряды видятся скучающим пассажирам, а чудные масскультные образы: индийских танцовщиц, западных кинозвезд и даже плясунов картины «Танец» Матисса.

Это, однако, тенденция. Уход в фантазийную орнаментальность, влияние клиповой эстетики наблюдалось и в работах молодых татарстанских режиссеров, выпускников курса режиссеров-кинематографистов КГУКИ (Казанского университета культуры и искусств). Кстати, с внеконкурсного показа их короткометражных игровых фильмов 5 сентября стартовал кинофестиваль.

Многообещающе звучало название короткометражки Ильшата Рахимбая — «Гастарбайтер». Особенно для тех, у кого на памяти «Гастарбайтер» Юсупа Разыкова (Россия — Узбекистан) о нелегальной иммиграции, заставивший зрителей VI КМФМК посмотреть на проблему изнутри, глазами самих трудовых мигрантов. Оказалось, фильм Рахимбая снят по мотивам одноименного рассказа Леонида Каганова, чья основа — иррациональность зла, вызывающая *thrill* — нервную дрожь вкупе с тревожным ожиданием и страхом. Молодая девушка работает в банке, сожительствует с ни рыба ни мясо парнем — живет вхолостую, потому что «делится» проживанием трудных ситуаций из отпущенных ей богом лет с некой сущностью из потустороннего мира — гастарбайтером. Рахимбай пугает, а нам не страшно, — лишь малопонятно. Может, оттого что история снята в гламурных интерьерах?

В этом же ряду — заемных идей и страстей — «Четвертый стул» Гульнары Ахметовой, довольно удачная экранизация пьесы Тонино Гуэрры. Вообще, надо сказать, работы молодых режиссеров провальными не сочтешь: уроки Дзиги Вертова учтены: в дебютных картинах видно стремление к вычитанию литературы и театра для овладения собственно киноязыком,

И все же не стоит забывать, что экранизация добротной прозы Аяза Гилязова, повести «В пятницу вечером», на VI КМФМК привела татарстанское кино к триумфу. Гран при в 2010 году получил фильм «Бибинур». Образ старушки Бибинур — неповторимой (при схожести с солженицынской Матреной) праведницы, на которой мир стоит, — в картине пророс особой достоверностью существования в кадре всех — актеров и «людей с улицы», кропотливо отобранных режиссером Юрием Фетингом.

Как знать, возможно, на X — юбилейном — КМФМК не меньший успех ожидает полнометражный игровой фильм Салавата Юзеева «Курбан-роман», поскольку это экранизация одноименного произведения интересного московского писателя Ильдара Абузярова. Трейлер «Курбан-романа» многообещающий, его показ состоялся 9 сентября в КРЦ «Родина» в рамках презентации «истории о любви, жертвенности и самопожертвовании».

Развитие татарстанского кинематографа обсуждалось на научно-практической конференции «Кинематограф Татарстана: прошлое, настоящее, будущее», проведенной в рамках IX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Делились опытом и прогнозами на будущее почетные гости фестиваля — киновед и

кинокритик Иван Форгач (Венгрия), арт-директор Женевского фестиваля Тахар Хоучи, татарстанские режиссеры — Ильдар Ягафаров, Алексей Барыкин, телепродюсер Василий Антипов, киновед Елена Алексеева, студенты и преподаватели КГУКИ. Было высказано пожелание развивать в Казани авторский кинематограф. Только методом проб и ошибок, через эксперимент, можно увидеть, на что способен режиссер. Из авторского кинематографа впоследствии может вырасти жанровый, считают специалисты.

Человек — это звучит трепетно

Мусульманский мир обладает уникальной, своеобразной мощью. Казанский фестиваль должен направлять этот потенциал в мирное, благоприятное русло.

Андрей Кончаловский на закрытии VIII КМФМК

Для Татарстана международный кинофестиваль имеет огромное значение как единственный крупный кинофестиваль, проходящий в республике. С каждым разом число стран-участников неизменно расширялось, образуя самые разные тематические сгущения (мигранты, терроризм, женщина в исламе). Но не меньшее значение КМФМК имеет для России и стран СНГ. КМФМК — площадка, которая дарит ее участникам незабываемое ощущение общности культурного поля и исторической судьбы.

Причина тому — уникальность ниши: мусульманской тематики среди большого количества кинофестивалей нет нигде, кроме Казани. И в то же время эта ниша достаточно широкая, позволяющая участвовать не только режиссерам-мусульманам, но и иных вероисповеданий, — с кинокартинами, чей нравственный посыл не противоречит нормам ислама. Это наглядно показывает победа на V КМФМК российского фильма Веры Глаголевой «Одна война» — исполненная драматизма лента о женщинах, имевших несчастье родить детей от немецких оккупантов.

Тем не менее девять лет кинофестивальной истории кое-что прояснили в понятии «мусульманское кино». Под это определение попадают самые разные по жанру и эстетике фильмы: их сюжет может быть сложно-переплетенным или незамысловатым, видеоряд — аскетичным или изобилующим яркими красками. Главное, что их объединяет, — трепетное отношение к Человеку, — отношение, восстанавливающее его в правах любимого творения Всевышнего. И конечно, все эти годы КМФМК учил как деятелей киноискусства, так и зрителей культуре диалога именно через культуру, поскольку итоги беспристрастно выявляли такую закономерность: выражение крайней точки зрения, лишенной неоднозначности, не позволяет фильмам сложиться в художественном плане, делая их примитивными, агитационно-пропагандистскими.

Талантливо видеть невидимое

В не столь уж давние советские времена Латвия, Литва и Эстония, вместе именовавшиеся прибалтийскими республиками, будучи частью СССР, оставались вместе с тем немного за границей. Там снимались фильмы из жизни настоящей за границы, и все устройство городов и уклада было иным, интересным и манящим. Художники, да и не только они, любили ездить в Дом творчества в Юрмале, получали удовольствие и новые впечатления.

На всесоюзных выставках прибалтийские художники подтверждали, как правило, свою приверженность к поискам в области формы, а их работы вызывали повышенный интерес коллег из других регионов большой страны.

В девяностые годы прошлого века все решительно изменилось. Вслед за распадом большого Союза прекратил свое существование и Союз художников СССР, а союзы художников Латвии, Литвы и Эстонии под влиянием политических процессов вышли из состава общего творческого союза, оформив, правда, «развод» вполне цивилизованно.

В конце девяностых годов, когда Международная конфедерация союзов художников, правопреемник СХ СССР, встала на ноги, доказав свои права на владение Центральным Домом художника в Москве, был запущен новый проект — ежегодные Московские международные художественные салоны ЦДХ. К участию в них были приглашены и союзы художников теперь уже независимых стран Балтии. Приглашение было принято и художники из этих государств вот уже более пятнадцати лет являются непременными участниками салонов, внося в их палитру свежие краски и оригинальные творческие идеи. Художники тем самым вновь подтвердили, что делить им нечего, а искусство, если оно настоящее, остается поверх барьеров.

Большинство художников, приезжающих со своими работами на Салон, говорит по-русски и, как правило, активно участвует в организуемых в рамках выставки круглых столов. Правда, на Салоне этого года, посвященном творчеству молодых, одна из участниц попросила слова и извинилась, что будет говорить по-английски, а ее коллега согласилась перевести. Когда же были произнесены несколько простых доброжелательных слов, то оказалось, что все понятно и без перевода.

Столь же доступны для зрительского восприятия и представляемые работы трех молодых художниц, участвовавших в Салоне «ЦДХ-2013» — Лауры Озолы из Латвии, Иоланты Кизикайте из Литвы и Пусы (Пирет Бергманн) из Эстонии.

Лаура Озола (р.1981) отчетливо проявляет склонность к концептуальному видению мира, обобщая в своих полотнах образы предметного мира до символов и знаков. Все большее место в ее творчестве занимает человек — в его отношении и к миру, и к другому человеку. При этом образная структура остается сложной и многоуровневой, каков, впрочем, и современный человек, присут-

ствующий в картинах часто опосредованно – сопряжением предметного и духовного мира.

Лаура окончила в 2007 году мастерскую концептуальной живописи латвийского художника Иварса Хейнрихсона и получила степень магистра Латвийской Художественной академии. Первая персональная выставка «Заячья банька» состоялась в 2007 году в рижской галерее «Mvksla XO». В 2009 году в художественной галерее «Sky» прошла выставка «Раннее утро», а в 2012 году в художественном салоне на Мукусале – «Безоблачный горизонт».

Образный строй работ Иоланты Кизикайте (р.1980) организован так, что словно стремится раздвинуть границы видимого мира. Автор помещает порой в плоскость холста и скрытые человеческие чувства, увы, далеко не всегда благородные. Что ж, мы такие, какие есть, стянутые обручем цивилизационных ограничений, вынужденные скрывать некоторые не самые лучшие побуждения, возникающие в отношении другого. Строго говоря, это уже и не совсем образный строй, а некий микст образного и понятийного, рационального начал.

Сама художница признается, что ей «все видится словно в замочную скважину... Такое подсматривание — это не сравнение или искание чего-то, скорее всего это присущее желание спрятаться за экраном зеркала или другого объекта».

Иоланта родилась под Каунасом, училась в Каунасской гимназии искусств, в 2002 году защитила степень бакалавра, а в 2004 году – магистра Вильнюсской художественной академии. С 2003 года принимает активное участие в выставках, ее работа заняла второе место в ежегодном конкурсе «Приз молодого живописца-2009», а в следующем году на этом же конкурсе была удостоена первого приза.

Пирет Бергманн (1979) избрала для своего творческого псевдонима детское прозвище «Pusa» (Пуса) и стремится сочетать непосредственность восприятия с глубоко освоенными навыками профессионального художника. Яркая декоративность в ее работах выступает средством для выражения оригинального видения мира. В этом видении мир предстает взаимодействующими между собой знаками-символами, порой просвечивающими амбивалентными значениями. В целом у зрителя работы Пусы вызывают ощущение внутренней свободы, раскрепощения воображения. Отчетливо стремление художницы одновременно и проникнуть в суть вещей и явлений, и наделить их своими смыслами.

Пирет Бергманн окончила в Пярну художественный колледж Эстонской академии художеств. Этот колледж, сочетающий различные, как классические, так и альтернативные методы художественного образования, известен и как Академия нон грата. Пуса активно работает, в том числе в области дизайна, участвует во многих персональных и групповых выставках, проиллюстрировала и написала несколько детских книг. Живет и работает в Пярну. В 2008 году была удостоена награды на ежегодном конкурсе в сфере культуры Пярнуского уезда.

Представленные на вкладке авторы, участвовавшие в Салоне «ЦДХ-2013», посвященном творчеству молодых художников, выросли и сформировались как личности уже в постсоветское время, успешно доказывая свою творческую состоятельность и встраиваясь в реалии демократически-капиталистической действительности. И в своих работах отчетливо подтверждают, что им интересно жить, есть что сказать о мире и о себе.

Юрий ПОДПОРЕНКО



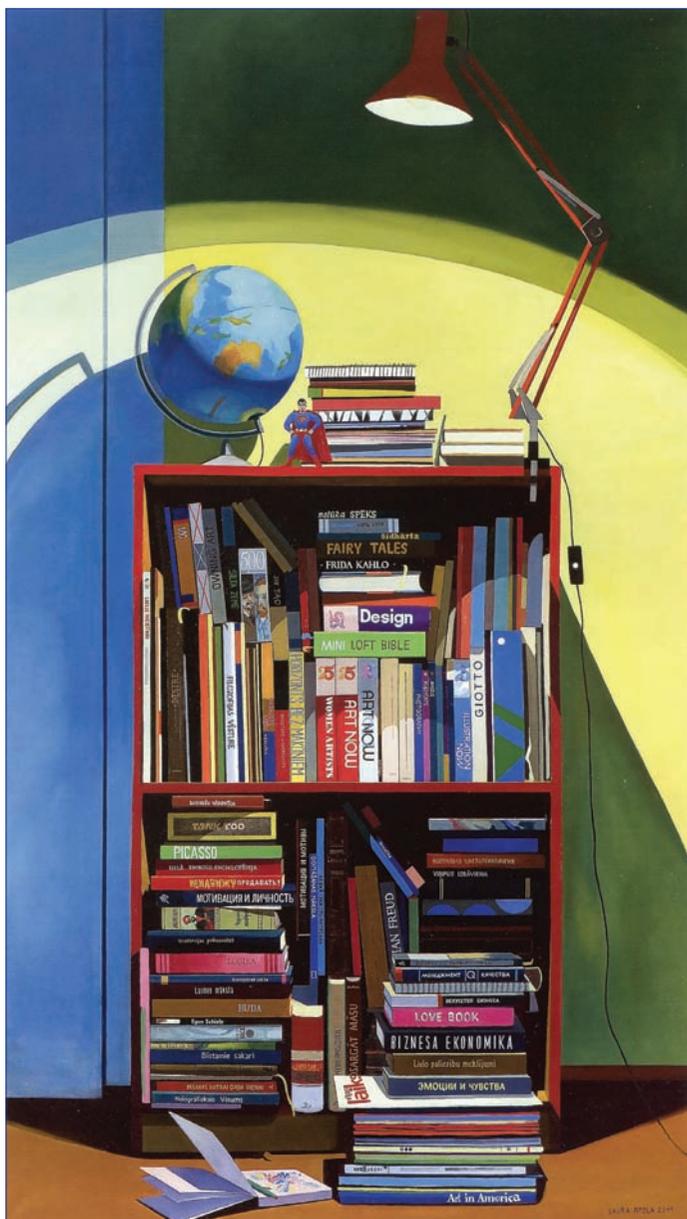
Иоланта Кизикайте

КОМНАТА ИГР. ВЫБОР НОВЫХ НОГ. 2012.
Холст, акрил. 150x156



Иоланта Кизикайте

АВТОПОРТРЕТ. Музей ESSL. 2010.
X., м. 154X207



Лаура Озола

ГОРИЗОНТ БЕЗ ОБЛАКОВ. 2011.
X, м. 220x125



Пуса (Пирет Бергманн)

НЕОТКРЫТЫЕ МИРЫ III. 2010.
Х., м. 90x90

Ирина Ковалёва

«Литературная Вена»

Несколько лет назад я решила провести новогодние каникулы в Вене, где никогда не бывала прежде и куда меня всегда тянуло поехать, как и многих русских людей: какая-то в этой столице есть необыкновенная притягательная сила для наших граждан. Договорилась, что встретим вместе Новый год, со своей милой Катей — Екатериной Бакановой, оперной певицей с великолепным сопрано, она из маленького уральского городка Медногорск, училась в Москве, пела в «Новой опере», а живет в последнее время в этом городе, выступая на оперных сценах многих европейских театров.

Поскольку мне всегда мало одной-двух поставленных задач, я решила посмотреть по интернету, что там есть интересного и для моей профессиональной деятельности, может быть, какие-то писательские объединения и прочее. А вдруг? Как теперь говорят молодые — «погуглила», погуляла по сети и неожиданно нашла сайт «Союза русскоязычных писателей Австрии», интересный, со многими фотографиями и проектами, электронным адресом. Написала, и в тот же день получила ответ от Марины Калашниковой, председателя этого союза. Договорились, что встретимся после Нового года у собора Святого Штефана — это сердце Австрии, все его знают. Так и произошло: мы увиделись с Мариной Калашниковой и Сергеем Тихомировым, главным редактором журнала «Венский литератор» и газеты «Соотечественник», и поговорили за чаем-кофе в кафе напротив. Я привезла журнальные новинки из Москвы, Марина и Сергей рассказали о своих проектах и предложили участвовать в работе фестиваля «Литературная Вена». Я с большим интересом согласилась, и вот уже четвертый год длится наше теплое знакомство и сотрудничество.

Фестиваль «Литературная Вена» проходит ежегодно в столице Австрии в октябре, в этом году — уже в шестой раз. Участвуют в нем литераторы, пишущие по-русски, без географических ограничений. За все эти годы здесь собирались писатели из 34 стран мира: от Канады — до Новой Зеландии (там тоже есть союз русскоязычных писателей!), включая Россию, Украину, Белоруссию и другие бывшие союзные республики. Фестивалю предшествует конкурс; по весне объявляют начало приема работ по нескольким номинациям: проза, поэзия, публицистика, критика, литература для детей и юношества. Летом международное жюри, находясь в разных странах, не зная имен и мест проживания авторов, читает присланные работы, отбирая, на свой взгляд, лучшие. Потом координаторы подсчитывают полученные для каждого текста баллы и определяют список финалистов. Их и приглашают на октябрьский фестиваль в Вену. Пишут о разном, но очень много воспоминаний о жизни на родине, о Великой Отечественной войне, о трудностях жизни в новых обстоятельствах.

Сама программа фестиваля насыщенная, плотная: уже сложились некоторые традиции, но каждый год прибавляется и нечто новое. Обязательная торже-

ственная церемония открытия и вручения призов победителям проходит обычно или в Русском Доме — очень красивом старинном особняке на Брамспляц (площадь Брамса) — Российском центре науки и культуры, или, как в этом году из-за ремонта в русском Доме, во Дворце Палфи (директор Эрих Пайшль) — одном из дворцов венского Хофбурга. Особый трепет участников вызывало то обстоятельство, что они находились в том самом ФИГАРО-зале, где во времена оны маленький гений Моцарт был представлен и играл для легендарной императрицы Марии-Терезии. В окна был виден парадный фасад Австрийской национальной библиотеки — одного из самых красивых в ансамбле дворцовых построек и, кстати, первого в Европе здания, спроектированного и выстроенного специально для библиотеки. Посещение ее поражающих воображение залов — обязательная часть программы фестиваля.

Фестиваль «Литературная Вена» поддержан дипломатическими представительствами России, Украины, Белоруссии в Австрии. Российский посол Сергей Юрьевич Нечаев (выпускник романо-германского отделения филологического факультета МГУ) ежегодно приветствует собравшихся в Вене писателей. Почетные гости — послы и культур-атташе посольств Белоруссии и Украины. Помогают этому проекту российский фонд «Русский мир», Российский центр науки и культуры в Вене, австрийско-белорусское общество (председатель Петер Бахмайер), украинский журнал «Радуга», финский «Иные берега» и знаменитые «Грани». Российский журнал «Дружба народов» учредил специальные призы финалистам — комплект номеров — они пользовались большим успехом. Коломенский книжный фестиваль «Антоновские яблоки» прислал знаменитую коломенскую сладость: для победителей «Литературной Вены» любимую пастилу Федора Михайловича Достоевского (выпущена в сотрудничестве с санкт-петербургским литературным музеем писателя), а организаторам и представителям посольств — пастилу «Союзная» (название вызвало одобрительные бурные аплодисменты, хотя этимология его не связана с 20 веком).

В программе фестиваля — литературные чтения, встречи с издателями, бурные обсуждения на «круглых столах»: как взаимодействовать с издателями, переводчиками, как искать поддержки своим проектам в городских муниципалитетах — некоторые успешные проекты для русскоязычных писателей существуют в разных странах — в Чехии, Германии, Бельгии. Огромный интерес вызвал длинный рассказ живущего в Будапеште Олега Воловика: он увлеченно ставит бюсты Александра Сергеевича Пушкина в странах мира, продвигая русскую поэзию и преодолевая разные трудности (чего стоит один только рассказ о драматических перипетиях растаможки бюста поэта на родине, в «Шереметьево»!), находя понимание и поддержку.

Гостями фестиваля были в разные годы генеральный директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе, координатор премии «Поэт», главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин. Совместный творческий вечер двух поэтов Александра Кушнера и Олега Чухонцева стал почти легендарным.

Серьезное новшество этого года — международная научная конференция «Русскоязычные писатели в современном мире. Литература и культура русского зарубежья», на которую собрались исследователи из университетов и научные сотрудники литературных музеев из многих стран.

Вена — красивый спокойный величественный город, напоминающий мне мой самый любимый на свете Санкт-Петербург. В Вене очень много всего: и сам

город — музей под открытым небом, и огромное количество разнообразных музеев с богатейшими коллекциями — целые Музейные кварталы, их и за год не обойти, и музыка везде — на улицах, в соборах, знаменитых залах Мюзикферрайн, Венской Стаатс-оперы и др., куда к вечеру плавно перетекали группы участников «Литературной Вены». Экскурсоводы увлеченно показывали гостям достопримечательности Вены, один из символов Австрии — монастырь Мельк, Венский лес, замок Лихтенштайн, цистерцианский монастырь Хайлингенкройц, где хранится частица Святого распятия, и подземное озеро в катакомбах, где во время войны тайно выпускали «мессершмитты», а потом эти шахты вместе с тысячами военнопленных рабочих были затоплены отступающими фашистами.

Вена тщательно хранит память о советских воинах-освободителях, памятник им — как говорят венцы, памятник Алеше — стоит на одной из красивейших венских площадей перед галереей Бельведер со знаменитой коллекцией картин Климта. Цветы к подножию памятника Алеше — одна из трогательных традиций фестиваля. Помню, в прошлом году трудно было сдержать слезы: на ступеньках мемориального комплекса кто-то, видно, из наших соотечественников оставил не цветы, а полный граненый стакан с водкой, накрытый, по русскому обычаю, кусочком черного хлеба. И никто его не убирал, хотя в Вене все должно быть строго по закону и правилам.

Два чувства особенно взволновали меня в этот раз в Вене: первое, когда наш посол Сергей Нечаев говорил о том, что неважно, где в мире живут писатели, пишущие по-русски: они продвигают в мировой культурной среде русский язык и русскую культуру. А я думала, как неожиданно быстро изменилось время: ведь не так давно по историческим меркам — в семидесятые-восемидесятые годы — провожали уезжавших из СССР, оплакивая, как на кладбище, понимая, что никогда больше не увидятся.

И второе, не могу об этом не сказать: как радостно и одновременно тяжело было смотреть на бесконечные поля вокруг австрийских городов, включая столицу Вену, и при этом вспоминать наши подмосковные огромные пространства с исчезающими под громадными частными коттеджами сельскими угодьями, полей-кормильцев до Орловщины уже не увидеть. Австрийские же пейзажи с пшеницей и рожью, кукурузой, овощами и горами кормовой свеклы на станциях, виноградниками и теплицами, с тракторами даже в праздничный день, с крутящимися повсюду мощными ветряными современными мельницами — залог полноты и разнообразия австрийских прилавков со свежайшими замечательными продуктами и вкуснейшим хлебом — любим, черным и белым, где угодно купленным — в уличной ли передвижной лавочке, или в магазине. Может быть, и об этом напишут будущие участники следующих фестивалей проекта «Литературная Вена»? Что-то надо срочно с нашим сельским хозяйством менять. А в такие исторические моменты — как-то так жизнь устроена — всегда появляется кто-то нужный в нужном месте в нужный час.

ВЫДОХ И ВДОХ МОСКОВСКОЙ ПОЭЗИИ

Рубрику ведет Лев Аннинский

1. Колыхание занавеса

«И колыхнется занавес
тот, что считается небом».

Альбина Хохлова

Прежде всяческих мотивов хочется откомментировать название книги. «Современные московские поэты». Выпуск первый. Загадочно. И обнадеживающе.

Загадочно — потому что и поэты вообще, и современные московские поэты — народ настолько пестрый и непредсказуемый, что не вдруг его объединишь в читательском сознании какой-то общей идеей. И судьбы разные, и опыт несоединимый, и голоса наособицу. Авторы — от восьмидесятилетнего патриарха, пережившего чуть ли не пять эпох и издавшего чуть ли не пять десятков книг, — до молодой выпускницы Литературного института, написанное которой укладывается в один первый сборник, а публикации — в один орган печати.

А все-таки хочется найти что-то объединяющее — эти поколения, эти стилистические края, эти судьбы, колыхающиеся за занавесом столетий, одно из которых кануло, а другое настало и задает вопросы.

Есть единый вопрос — при множестве ответов и неответов — лейтмотив в этой многозвучной антологии.

И это обнадеживает?

Меня — да, обнадеживает. Потому и ищу: должен же быть ответ распаду. Ответ безмолвию. Ответ небесам.

«Только небо небес нас спасает от мира и фальши».

Мир — это фальшь? Спасение — в небесах?

Есть ли что-нибудь между миром и небом?

Есть. И это та точка, в которой перекрещиваются пути и судьбы, мечты и звуки, надежды и разочарования, победы и провалы.

Коротко говоря, это Дом. В самых невообразимых ракурсах. Дух прикован к его присутствию. Или к его отсутствию. К тому, что он есть. К тому, что его нет.

А что все-таки есть?

Анфилады? Нежилые: не протоплены. И ничего в них не найдешь. За дверь выйдешь — там ветлы ветхие и дряхлые ракиты. Огнем расщеплены и дуплами раскрыты. Да еще встретишь кого-нибудь... лучше не выходить. Лучше сидеть меж хлебом и закутом, под некрепкою кровлей, и ждать, не проклюнется ли звезда в мутном зените. Такой вот общий пейзаж.

А вот частный пейзаж. Восьмилетняя девочка музицирует. Шопен, Шуберт, Гайдн, Гендель... У крыльца цветет жасмин, горит шиповник. А вверх глянешь?

«Что это за тревожная в небе луна? Знать, опять цунами, опять война? Опять недород? Пожары? На трупе труп?..»

Глянешь — нет Дома.

А если есть — все не слава богу. Батареи текут. И все — мимо рая. Одиссей плыл домой. Чем это кончилось? Не туда плыл?

Может, поэт рожден бездомным? И жить ему — под вселенским колпаком. Нет, строит Дом — как одержимый, всю жизнь! Дом — на песке...

Нет опоры. Только сила вдохновенья удерживает мир в этой текучей пустоте. Надо же за что-то держаться в хаосе. Чтобы был в жизни... порядок, распорядок.

«С настольною лампой над кипой тетрадок, с часами на стенке, поющими звонко...»

Так это уже Дом, наконец?!

Нет. Бугорки какие-то. Курганы, холмы. Лабиринты, а не средоточия. Мороз в заледеневших покоях. Или угар в протопленном кабинете. Пещерный камин. Бревенчатая берлога. Избушка без адреса. «Приходишь без спросу, уходишь — калитку запири». А лучше бы всего этого — сесть в самолет и не приземляться...

Опять в небо? Да если уж от земли подниматься, то — подобно цветку нарциссу. Подобно фасоли, обвинившей нарцисс... Подобно лопуху. А внизу — пусть остается земля с пересохшей солью. Стенка, за которой сопят дети. Хочется сквозь эту стенку пройти — навывлет, на вольную волю...

А если все-таки остаться и обжить? Что именно? Панельный край... кирпичные кварталы... воображаемые небоскребы будущего...

И в будущем — все то же? И возжаждать ностальгически:

«Мне б воды полстакана из Двадцатого века»...

Поезд Истории ушел?

Что делать? Ставить палатки. Как на платьях заплатки... Найти все-таки место под крышей. Или под солнцем. Варить варенье (по Розанову!).

Так это реальность или иллюзия? Или то и другое: сообщающиеся сосуды, проходные комнаты?

«Из одной реальности в другую перейду, как в комнату пустую: проницаемы, воздушны, зыбки стены, с этой комнатой мне нужно что-то сделать...»

Я собрал мотивы из стихов разных московских поэтов, — чтобы очертить общий вопрос, перед которым оказались мы все: вопрос о смысле мироздания, где надо или жить или исчезнуть — в зависимости от того, что тебе послужило Домом.

Ответы — разные, и это уже интересно с точки зрения опыта поколений.

Попробую взглядеться.

Последние идеалисты, унаследовавшие убеждения отцов, пережившие в детстве Великую Отечественную войну, испытывавшие сиротство, а то и власть оккупантов, — не удивляются невзгодам.

Ту пристройку, где мы жили,
Перемогшую войну,
То гнездо в барачном стиле
Разобрали по бревну.
На стене остались двери
От второго этажа,
Удивленные потерей,
Словно прошлого душа.

Эти двери на стене несуществующего Дома, — пронзительная деталь у Кирилла Ковальджи. Все разбито, смыто, раздроблено. Песок! И на этом песке — строить. Упрямо и неустанно.

А если эпоха продолжает безумствовать? И лишь тончайшая нить связывает Дом и Мир? Если безбожный разум поливает мертвой водой живую воду бытия?

Все равно — строить! Безверие — мнимость. Надо очень сильно любить Все-вышнего, чтобы возопить о Его отсутствии. Даже мертвое — живо! С заразной силой передает эту связь Владимир Микушевич:

В нашем доме каплет звонко
 Даже мертвая вода,
 Ибо только то, что тонко,
 Не порвется никогда.

В хаосе надо за что-то держаться? А если не за что? Тогда держаться за это «не за что». Нет рая? Не надо. Лучше без иллюзий. Душа, выдержавшая катастрофы Двадцатого века, смотрит в глаза неизбежности.

Лариса Миллер этой душевной стойкости слагает гимн:

Никто ведь не должен тебе ничего.
 Ты праздника хочешь? Придумай его.
 По песне тоскуешь? Так песню сложи
 И всех окружающих приворожи.
 По свету скучаешь? Чтоб радовал свет,
 Ты сам излучай его. Выхода нет.

Это «выхода нет» — задорный и горький ответ тому безысходу, в который обрушилась история Двадцатого века поколение, верившее в «химеры» и тем державшееся. За нами вера обрушилась. В нас — осталась: Мир как Дом и Дом как Мир. За нами — ни Дома, ни Мира.

Следующее за нами поколение не застало предвоенной эпохи, не успело поверить в «химеры», оно входило в жизнь под фанфары натужного оптимизма позднесталинских лет, и оно запомнило эту ложь, а в реальности — нужду и скудость военного и послевоенного времени. Шарахнуться из такой ситуации можно было только в упрямую независимость индивида, ускользающего, а то и противостоящего Системе, которая тебя круто ограничивает:

Я живу с простым и твердым чувством
 приближения к границе жизни.
 Только вот не я к ней приближаюсь,
 а она проходит возле дома.

У Юрия Кублановского в центре — не отечество, судьба которого становится твоей, а «грозные подвижки» мировой политики, «новая нарезка территорий», «круговая самооборона» личности и, соответственно, готовность к неизбежной боли от абсурда, которому — главное — не поддаваться.

А опора? Если под ногами — раскаленные трещины? Если хляби: то ли трапы, то ли волны?

Ничего не ждать, не просить. Выпить глоток коньяка в вымершем городишке и — проводить глазами чайку, относимую ветром.

Или это ворон кружит «с алюминиевой солдатской кружкой в клюве»?

Возвращаешься к знакомому ручью, ищешь знакомые стены и... ничего не узнаешь.

«Мир неузнаваем».

На границе Дома (который не узнать) и вольного простора (в котором узнается неизбывная Зона) находит себя лирическая героиня Ирины Ермаковой, родившаяся на излете сталинской эпохи и угодившая взрослеть как раз на смену эпох.

В пересчете на стиховую просодию смена исторических пейзажей вызывает неподдельную одышку при отчаянной попытке удержаться там или тут. Без привычных стилистических перил и даже без знаков препинания:

На границе традиции и авангарда
 из затоптанной почвы возшла роза
 лепества дыбом винтом рожа
 семь шипов веером сквозь ограду

То ли в ограде схорониться — дворником или сторожем, то ли за ограду выломиться — в невидимую свободу, на вольную волю, сквозь стену неузнаваемого Дома?

«Уф, как трещат перышки...»

И, наконец, третий вариант судьбы — поколение, которого «химеры» вообще всерьез не коснулись — канули в область легенд, в полную невесомость, в словесный морок «способностей и потребностей». Нет больше страны...

...Все пламенем синим сгорело в огне.
Нет больше страны той, а в этой стране
ты — странник, а я — чужестранка.

Олеся Николаева — никакая не чужестранка, конечно, просто она принимает этот изменившийся мир как он есть. Как данность. Вокруг — бог знает что — лукавство, страсти. Но Бог-то, наверное, знает? «Из небес стропила сладит» — изумится:

«Вон сколько у меня языков, отражений, подобий, слепков, имен, ушей, глаз, рук...»

Все-таки изумительна живучесть женской души! Все раскурочено? Обустроим! Кругом месиво? Пустим новые корни! Поезд ушел? Но вокзал-то остался...

Если поезд ушёл, надо как-нибудь жить на вокзале:
в туалете, в буфете, под фикусом пыльным, у касс,
ибо нам небеса это место и век навязали,
как вовек полагалось *верхам*: не спросивши у нас...

После диалога со Всевышним такие «верха» как-то меня не вдохновляют. Никто мне ничего не навязал. А стихи трогают, берут в плен:

И на этом участке планеты дожить до рассвета,
и найти себе место под крышей и солнцем в виду
раскуроченных урн, и дожить до весны и до лета,
и в тетрадку писать, и не тронуться в этом аду.
И стоять на своем, и пустить в это месиво корни,
и врасти, а потом зацвести и налиться плодом,
ибо поезд ушел в небеса и свистки его горни,
но остался вокзал, на котором написано: «Дом».

Дом... Что-то большее, чем Дом...

* * *

Москва... Больше, чем город.

Место жительства? Средоточие бытийства?

Смотрится Москва, как в зеркало, в тысячелетнюю летопись, отсчитывая девятый век своей истории.

Строится. Не сразу. Но прочно.

Горит. При Тохтамыше горит, при Наполеоне горит. Восстанавливается.

Белокаменная, краснеет в отблеске мировых пожаров.

Из столицы степного государства превращается в порт пяти морей... или уже семи?

Становится столицей великой Державы.

Блокады и битвы обжигают края Державы: Ленинград, Сталинград... Держава теряет их имена, но оплачивает общую Победу.

Улыбается из космоса.

Врастает в шкуру мегаполиса.

Задыхается в пробках.

Ищет путей, куда сбросить непрерывно копящуюся энергию.
Вглядывается в колыхание занавеса, за которым — будущее.
Укрепляет душу колыханием стиха.

2. Колыхание стен

Колыхается воздушная стена
И может неожиданно растаять...

Альбина Хохлова

Так на чем мы остановились год назад?
На «колыхании занавеса»: если налетит шквал?
На «пустоте»: а если поезд Истории ушел навсегда?
На «опустошении вокзала»: а если написать на нем, что это и есть Дом?

Год назад, когда Альбина Хохлова составила *первый* сборник «Современных московских поэтов», эта надпись: «Дом» — заколыхалась для меня на мираже исчезнувших стен. Бездомье! Дожить бы до лета! Да хоть до рассвета...

Я отреагировал именно на этот мотив, хотя не ручаюсь, что он был главным, и что пришедшие нам на смену поколения так уж неотвратимо унаследовали наше сиротство-бездомье. А может, это моя нынешняя рефлексия воскресила рухнувшую когда-то мечту обустроить Земшар как Дом для всего осчастливленного человечества? Не вышло? Земшар сотрясается от стихийных бедствий, человечество соображает, не его ли побед и свершений такая тряска небес и недр.

Колыхнутся уже не занавески — стены.

Беря в руки составленный (Альбиной же Хохловой) *второй* сборник «Современных московских поэтов», ищу продолжения темы. Есть ли перемены? К лучшему? К худшему?

Помнят ли люди, живущие в теперешнем «Царстве чистогана», эпоху тотальных чувств?

Помнят. Старожилы. Игорь Шкляревский, старейшина нынешнего поэтического цеха (когда-то, в начале 60-х — блестящий дебютант из Белоруссии, теперь патриарх) — теперь его стихи, открывающие сборник, — эпитафия давно прошедшей эпохе. Памятник былому. Воскрешение ушедшего. Реквием:

«Вижу книги на ветхой стене, вижу свет и любимые тени, и букет могилёвской сирени расцветает в бездомном окне».

Окно? Бездомное. Ветка расцветает, не зная, что уже срублена (поразительный образ!).

Герой вспоминает вовсе не «счастливые» предвоенные годы, он их не застал, — а детство вспоминает. Скучное. Военное. «Детдомовский запах какао. На стене улыбаются Сталин и Мао. — Иванова к директору! — крик. Иванов обжигает язык».

Вот вам и «положительный образ» побеждающего социализма. Иванов этот самый — непременно плюющий в чужие тарелки. Неистребимо! «В чужие подливы я свой хлеб никогда не макаю» — знает же лирический герой законы коллективного бытия! И Дом восстанавливает честно — по тем законам. Детдом. Но — Дом. Горькая память. Но — неизменная.

«Старею. Плывут облака. Мелькают какие-то вести, а вечность течет, как река, течет, оставаясь на месте...»

Нет, не получается. Не остается на месте вечность. Утекает мелькающими вестями. Только Гзак да Кончак незыблемы (Шкляревский — признанный переводчик «Слова о полку Игореве»), интересно, кто первый перейдет границу: русские или половцы?

А в нынешней реальности границы — мнимость. Ничего не удержать.

Я всё ещё живу, храня
звучанье чистой русской речи.
И на прощанье у меня
назначены с грядущим встречи...
Там детство ловит в быстрине
форель прохладно-золотую,
и ласточкой в моем окне
там счастье ставит запятую.

Запятая — еще не точка?

Точку ставит Вячеслав Куприянов.

Вам все еще снится великая Россия? Та самая, которая химерическим бражни-ком распластывалась на Земном шаре? Бражник — пьяница. А может, бабочка? Такая, чешуекрылая. Пыльцу вздуть с крыльев — вот вам и звезды. А если это созвездия, ожесточившиеся от вечной агрессии людей? Холодом тянет от вечности. Реками крови заполнено море Блаженства. Море хорошо, если оно не глубже печали. Земля — не больше сердца. Крылья... Насчет крыльев сказано беспощадно:

«Человек изобрел клетку прежде, чем крылья. В клетках поют крылатые о свободе полета. Перед клетками поют бескрылые о справедливости клеток».

Поют и плачут.

Ангелы плачут, глядя на людей...

У Куприянова картина горькая, но по-своему красивая. У Кедрова она обретает колючесть торжествующей сюрреальности. Ему забавно, когда человека поселяют в четыре стены. Ему охота вызвать докторов, чтобы те разрушили этот каменный дом. Для него Дом — это Ничто. Ему смешно, когда на свободную особь надевают железное и каменное пальто.

А звезды? Бред рояля во сне. «Все звезды это только ноты, а все ноты только звезды».

А крылья? Стрекозиный канкан, дробящийся и исчезающий бесследно.

А вечность?..

Константин Кедров, признанный «дирижер» ультрасовременной лирики, просит о вечном не беспокоиться. Вздора много — о Боге ли говоришь, с Богом ли. Кто как играет, таков и разговор.

«Но для волненья веских нет причин: кто как бы ни был временно расстроен: ведь даже самый старый клавесин на вечное настройщиком настроен».

Вот и вечности оставлено место в этом веселом бездомье.

Свершилось! Новое поколение, смеясь, расстаётся с химерами отцов и дедов.

Григорий Кружков, физик, сибиряк, освежившийся в Америке на ветрах колумбийского университета, — видит новую российскую реальность непредвзятым оком:

«И в этот час к тебе возводят взоры атланты, силачи и полотеры, банкиры, браконьеры, билетеры и несколько скучающих Джульетт».

Вольтеру, что ли, добавить для осмеяния этот паноптикум (довольно рельефно обрисованный)?..

Постойте, социальный перечень еще на завершен:

«Крестьянин режет хлеб и режет сыр, не торопясь. А рядом на инжир щегол садится: клюнул воровато, порх! — и умчался ввысь. Полу халата от крошек отряхнув, старик встает, подходит к дереву, срывает плод поклеванный, кусает и глотает... И вскрикивает вдруг — и улетает...»

Ай да старик! Не хуже птицы. Сохранил же и в этой непредсказуемой реальности легкость духа. Порх! — и нету. Ни сада, ни дома. Только крошки от трапезы...

Алексей Алёхин, ровесник полувека, мировыми ветрами не обдутый, — хранит

верность отечественной лирике как издатель и журналист. Он-то и возвращается к обломкам утраченного Дома.

Обломки — реальные. Не застал военной эвакуации и возвращения из нее, но знает по рассказам родных: возвращение — к руинам: ни пластинок, оставленных на этажерках, ни самих этажерок... ни стен... Только мелодии застряли в памяти: «Утомлённое солнце»... «Ах, эти чёрные глаза»... «Скажите, почему?»

Обустройство на месте руин напоминает бредовую компенсацию утраченного:

Люди напоминают дома
со множеством втащенных для удобства лишних вещей
шкафов-купе говорящих телевизоров ковров кофемолок
семьянин с совмещенной ванной
однкомнатная старая дева...

Не цитирую дальше (и не расставляю знаков препинания — они спугнут логику сна). Но перечень — достоверный. Куда более точный (и горький), чем тот, что видится из далекой Америки. В перечне покалеченных: гипсовая девушка с веслом, копыта маршальского коня, башмаки вождя... Поют ангелы на небесах.

Виктор Гофман тоже возвращается памятью в опустошенное бытие. На облетевшей березе бельевая веревка... Обездомевший пес... Линейка, пустая, без пионеров... Хоть салютуй, хоть плачь. Только Козловский, привстав над миром, по-прежнему тянет из сердца что-то, тоскуя, как птица в клетке. И в этой мелодии плавной (как сказано будет в знаменитом романе) «теряются жизнь и судьба».

На всякий пожарный случай поэт отрешивается от «имперских посевов»: от алых галстуков, клятв и салютов. Но пожарный случай уже нереален: все и так сгорело:

И, когда догорит на земле
Тяжело развалившийся сруб,
Я — как шорох в остывшей золе,
Немота у запекшихся губ.

Из уст в уста, из губ в губы, из души в душу перебрасывается вкус эпохи: то ли отошедший, то ли застывший. Горький.

«Флоксы, боже мой, как они пахнут — словно горькие губы твои...»

Это уже Андрей Шацков. Флоксы и георгины. Гладиолусы... Школа... Эпоха, «где стихи заглушали грома...»

Постойте. Стихи заглушались громами или грома стихами? А может, это у Шацкова не оплошность, а оборот зрения-слуха, неразрывность были-небыли, единство ближнего-дальнего?

«Астры звезд, звезды астр»...

Завораживает строка. Сколько астр затоптано на дорогах эпохи и сметено, сколько звезд переведено с латыни на родимые небеса и рассеяно по стихам в теперешних далях, но чтобы так виртуозно соединить цвета и цветы, надо быть мастером. Но не только.

Надо еще, чтобы ближнее и дальнее на историческое мгновение уравновесились в сознании поэта.

Вот этот момент равновесия — важен в лирике Шацкова, который оставил за плечами в момент рождения гибельную тоталитарную эпоху. Но она не опустошилась в его сознании, а оказалась подхвачена тысячелетним бытием России, осознанием неумирающей христианской веры, чувством величия, неотделимого от горечи.

В «Кощеевом царстве асфальта, стекла и бетона» пара криво прибитых когда-то штакетин не о катастрофе ему говорит, а о возрождении. Астры-цветы расцветают под астрами-звездами. Повилика, проклюнувшаяся на холме, — голос мамы, которая хочет сказать что-то теплое. Как ей ответить? Что принести в дар?

«Храм из словес на ладони...»

Поэзия Шацкова — точка, в которой ощущается перелом в настроении наших наследников, людей конца XX века, отпущенных в век XXI, — перелом от отчаяния и опустошения — к надежде.

К надежде вновь срастить разломанные части мира.

Окуни над крестами
На дне Рыбинского моря
Покоятся затопленные церкви и погосты.

Нет, это не Шацков. Это Сергей Таратута. Не звезды меняются с цветами — рыбы с церквями. Кто-то когда-то все перепутал. Бурьян с садом. Первый шаг с последним. Секундную стрелку со спидометром судьбы.

Лейтмотив: непоправимого ничего нет.

Небесная бездна безучастна к нашей судьбе? Это значит, что светит она безвозмездно. И нас учит не брать, а давать. Кажется, что время скользит мимо, мимо... Но наступит момент, и «в душе обнаружится звонница из неведомых колоколов». И почувствуешь: «Боже мой, какое счастье вот так идти куда-то вдаль!» И шаг, казавшийся последним, окажется первым.

Елена Исаева с веселой иронией подхватывает:

«И сколько раз открылась дверь, и столько раз закрылась...»

Я подхватываю без всякой иронии: так ведь и вновь открылась! Пепел, зола — все на месте у Елены Исаевой. Но:

«Но сколько душу ни трави, она опять окрепла — и я восстала из любви, как восстают из пепла».

Места действия. Ночное небо над Москвой («Я, словно ничейная Муза»). Рай курорта: море, пляж, тенты. Кафе, баре на веранде. Студенческая волейбольная команда. Ахейские войны, китайские чашки («Чужие предметы в чужом неуютном доме»). Заснеженный двор журфака. Мальчик... не Гектор, правда, но похожий на того... с Итаки.

«И ничто постоянное неинтересно, а интересно то, что теряешь и возвращаешь, теряешь и возвращаешь... Потерять навсегда можно только Гектора, а Одиссея не потеряешь, как ни старайся...»

В Одиссея влюблена. Почему? Потому что Одиссей обязательно пропадет, а потом «обязательно выплывет, выкрутится, возвратится...»

Как вы думаете, куда должен возвратиться современный Одиссей в мечтах лирической героини?

В Дом, конечно, где она будет ждать его.

Так надо же Дом выстроить!

Пример поэтического выстраивания Дома — в поэме Альбины Хохловой «Игрок Лобачёв», замыкающей сборник.

Поскольку это игра теней, способных «все в мире подменять», то нужно настроиться на исходную тьму, столь неизбежную при неожиданной смене эпох. И строить Дом из теней. Что-то в нем от рая, что-то от тюрьмы. Что-то фантомальное и что-то реальное. Герой поэмы берется играть роль хозяина. Только осторожно: «вдруг этот старый особняк, имеющий столь зыбкую основу», растает от колыхания...

От колыхания чего?

От колыхания воздуха, из которого сложены эти стены...

Дом колышется. Поэзия делает свое дело, уверенно дышит и идет:

«И день, и вдох, и шаг, и путь».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 2013 ГОД

	№	Стр.
ПРОЗА		
АЛЕКСИЕВИЧ С. Время second-hand. <i>Конец красного человека</i> (Проза.DOC)	VIII,	8
.....	IX,	151
АНДРЕЕВ А. Фотография. <i>Повесть</i>	VI,	126
АНУФРИЕВА М. Снасти и страсти. <i>Рассказ</i>	VII,	113
АРБУЗОВА Н. Торжество Афродиты. <i>Повесть</i>	V,	71
АРОСЕВ Г. Мертвое время. <i>Повесть</i>	XII,	95
АФЛАТУНИ С. Теплое лето в Бултыхах. <i>Повесть</i>	IX,	107
БЕСЕДИН П. Восьмая шкала. <i>Рассказы</i>	IV,	144
БУШКОВСКИЙ А. Праздник лишних орлов. <i>Повесть</i>	X,	67
ВАСИЛЬКОВА И. Водителям горных троллейбусов. <i>Повесть</i>	X,	7
ВЕРЕВОЧКИН Н. Землетрясение на кладбище. <i>Записки велосипедиста</i>	IV,	98
ВЕСТЕР В. Непредвиденное происшествие. <i>Московская повесть</i>	VI,	149
ВОЛОС А. Рассказы	I,	104
ДОБРОВА Е., РТВЕЛИАШВИЛИ З. Распутья. <i>Диптих</i>	II,	145
ДОЛГОПЯТ Е. Две повести	XII,	5
КАБЫШ И. Вечная молодость. <i>Рассказ</i>	I,	136
КЛИМОВА Г. Юрская глина. <i>Путеводитель по семейному альбому в снах, стихах и прозе</i>	II,	81
КОЧЕРГИН И. Зависимые. <i>Рассказы</i>	III,	131
КРЮКОВА Е. Dia de los muertos. <i>Мексиканское танго</i>	IX,	8
ЛАТЬЕВА Л. Моя война. <i>Записки рогатой девочки</i>	V,	105
МАМЕДОВ А. Рассказы	VI,	8
МАНОВИЧ Л. Бабье лето. <i>Рассказы</i>	VIII,	100
МЕЛИХОВ А. Подручный Орфея. <i>Роман</i>	IV,	9
МОСКВИНА А. Скрипка Зюси. <i>Рассказ</i>	XI,	6
НИКИТИНА Т. Маруся. (Дети и война. Семейный архив)	V,	181
ОБРАЗЦОВ А. Рассказы	II,	159
ОДЕГОВ И. Овца. <i>Рассказ</i>	X,	51
ОСИПОВ Ю. Неделя в Эйлате. <i>Рассказ</i>	X,	103
ПЕЛЬ-ДМИТРИЕВ А. Мы никогда не играли «в войну». <i>Рассказ-воспоминание</i>	V,	162
ПОСТНИКОВА О. Тайна рождения. <i>Рассказ</i>	V,	61
ПЬЕЦУХ В. Рассказы	XII,	50
РАЧКОВ А. Эвакуация. <i>Странички из дневника подростка.</i> (Дети и война. Простые истории)	V,	189
РУДОВ Е. Менялы. <i>Рассказ</i>	V,	149
САЕД-ШАХ А. Кракс, или Последний день Лили Брик	VIII,	137
СЕНЧИН Р. Чего вы хотите? <i>Повесть</i> (Проза.DOC)	III,	6
СЕНЧИН Р. В чужую землю. <i>Из книги «Зона затопления»</i>	XII,	66
СОЛОМОНОВ А. Театральная история. <i>Роман</i>	I,	9
.....	II,	5
СТАМОВ М. Один день Дениса Ивановича. <i>Повесть</i>	VI,	27
СТОНОГИНА Ю. Второе полугодие учителя Яманэ. <i>Повесть</i>	X,	124

ТОРХОВ А. Почтильон. <i>Рассказ</i>	I,	148
ТОРЧИЛИН В. Друзья. <i>Рассказ</i>	II,	151
УШКАЛОВ С. ОБЖ. <i>Crasynovel. С украинского. Перевод Ю. Ильиной-Король</i> ...	VII,	19
ХАМДАМ У. Река души моей. <i>Рассказ. С узбекского. Перевод С. Камиловой</i>	VIII,	125
ХУРГИН А. Везде люди живут. <i>Рассказы</i>	V,	55
ШИР-АЛИ. Детство, которого не было. <i>Повесть</i>	III,	99
ШКЛОВСКИЙ Е. Дорога к дому. <i>Рассказы</i>	XII,	121
ШПАКОВ В. Миллениум. <i>Рассказ</i>	III,	117

ПРОЗА.DOC

АЛЕКСИЕВИЧ С. Время second-hand. <i>Конец красного человека (Проза.DOC)</i>	VIII,	8
.....	IX,	151
СЕНЧИН Р. Чего вы хотите? <i>Повесть (Проза.DOC)</i>	III,	6
О повести Р. Сенчина «Чего вы хотите?»	IV,	215

ПОЭЗИЯ

АБДУЛЛАЕВ Ш. Озирая оазис. <i>Стихи</i>	V,	168
АРКАТОВА А. Происходящее за рамой. <i>Стихи</i>	IV,	165
АФЛАТУНИ С. Про мыслящее облако. <i>Стихи</i>	III,	142
БАСОВСКИЙ Н. Дальний свет. <i>Поэма</i>	II,	137
БРАЗЮНАС В. Из певучей струны домотканой. <i>Стихи. С литовского. Перевод Г. Ефремова</i>	IX,	193
ВАЦИЕТИС О. Я к Братьям пришел. <i>Стихи. С латышского. Перевод И. Цыгальской</i>	X,	65
ГАЗИЗОВА Л. Всё связано с Тукаем. <i>Стихи</i>	VII,	8
ГОРБАНЕВСКАЯ Н. Пощады не прошу. <i>Из стихов 2013 года</i>	XII,	3
ГРИЦМАН А. По горячим следам. <i>Стихи</i>	II,	78
ГУБАЙЛОВСКИЙ В. Цена победы. <i>Стихотворения о спорте</i>	VII,	109
ГУРТУЕВ С. Белореченские мотивы. <i>Стихи</i>	XI,	26
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ		
ЛЯСКОВСКАЯ Н. Далее — везде! <i>Стихи</i>	VII,	14
МИНГАЗОВА А. <i>Стихи. С татарского. Перевод Н. Лясковской</i>	VII,	15
РАБИЧЕВ Л. Весна без конца. <i>Стихи. Вступительная заметка С. Айдиняна</i>	V,	144
ЖАДАН С. Разламывая время. <i>Стихи. С украинского. Перевод И. Белова</i>	IV,	3
ИЛЮХИНА Г. Зверёк вселенского сиротства. <i>Стихи</i>	III,	129
КАБАНОВ А. Под небом из бесплатного вайфая. <i>Стихи</i>	IV,	95
КЕНЖЕЕВ Б. Имена. <i>Стихи</i>	XI,	22
КОРОВИН А. Помните эхо. <i>Стихи</i>	III,	96
КРУЖКОВ Г. <i>Vita nuova. Стихи</i>	I,	101
КРЮКОВА Е. Верхний мир. <i>Стихи</i>	XI,	3
КУЗНЕЦОВА И. Откровенность деревьев. <i>Стихи</i>	III,	3
КУЗОВЛЕВА Т. Исповедь скорбной души. (Поэт о поэте)	X,	161
КУЛИШОВА И. Ялюблютебя. <i>Стихи</i>	VIII,	57
МЕЖИРОВА З. Звёздный улей. <i>Стихи</i>	IX,	148

МИЛЛЕР Л. Мы все матрёшки. Стихи	IX,	104
МИРЗА М. «Покайся, человек, перед творцом...». Стихи. <i>С татарского. Перевод Н.Переяслова</i>	XII,	47
МОРЕЙНО С. Шамшад — двойной полдень. (Поэт о поэте)	V,	172
МОЩЕНКО В. Запекшаяся капелька слезы. (Поэт о поэте)	IX,	235
НАУМЕНКО В. Дней перочинная речь. Стихи	VI,	147
НЕРПИНА Г. Мигающий пейзаж. Стихи	VI,	124
НИКОЛАЕВА О. Меж «там» и «тут». Стихи	X,	3
ОСТУДИН А. Киммерийская лирика. Стихи	VII,	11
ПРОБА ПЕРА		
Начало — имеет место Е. ЗАХАРОВА; Н.МАМЛИНА; Д. ЛАРИОНОВ; А. ВАСЕЦКИЙ; О. АНИКИНА; М. РАЗДЕЛЬНЫЙ; В. КРАВЦОВ; А. РЕЗЦОВ	XII,	88
РАТИАНИ З. Отцы. Стихи. <i>С грузинского. Перевод Б. Кенжеева</i>	I,	133
РУМЯНЦЕВ Д. Из первородной глины. Стихи	I,	144
РУСАКОВ Г. Дорогие мои жизнелюбы. Стихи	VIII,	3
РЯШЕНЦЕВ Ю. В шумной стране живых. Стихи	IX,	3
САЛИМОН В. На исходе шестого дня. Стихи	IV,	140
Свой среди своих. Стихи <i>грузинских сверстников и современников</i> <i>В. Маяковского. К 120-летию поэта</i>	VIII,	132
СИНЕЛЬНИКОВ М. В потоке облаков. Стихи	VI,	3
ТИМОФЕЕВСКИЙ А. Случай, произошедший в университетском Ботаническом саду Балчика в Еньов день. <i>Силаботаническая поэма</i>	X,	156
УЧАРОВ Э. Разведчик звуков. Стихи. (Победитель турнира поэтов)	VII,	17
ФАЙЗУЛЛИН Р. Высота — это самое важное. Стихи. <i>С татарского.</i> <i>В переводах Р. Кутуя, А. Каримовой, Р.Бухараева</i>	VII,	5
ХЛЕБНИКОВ О. Звезда упала и осталась. Стихи	V,	3
ЧЕМБАРЦЕВА В. Балканика. Стихи	VI,	24
ЧИГРЕЙОС Г. А. Мимо ладьи вселенной. Стихи. <i>С литовского.</i> <i>Перевод Е.Печерской</i>	II,	3
ЧИГРИН Е. Под старой лампой. Стихи	V,	66
ЧКОНИЯ Д. Золотые гроздья винограда. Стихи	VIII,	97
ШАПОВАЛОВ В. Евразис. Стихи	I,	3
ШУМСКАЯ А. Как Сольвейг. Стихи	III,	114

ПУБЛИЦИСТИКА

ЗАПОЛЬСКИХ В. В зеркале пермских вод. (Страна Россия)	X,	167
КАГРАМАНОВ Ю. Крик Майастры. <i>Перспектива консервативной</i> <i>революции в Европе</i>	II,	170
КАГРАМАНОВ Ю. Нерон высадился в Америке. <i>Culture wars в США</i>	VIII,	211
МАХНО В. Lost in America: история Юджина. <i>С украинского.</i> <i>Перевод З. Баблюяна</i>	I,	154
МЕДВЕДКО Л. Испытание катастрофами. <i>Главы из книги</i>	IX,	196
МЕЛИХОВ А. Что нас не разочарует?	XII,	168
НЕМЧЕНКО Г. Обряд воскрешения. (Бытие русского слова)	III,	195
НИКУЛИН А. Крестьянская доля Николая Доброго. (Страна Россия)	IV,	189
РЯХОВСКАЯ М. Крым. <i>Главы из документальной повести.</i> (Простые истории)	VI,	164
СИМКИН Л. Соседи-2	V,	195

НАЦИЯ И МИР

БАДАЛОВ Р. Человек из Зардоба. <i>Документальная фантазия для кино.</i> (Полезная история)	VI,	200
.....	VII,	197
ГОРЮХИНА Э. Ученые пришли в школу	XII,	173
Два интервью о Дагестане и не только. <i>Беседы М. Калининой с</i> <i>М. Толбоевым и З. Гаджиевым</i>	III,	212
ДЖУМАЕВ А. Между «большой Европой» и «большим Востоком». <i>Культура Центральной Азии в меняющемся мире</i>	V,	214
ДУМБАДЗЕ М. Афганистан сквозь замочную скважину «Барона». <i>С грузинского. Перевод В. Маловичко</i>	IX,	208
.....	X,	187
ИВАШКЯВИЧИУС М. Цивилизация Вержболово. <i>С литовского.</i> <i>Перевод Г. Ефремова</i>	IV,	167
КОРАБЛЁВ А. Европейские ценности и славянский союз. <i>Досужие соображения о будущем наших языков</i>	V,	207
МЕЛИХОВ А. Как округлить треугольник. <i>Беседу ведет Е. Иваницкая</i>	VIII,	237
НОДА Л. Под одним небом, под одним шаныраком	II,	187
ПАИН Э. Иноверцы и инородцы. <i>Способна ли демократия противостоять</i> <i>исламофобии. Беседу ведет И. Доронина</i>	I,	175
ПЕЧЕРСКАЯ Е. Литва — любовь моя, или Долгий путь к себе	IV,	178

СОБЫТИЯ. СУЖДЕНИЯ. СУДЬБЫ

БИБИКОВ Б. Отслужить Станиславскому. <i>Главы из книги воспоминаний</i>	XI,	175
ГРОМОВА Н. Скатерть Лидии Либединской. <i>То немногое, что осталось</i> <i>за пределами «Зеленой лампы»</i>	III,	145
МАРТИНАЙТИС М. Мы жили. <i>С литовского. Перевод Т. Перумовой</i> <i>и Г. Ефремова</i>	VIII,	59
ФАЛИКОВ И. Евтушенко. Love story	VII,	123

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

БЕККИН Р. Равиль Бухараев, каким я его знал	XII,	138
БУХАРАЕВ Р. Красный лотос, или Прекращение желаний. <i>Рассказ.</i> <i>Публикация Л. Григорьевой</i>	XII,	143

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВРЕМЕНИ

ФИЛАТОВ С. Один век — пять Конституций России	XII,	156
---	------	-----

ПОГРАНИЧЬЕ ЛИТЕРАТУРЫ

МОРЕЙНО С. Текст как место	XII,	191
----------------------------------	------	-----

РЕЖИССЁРСКИЕ ОПЫТЫ

ШАПИРО А. Простая жизнь гения. Главы из будущей книги	XI,	129
Станиславский и вокруг. Разговор с А. Шапиро ведет Н. Игрунова	XI,	154

КРИТИКА

АБДУЛЛАЕВ Е. От 30 до 1300. Семь поэтических сборников 2012 года	IV,	226
АЛЕКСИЕВИЧ С. «Социализм кончился. А мы остались».		
Разговор ведет Н. Игрунова	X,	209
БЫКОВ Д. Маяковский. Главы из книги	VIII,	182
КУРБАТОВ В. Материя жизни	II,	235
ЛЮСЫЙ А. Попытка вынырнуть. Сбортовывания на Волге, не впадающей в Каспийское море	VII,	226
Маяковский: трибун, лжепророк, тинейджер, планетарный поэт и советский гражданин... Заочный «круглый стол»	VIII,	163
Осознание границ или жизнь за заборчиком? Литературные итоги 2012 года. Заочный «круглый стол»	I,	188
.....	II,	207
СКВОРЦОВ М. О, спорт! Ты — мир! (Связка рецензий)	VII,	242
ФАЛИКОВ И. Кладбище паровозов. К 100-летию Я. Смелякова	I,	198

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

АННИНСКИЙ Л. Запах камня	XII,	204
РОДНЯНСКАЯ И. Трудно не быть собой	XII,	211

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

АНАСТАСЬЕВ Н. «Художники — моя партия». [На кн. Е. Сидорова «Записки из-под полы»] (2012)]	V,	237
БАЛЛА О. Рождение комедии из духа текста. [На кн. А. Люсого «Поэтика предвосхищения»] (2011)]	III,	242
БАЛЛА О. Вещество жизни. [На кн. Г. Матевосяна «Возвращение»] (2012)]	VI,	237
БАСОВСКИЙ Н. Итоги Ревича. [На кн. А. Ревича «Перед светом»] (2013)]	XI,	233
БАХНОВ Л. Постоять на пороге. [На кн. Д. Чкония «Экскурсовод, или Писатель играет джаз»] (2012)]	IV,	237
БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО И. Санация Санаева. [На кн. П. Санаева «Хроники Раздолбая. Похороните меня за плитусом-2»] (2013)]	X,	222
ГУСЕЙНОВ Ч. «...мы встречались и слушали друг друга». [На альманах		

«Клуб N» (2012)]	VI,	247
ДУЭЛЬ И. Русский француз или французский русак. [На кн. Л. Звонаревой «Серебряный век Ренэ Герра» (2012)]	XI,	247
ЕЛАГИНА Е. «Я есть и буду». [На кн. Г. Илюхиной «Птичий февраль» (2012)]	XI,	239
ЕРМАКОВА А. «У жизни не бывает черновика». [На книги Н. Келимбетова «Зависть: Тринадцать диалогов» (2011); «Скорбны думы, чуток сон...» (2012)] V,		244
ЗОРИН А. Поэзия — тоже документ. [На кн. Г. Осинной «Прииде кротость на ны» (2011)]	X,	231
КАКОВКИН Г. Вот, к нам и писатель пришел. [На кн. Е. Сулеса «Сто грамм мечты» (2012)]	III,	240
КРЮКОВА Е. Внезапное и ожидаемое. [На кн. М. Письменного «Блатное и балетное» (2012)]	VI,	244
КУБАТЬЯН Г. Цитаты скажут сами за себя. [На кн. З. Айряна «Искусство поэтического перевода в творчестве русских поэтов II пол. XX — нач. XXI века» (2012)]	V,	246
МОРОЗОВА Т. Многоуважаемый том. [На кн. А. Немзера «При свете Жуковского» (2013)]	X,	228
РУДАЛЁВ А. «Карта души», начертанная лезвием ножа. [На кн. Д. Новикова «В сетях Твоих» (2012)]	IV,	240
САЧЕВА А. Тени лабиринта. [На кн. А.М. Мильштейна «Кодекс парашютиста» (2013)]	XI,	236
ТУРКОВ А. Запретные главы. Заметки на полях перечитанной книги. [На кн. А. Адамовича, Д. Гранина «Блокадная книга» (2013)]	IV,	244
ТУРКОВ А. «А почему он не выключается?». [На кн. Д. Голубкова «Это было совсем не в Италии...» (2013)]	XI,	242
ФИЛИППОВ М. «Окольцован, оконцован и в судьбе определен...». [На книги Н. Заикина «Промежутки бытия» (2011); «Пределы смысла» (2013)]	XI,	244
ЧКОНИЯ Д. Грустные фантазии о неуютном времени. [На книги В. Шпакова «Игры на поле Ватерлоо» (2010); «Счастливый Феликс» (2010) и пьесу «Бумажный корабль» (2012)]	III,	232
ЧКОНИЯ Д. Переключение регистров. [На книги А. Остудина «Эффект красных глаз» (2011); «Это — область Максимилиана...» (2012); «Беспилотное небо» (2012)]	VI,	241
ШПАКОВ В. Негероическая история. [На кн. А. Пертту «Экспедиция Папанина» (2012)]	V,	234

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

АБАШИНА-МЕЛЬЦ Н. «Таллинн»: миссия выполнима	IX,	246
ЗАЙНУЛЛИНА Г. КМФМК — «Родина» — электричество	XII,	224
КАРПУХИН О. Общность человеческой души. О книге «Пушкин и Абай»	II,	244
КОВАЛЁВА И. «Антоновские яблоки» в Коломне	XI,	250
КОВАЛЁВА И. «Литературная Вена»	XII,	237

Литературная универсиада «ДН» в Казани	VII,	3
УСТИМЕНКО А. Обвиненные в любви	X,	233
ХИСАМОВА Д. Художники — Универсиаде. <i>Первая выставка о спорте в Казани</i>	VII,	250
ЭБАНОИДЗЕ А. «Как счастливо мы жили...». <i>К 90-летию Владимира Огнева</i>	VII,	248
К нашей вклейке		
Максут ФАТКУЛИН. Живопись	I	
ПОДПОРЕНКО Ю. Живопись как потребность души	I,	213
Марат САДЫКОВ. Акварели	II	
ПОДПОРЕНКО Ю. Волшебная Бухара Марата Садыкова	II	246
Владимир САВИЧ. Живопись	III	
ПОДПОРЕНКО Ю. Обояние вечного обновления	III,	247
Работы молодых художников Армении. Л. Абраамян, А. Амирагян, С. Сафарян, В. Тадевосян	IV	
ПОДПОРЕНКО Ю. Такой разный и узнаваемый мир	IV,	247
Леонид РАБИЧЕВ. Живопись	V	
Ольга БАКИЦКАЯ. Живопись	VI	
ПОДПОРЕНКО Ю. Быть самой собой — значит и быть художником	VI,	250
«О, спорт! Ты — мир!». Фотоотчет о Литературной Универсиаде в Казани	VII	
Манана БОБОХИДЗЕ. Живопись	VIII	
ДЪЯКОНИЦЫН Л. Сердцем и кистью	VIII,	247
Молодые художники Прибалтики. Живопись	XII	
ПОДПОРЕНКО Ю. Талантливо видеть невидимое	XII,	235

ЭХО

Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ

Отраженный удар	I,	215
Рубикон генерала Ермолова	II,	249
Кочевье по Вселенной	III,	250
Весомость достоинства	IV,	251
.....	V,	251
.....	VI,	252
Тропа окликает дорогу	VII,	252
Какая глыба накренилась!	VIII,	252
Третья точка	IX,	248
Они и оно	X,	252
Предки рядом	XI,	253
Выдох и вдох московской поэзии	XII,	240

РОССИЯ — ГОЛЛАНДИЯ: ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Н а ц и я и м и р

ВОРОНОВА Н. Утро, день и вечер в Нижних Землях	XI,	31
--	-----	----

Проза и поэзия

КОЛЛААРД С. И оставил позади пораженного Дасаева. <i>Рассказ.</i> <i>С нидерландского. Перевод Н.Тархан-Моурави</i> XI,	44
ТАРХАН-МОУРАВИ Н. Любовь — это древние буквы. <i>Стихи</i> XI,	56
Где сердца стук. ХОЛСТ А.-Р., СЛАУЭРХОФФ Я.-Я.; АХТЕРБЕРГ Г., ГЕРЛАХ Е., ХИРС Р., ВИГМАН М. <i>Стихи. С нидерландского.</i> <i>Перевод Н.Тархан-Моурави</i> XI,	57
СТРОИНК М. Как если бы я спятил. <i>Фрагмент романа.</i> <i>С нидерландского. Перевод Е.Асян</i> XI,	61
ВИРИНГА Т. Рассказы XI,	104
ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ Т. Любовь с первого взгляда. <i>Голландские</i> <i>заметки туркменского писателя. С туркменского.</i> <i>Перевод С.Баймухаметова</i> XI,	117
Культурная хроника	
К нашей вклейке	
Нина ТАРХАН-МОУРАВИ. <i>Gezicht и gedicht</i> XI,	252
Живопись	

Summary

It so happened that in the last issue of the year «DN» publishes four long short stories altogether: «The Dead Sea» by GRIGORIJ AROSEV, «To Death» and «Animals' Language» by ELENA DOLGOPYAT and «To a Foreign Land» by ROMAN SENCHIN. Does anything besides the genre and the cover of the magazine unite these works written by different authors in different styles and about different subjects? We think — yes. First — all of them tell about today's life (though one of the authors insists his story is about another planet and another country). Second — having begun to read each of them it's difficult to stop.

It's almost two years now that RAVIL BUKHARAEV — poet, prosaist, translator, our regular author and dear friend — is not with us any longer. «The Red Lotus» is one of his last short stories. In a pandanus we publish the essay of RINAT BEKKIN.

POETRY

We are happy to present on our pages the new poems by NATALYA GORBANEVSKAYA, whose lyrics doesn't need any special presentation as well as the poet herself — a participant of the demonstration at the Red Square in August, 1968, against the bringing of the Soviet troops into Czechoslovakia — is well and long-known to the readers.

Under the heading «First Steps in Literature» are gathered here some poems that have been brought to the magazine «by drift» from the young authors whose voices are made out of the common chorus and noted.

December, 12, of this year 20 years have passed since the approving of the Constitution of the Russian Federation. The head of the working group for revision of the Project of the new constitution and member of the editorial board of our magazine SERGEJ FILATOV shares his memoirs and thoughts on this significant event in the life of the country.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2014 году на журнал "Дружба народов"
можно подписаться во всех отделениях Почты России

подписной индекс в каталоге "ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ" —
70250

подписной индекс в зеленом каталоге "ПРЕССА РОССИИ" —
91826

Также можно оформить подписку *online* на страничках журнала
"Дружба народов" в Живом журнале и в Журнальном зале
<http://drujba-narodov.livejournal.com/>
<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой